

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 1999

СОДЕРЖАНИЕ

А.В. Кравченко (Иркутск). Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания	3
И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин (Москва). Семантика быстроты	13
А.А. Залевская (Тверь). Психолингвистический подход к анализу языковых явлений	31
В.Ю. Меликян (Ростов-на-Дону). К проблеме грамматической и словообразовательной парадигмы коммуникем	43
А.М. Ломов (Воронеж), Р. Гусман Тирадо (Гранада). Русское сложноподчиненное предложение и проблема его содержательной интерпретации	54
В.С. Сидорец (Мозырь). Современные восточнославянские неоднословные наименования действия с десемантизированным компонентом в системно-функциональном сопоставительном аспекте	66
Е.В. Урысон (Москва). Языковая картина мира и лексические заимствования (лексемы округа и район)	79
Г.И. Берестнев (Калининград). Образы множественности и образ множественности в русском языковом сознании	83
А.Л. Шолов (Москва). К стратификации дорусской топонимии Карелии	100

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

В.Б. Крысько (Москва). Русский язык: Энциклопедия	115
В.Д. Девкин (Москва). Большой толковый словарь русского языка	125
М.Б. Борисова, О.Б. Сироткина (Саратов). Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения	131
И.С. Улуханов (Москва). <i>Е.Г. Которова</i> . Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике. Сопоставительное исследование русского и немецкого языков	135
Л.А. Илюшина (Москва). Книга нарицаема Козьма Индикоплов	139
К.Г. Красухин (Москва). <i>F.R. Adrados, A. Bernabé, J. Mendoza</i> . Manual de la lingüística indoeuropea	141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	149
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1999 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,

А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,

А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),

А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков,

В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2

Институт русского языка имени В.В. Виноградова, редакция журнала «Вопросы языкознания»

Тел. 201-25-16

© 1999 г. А.В. КРАВЧЕНКО

**КЛАССИФИКАЦИЯ ЗНАКОВ
И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ
ЯЗЫКА И ЗНАНИЯ**

На вопрос "Для чего нужен язык?" любой ответит, что язык прежде всего необходим для общения, т.е. язык есть средство коммуникации. Но само по себе такое определение уже предполагает орудийный характер языка, ибо всякое средство призвано служить достижению некоторой цели. Какой же цели служит язык, в чем его предназначение? Ответ напрашивается сам собой: если коммуникация есть обмен информацией, значит посредством языка и осуществляется такой обмен. Другими словами, язык служит для создания, хранения и передачи информации. Следовательно, изучение особенностей коммуникации во всех ее аспектах невозможно без изучения того, что есть информация, каких видов она бывает, в чем ее смысловая (содержательная) и ценностная (аксиологическая) сущность. Это один аспект проблемы.

Второй аспект проблемы, самым непосредственным образом связанный с первым, заключается в недостаточной изученности содержательной стороны языковых единиц различных уровней. Речь в данном случае идет о коренном вопросе языкознания, а именно об истоках, механизмах и способах формирования языкового значения как определенным образом категоризованной информации.

Дело в том, что значение "живой", т.е. употребленной в акте коммуникации, языковой единицы (слова, словосочетания, предложения) нельзя определить, опираясь на некоторый конечный фиксированный набор элементарных компонентов – так называемых "семантических примитивов" [Wierzbicka 1972]. Хотя для решения определенных частных задач компонентный анализ играет существенную роль, ограниченные возможности такой модели определяются уже тем, что языковая система а priori рассматривается как автономное образование, заключенная в самой себе и самодостаточная, – хотя, как подчеркивал Б. Рассел, "язык предназначен относиться к фактам и облегчить связь с окружающей действительностью" [Рассел 1997: 74]. На протяжении почти всего XX в. значение трактовалось как некоторое содержание, вложенное в определенную форму, как своеобразный посредник между присутствующей вещью (= знаком), которая является носителем значения, и отсутствующим объектом, на который указывает значение [ЛЭС 1990: 166; Никитин 1996].

Особенно ярко такой подход к языку проявился в XX в. с развитием идей американского дескриптивизма и европейского структурализма. Со времен Э. Сепира и Л. Блумфилда надолго утвердилась традиция рассматривать язык как "систему специально производимых символов" [Сепир 1993: 31]. Л. Блумфилд утверждал, что необходимо изучать языковые привычки людей – то, как они говорят, – "не задаваясь вопросом о ментальных процессах, которые, как мы можем предположить, лежат в основе или сопровождают привычки" [Bloomfield 1922: 142]; структурализм, пришедший на смену дескриптивизму, довел этот принцип до логического абсолюта, что сыграло не последнюю роль в утрате им в конечном итоге ведущих позиций в языкознании.

Однако, как справедливо указывает Т. Гивон [Givón 1995: 5], еще в аристотелевой семиотике присутствовало третье важнейшее звено – духовное, без которого любые попытки проникнуть в сущность знака естественного языка неминуемо обречены на неудачу. Игнорирование человеческого фактора в языке привело, в частности, к появлению трех структуралистских доктрин, очень скоро превратившихся в догмы: о различии между языком и речью, о произвольности языкового знака и о недопустимости смешения диахронического и синхронического описания языка. Эти постулаты надолго определили общий концептуальный подход к изучению и описанию языка, который до сих пор удерживает прочные позиции в современном языкознании.

Вместе с тем, в последнее время все чаще высказываются сомнения, а то и прямая критика в адрес сосюрювских максим [Степанов 1997; Живов, Тимберлейк 1997; Трофимова 1997], ибо современный уровень осмысления накопленных языкознанием факторов, опирающийся на достижения комплекса когнитивных наук, дает основания если не для полной, но все же ревизии многих устоявшихся взглядов. К их числу относится и вопрос о немотивированности языкового знака в контексте общей проблемы знакового значения.

В XX в. развитие семиотики проходило под влиянием идей двух выдающихся ученых – американского философа Ч.С. Пирса и швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра. Суть воззрений Пирса на знаки состояла в том, что их природа и характер должны определяться в их непосредственном отношении к пользователю, в роли которого выступает "разум, способный к научению через опыт", при этом он полагал, что семиотика как отрасль логики и философии имеет целью выделение необходимых – в отличие от возможных – характеристик знаков, интерпретируемых существами, способными к научению. Таким образом, предел семиотики, по Пирсу, простирается далеко за область языковых знаков, используемых в человеческом общении.

Это нашло отражение в общем определении знака, в соответствии с которым знак есть нечто, выступающее для кого-то (интерпретатора) в роли представителя чего-то (объекта) в силу некоторой особенности или свойства. Знак есть сущность, характеризующаяся тройственной связью между Репрезентаменом, Объектом и Интерпретантой. Знаки бывают трех видов: иконы, индексы и символы. Общая характеристика знака у Пирса распространяется и на традиционные естественные знаки, и на конвенциональные (языковые) знаки, при этом, как отмечает Д. Кларк [Clarke 1987], некоторые пассажи у Пирса позволяют считать, что в рассмотрении знаков тот ориентируется на сентенциональную (языковую) парадигму, что отражается в характеристиках двух из трех его основных категорий знаков – индексов и символов. С одной стороны, индексом является знак, который отсылает к обозначаемому им Объекту в силу того, что он реально зависит от этого Объекта (т.е. речь идет, в первую очередь, о естественных знаках); с другой стороны, "все, что вызывает концентрацию внимания, есть индекс" [Peirce 1960: 161], и это положение иллюстрируется примерами указательных местоимений, т.е. речь идет уже о конвенциональных знаках.

Аналогичное расхождение в подходах наблюдается и в том, как Пирс толкует символ. "Символ есть Репрезентамен, Репрезентативная особенность которого состоит как раз в том, что она есть правило, определяющее Интерпретанту. Все слова, предложения, книги и другие конвенциональные знаки суть символы" [Peirce 1960: 165]. Таким образом, слова (по крайней мере некоторые из них, и в первую голову местоименные) оказываются одновременно и индексами, и символами. Более того, буквально через две страницы читаем следующее: «Символ есть знак, естественным образом приспособленный для объявления того, что группа объектов, обозначенная каким-то набором индексов, связанных с ней тем или иным образом, репрезентирована соотношенным с ней образом (icon). Чтобы показать, что означает это сложное определение, возьмем в качестве примера символа слово "любит" ("loveth"). С этим словом соотносится представление, являющее собой ментальный образ одного

человека, любящего другого. Далее мы должны помнить, что "любит" встречается в предложении – ибо вопрос состоит не в том, что оно [слово – А.К.] может означать само по себе, если оно вообще что-нибудь означает. Возьмем теперь предложение, например, "Иезекииль любит Олдаму" (Ezekiel loveth Huldah). Иезекииль и Олдама должны, в таком случае, быть индексами или содержать их, ибо без индексов невозможно обозначить то, о чем говорится» (Peirce 1960: 167). Иначе говоря, выделив три основных категории знаков, Пирс одновременно признавал, что между ними нет жестких границ, так как индекс может быть символом, символ – индексом, а тот и другой – иконами.

Кажущийся внешне противоречивым, этот тезис в истории развития лингвистики XX века сыграл роль, которую до конца еще не осознали и по достоинству не оценили ни последователи Пирса, ни его критики. Подробнее об этом речь пойдет чуть позже, а сейчас обратимся к соссюрловскому пониманию знака.

В Европе, с легкой руки Соссюра, наука о знаках получила название "семиология" и стала считать своим предметом все средства, используемые в человеческом обществе для целей коммуникации, включая как языковые выражения, так и неязыковые средства, такие, как жесты и сигналы в неязыковых кодах. При таком подходе семиология рассматривается как эмпирическая наука, подразделом которой является лингвистика, имеющая дело с языком как специальным средством человеческого общения. Соссюр исключил из семиологии традиционные естественные знаки и пирсовы индексы, равно как и знаки, используемые для общения низшими организмами. Другое отличие от пирсовой семиотики состояло в том, что если у последнего она была "квази-необходимой" наукой, изучающей свойства, которыми должны обладать знаки, используемые интерпретаторами, "способными к научению через опыт", то, по Соссюру, семиология замыкается на свойствах, которыми на деле обладают знаки, используемые в коммуникации.

Позднее основные направления соссюрловской программы семиологии (в отечественной лингвистике более употребителен термин "семасиология") в общих чертах были приняты европейскими лингвистами, при этом необходимость исключения естественных знаков признавалась (да и сейчас признается) практически всеми. Так, видный специалист в области лингвистической семантики М.В. Никитин пишет: "Нет достаточных оснований для того, чтобы в естественных связях и зависимостях вещей, явлений и событий усматривать знаковое отношение и приравнивать причины следствий или следствия причин к знакам. В понятие знака следует включить: первичные словесные и вторичные искусственные знаки, из числа знаков следует исключить признаки (симптомы, индексы)" [Никитин 1996: 21]. Этот тезис получил дальнейшее развитие в статье этого же автора под примечательным названием "Предел семиотики", где он критикует тенденцию современной науки о знаках к неоправданному экспансионизму [Никитин 1997]. На это указывает не он один – так, почти совпало по времени появления статья на ту же тему С.В. Гринева [Гринев 1997]. Действительно, такая тенденция имеет место, и в гораздо более широких масштабах, когда даже самая человеческая культура в целом рассматривается как семиотический объект [см.: Язык... 1996; Степанов 1997]. Однако главный пафос упомянутой статьи не в этом: ее автор видит сложившееся положение вещей как результат соблазна, в который семиотику ввел Ч. Пирс со своей теорией, основанной на выделении трех типов знаков – в результате "семиотика исследует в знаках то, что в них незнаково" [Никитин 1997: 4].

М.В. Никитин весьма категорично испровергает пирсову теорию как непродуктивную, настаивая на возврате к тем представлениям, которые были намечены Соссюром и которые в общем виде сводятся к тому, что все знаки суть символы, устанавливающие произвольную (немотивированную) связь между означаемым и означаемым на основе конвенции. Насколько обосновано и обосновано ли вообще такое утверждение?

Язык является знаковой системой, при этом знаковость как совокупность

определенных свойств материального (форма) и идеального (содержание) характера присуща не только слову как типичному представителю языковых знаков, но и единицам более высокого уровня, или полным языковым знакам, иерархической вершиной которых являются высказывание и текст. Одним из принципиальных положений структурализма является постулат о зависимости значения языковой формы от системы языка как таковой. Внешний мир и то, как люди взаимодействуют с ним, как они его воспринимают и концептуализируют, с точки зрения структурализма, – экстралингвистические факторы, не затрагивающие самой системы языка. Соответственно, знание о мире, которым владеет говорящий, также остается внешним по отношению к системе. Однако разные типы знаков, будучи членами единой репрезентативной системы, с необходимостью отражают определенные аспекты концептуальной картины мира, или знание о мире. Это знание является составной частью значения единиц, образующих собственно систему языка – лексику и грамматику [Апресян 1980].

Трудности, с которыми столкнулась общая теория значения во второй половине XX столетия, привели, среди прочего, к необходимости пересмотра традиционных воззрений на сущность и характер языковых категорий – в частности, классическую (логическую) традицию в учении о категориях, идущую от Аристотеля, заметно потеснила теория прототипов. В соответствии с классическим подходом, категории определяются в терминах совокупностей необходимых и достаточных признаков, эти признаки бинарны (по принципу "все или ничего"), соответственно категории имеют четкие границы (сущность либо является членом категории, либо нет). Наоборот, в теории прототипов, становление и развитие которой было стимулировано идеями Л. Витгенштейна и экспериментальными исследованиями Э. Рош, категоризация сущностей связывается с выявлением их характеристик, которые не являются бинарными конструктами, а объединяются по принципу "фамильного сходства". Эти характеристики могут быть функциональными (т.е. они имеют отношение к тому, как используется предмет), либо интеракциональными (т.е. они имеют отношение к тому, как люди манипулируют этим предметом). В общем и целом, эти характеристики имеют отношение не к изначальным свойствам самого предмета, а к той роли, которую он играет в данной культуре, поэтому прототипные категории отличаются гибкостью, не свойственной аристотелевым категориям, и могут пополняться за счет новых, ранее неизвестных данных [Taylor 1989].

В общих чертах категоризация есть процесс членения мира (универсума) на дискретные сущности и группы таких сущностей, что делает возможным свести безграничное разнообразие мира до приемлемых (с точки зрения человека) пропорций. Направления категоризации могут быть различными – в зависимости от того, под какую рубрику опыта подводится явление, объект, процесс и т.п. [КСКТ 1996: 42]. Одним из результатов такой классификационной деятельности является, в частности, выявление в окружающем человеке мире значимых и значащих сущностей, изучаемых в рамках общей теории знаков (семиотики), – и в этом смысле знак сам по себе уже есть категория как сущность, вычленимая из универсума по определенному признаку, а именно по его способности быть носителем информации (иметь содержание).

Особым видом знака является знак языковой – "материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности" [ЛЭС 1990: 166]. В структуральной парадигме языка знаки трактуются как символы, устанавливающие произвольную (немотивированную) связь между означающим и означаемым на основе конвенции; но "означающая" функция языковых знаков возникает не в силу прямого соотношения их с внешним миром, а в силу соотношения с человеческим опытом, образующим основу знания. Различия в опыте ведут к различиям в знании, а через них – к разным картинам мира. Следовательно, изучение языковой картины мира должно отталкиваться от установления типов знания, представленного в языке, источников и способов представления этого знания в языковых формах, т.е. необходимо детальное изучение законов и

механизмов языковой категоризации. Изучение этих механизмов предполагает обращение к процессу познания действительности как основе осознанной деятельности человека. Учитывая все это, проблема значения языкового знака видится в аспекте его способности быть средством фиксации, хранения и передачи знания, а потому семиотика не может обойтись без гносеологии и наоборот.

Как указывал в свое время Дж. Локк, семиотика имеет своей задачей рассмотрение природы знаков, к помощи которых разум обращается для понимания вещей либо для передачи знания другим. Эта формулировка весьма примечательна тем, что в ней подмечены две неразрывные стороны познавательного процесса, который, в общем и целом, и призван обслуживать язык, будучи знаковой системой. Это, во-первых, извлечение человеком знания из окружающего мира ("понимание вещей") и во-вторых, "передача знания" как содержательная суть всякого коммуникативного акта. Однако нельзя передать то, чего не имеешь, а чтобы иметь нечто, надо его сперва приобрести, да еще и сохранить, желательно в более или менее неизменном виде. Таким образом, современное понимание языка как знаковой системы, служащей для извлечения, хранения и передачи информации, не является новым, оно уходит корнями по меньшей мере в эмпиризм позднего Средневековья.

М.В. Никитин обвиняет Ч. Пирса в том, что тот в своих семиотических построениях обходится без отправителя знаков, "ему достаточно было получателя", – тем самым он якобы впадает в грех интенционального понимания знака, в результате чего и возникают "псевдознаки без отправителя – индексальные и иконические". Знак, по Никитину, всегда интенционален и "предполагает отправителя еще в большей мере, чем получателя, так как в его определение непременно должно входить то, что это – конвенциональный транслятор значений от отправителя к получателю. Он – результат специальной конвенции" [Никитин 1997: 4]. Все дальнейшее содержание своей статьи М.В. Никитин посвящает обоснованию и доказательству этого тезиса, уделяя основное внимание разведению между собой двух видов значения – семиотического (знакового) и импликационного (незнакового), хотя, по его же утверждению, сами знаки "несут значение обоих видов". Поскольку источником второго вида значения (импликационного) служит не просто событие, но событие-знак, М.В. Никитин предлагает назвать его семиоимпликационным (по источнику). Далее речь идет о знаковом акте, который "всеми своими компонентами, на всех уровнях своей структуры, сам по себе и во взаимодействии со средой своего осуществления служит источником внезнаковых импликаций, т.е. воспринимается не только как знак с его знаковым значением, но анализируется во всей полноте его сторон как целостное явление и тем самым из него извлекается масса разнообразной информации... В конечном счете получатель извлекает некий суммарный итог взаимодействия кодифицированного семиотического и некодифицированного семиоимпликационного значения знаковых актов" [Никитин 1997: 7]. Смысл приведенной цитаты позволяет предположить, что М.В. Никитин несколько неточно интерпретирует то, что Пирс говорил о знаках вообще и об индексальных знаках в частности.

В своих "Элементах логики" термин "индекс" Пирс обозначил знак, "который отсылает к своему объекту не столько из-за какого-то сходства или аналогии с ним, и не потому, что он ассоциируется с общими свойствами, которыми обладает этот объект, а потому, что он находится в динамической (включая пространственную) связи как с индивидуальным объектом, с одной стороны, так и с чувствами или памятью лица, которому он служит знаком, с другой. Ни один факт действительности не может быть констатирован без использования какого-нибудь знака, служащего индексом" [Peirce 1960: 170]. Нетрудно видеть, что упор в этом определении сделан на феноменологическую природу знака (включая и языковые знаки), т.е. именно на ту его сторону, которая долгое время оставалась за пределами внимания лингвистики.

Изучение проявлений индексальности как свойства знаковых форм на разных языковых уровнях – в рамках общей теории указательности [Кравченко 1992; 1995;

1996] – дает весомые основания предполагать, что индексальность в той или иной степени свойственна любому знаку, т.е. не существует символов в чистом виде, да это и невозможно в принципе на чисто логических основаниях. М.В. Никитин настаивает на необходимости исключить индексальное значение из предмета семиотики, ограничив его исключительно конвенциональным значением. Почему? При чтении статьи возникает ощущение, что понятие знаковой индексальности у ее автора ассоциируется с проявлениями исключительно натурфактов – об этом говорят приводимые примеры типа красного заката как знака ветреной погоды или отражения неба в воде. У Пирса для наглядности в качестве типичного примера индексального знака также приводится естественный знак – дым как указание на огонь, с которым он связан. Однако это вовсе не означает, что под индексом Пирс понимает исключительно естественные знаки.

В этой связи на ум сразу приходят взгляды Блаженного Августина, выделявшего два типа знаков – естественные (*signa naturalia*) и данные, произведенные (*signa data*). Естественные знаки – это знаки, которые, по словам Августина, "без какого-либо намерения или желания означать заставляют осознать нечто, кроющееся за ними, подобно тому, как дым означает огонь". Напротив, произведенные знаки намеренно создаются для целей коммуникации. Эти знаки не обязательно конвенциональны в смысле подчинения некоему правилу, установленному языковым сообществом: так, находясь в чужой стране, мы можем обратиться к человеку, не говорящему на нашем языке, посредством жеста, который будет произведенным знаком, но вряд ли – конвенциональным. В другом месте Августин характеризует произведенные знаки как знаки, данные не в природе, но произвольно установленные и принятые по соглашению. Это уже характеристика так называемых "конвенциональных знаков", и это различие в дальнейшем сыграло существенную роль в развитии учения о знаках (см. [Clarke 1987]).

И тут, возвращаясь к проблеме соотношения конвенционального (знакового) и импликационного (незнакового, по Никитину) значения, настает время спросить, а "откуда есть пошло" это самое конвенциональное значение и почему оно всегда в паре с импликационным? Нет ли здесь "кровного родства" по признаку производящего начала? И что является этим началом? Представляется, что ответ на этот вопрос лежит в той части знакового акта, который у М.В. Никитина остался как бы в стороне, а именно в процессе извлечения знания из мира и его сохранения в знаке.

Что такое знак? В соответствии с философским определением – "чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения" [КФЭ 1994: 166]. Иначе говоря, знак – это холистическая бытийная сущность, наполняемая содержанием. Это содержание не есть имманентное свойство сущности. Растущее дерево не имеет содержания как холистическая сущность, поэтому оно не является знаковой формой. Нельзя спросить, знаком чего является дерево в лесу – оно просто есть дискретная сущность, выделенная из универсума. Ободранная кора – нарушение целостности дерева как сущности – втягивает дерево в систему отношений с внешними по отношению к нему сущностями. Эти отношения и образуют содержание, усвоение которого человеком в прототипическом случае обусловлено опытом (по принципу "чем больше опыта, тем яснее содержание").

Ободранная кора – знак (симптом), требующий интерпретации; интерпретаций может быть неопределенное количество, при этом знак-симптом не является носителем необходимой информации сам по себе, информативной значимостью его наделяет человек. Уровень информативной насыщенности и информативной определенности знака прямо пропорционален имеющемуся у интерпретатора опыту (ободранная кора как след изюбря, медведя, бобра, топора – и, следовательно, человека – и т.п.). След зверя как сущность лишен интенциональности, но это все равно знак в той мере, в какой он способен выступать в виде формы, имеющей (точнее – приобретающей) определенное содержание (со-держание, т.е. наличие некоторой связи

с иной сущностью, со-держимым). След топора уже может быть интенциональным (т.е. он может быть знаком-сигналом), но его однозначная интерпретация доступна только субъекту интенции. След топора определенной формы и ориентации, оставляемый членами сообщества людей (охотниками, геологами, лесорубами и т.п.). по соглашению – интенционален и конвенционален, но становится ли он символом в привычном понимании этого термина?

Общая интерпретация символа должна быть принципиально возможной независимо от специфического окружения сущности, выступающей в этой роли (т.е. от контекста). Другими словами, его содержание должно оставаться неизменным. Если обыватель видит след топора на дереве в городском саду – это для него всего лишь симптом, признак того, что здесь был (есть) человек с топором, и не более. Если след топора имеет не случайную форму, он может быть воспринят как сигнал неизвестного отправителя неизвестному же получателю с неизвестной целью, т.е. он категоризуется как знак, наполненный неизвестным содержанием, – но именно потому, что интерпретатор располагает опытом, говорящим ему о возможном интенциональном характере сущности, категоризируемой в данном случае как знак (или о наличии интерпретанта, по Пирсу). Как справедливо указывал Б. Рассел, "очень большая часть того, что мы, как нам кажется, воспринимаем, состоит из привычек, причиной которых является ранее приобретенный опыт" [Рассел 1997: 64]. Камень, лежащий у дороги, еще не знак, тогда как камень посреди дороги – уже знак, так как обладает содержанием благодаря имеющемуся в нашем распоряжении опыту. Другой вопрос, в чем заключено это содержание, но что оно есть, не вызывает сомнения.

Примеры подобного рода дают представление о типах знаков, наполняемых определенным содержанием исключительно с учетом непосредственного окружения сущности, выступающей в знаковой функции. Такие знаки, по Пирсу, суть индексы, т.е. их интерпретация невозможна без знания контекста, в котором они встречаются и/или употребляются. Отметим, что одна и та же сущность может выступать и как знак, и как не-знак, особенно если речь идет о натурфактах – здесь все зависит от меры опыта, которым владеет возможный интерпретатор. Однако чем больше вовлеченность той или иной сущности в сферу подручного опыта человека, тем больше у нее шансов выступать в роли знака, т.е. становиться формой, вмещающей некоторое содержание, обусловленное опытом интерпретатора. Опытный человек – это, в первую очередь, человек, способный извлечь массив информации из окружающей ситуации, т.е. это человек, который видит знак там, где неопытный человек его не видит. Следовательно, знаковость сущности есть функция, аргументом которой является опыт.

Итак, любая сущность в принципе может выступать в знаковой функции, но при этом ее знаковость ограничена постольку, поскольку сфера проявления знаковой функции в каждом отдельном случае ограничена пространственно-временными параметрами ситуации, в которой эта сущность является интерпретатору. Иначе говоря, сущность может быть носителем информации в конкретном месте в конкретное время для конкретного интерпретатора, но при изменении этих параметров ее способность служить знаком может исчезнуть. Следовательно, для того чтобы можно было не только сохранить информацию по возможности в неизменном виде, но и сделать ее доступной любому интерпретатору в любом месте в любое время, необходимо, чтобы сущность, выступающая в роли знака, вызывала у разных интерпретаторов одни и те же ассоциации независимо от времени и места своего явления. Для этого само бытие такой сущности в идеале не должно находиться в какой-либо зависимости от пространства и времени в том смысле, что между формой и содержанием должно сохраняться постоянное однозначное соответствие.

Таким образом, мы подходим к осознанию того, что знак, если только он призван служить стабильным средством сохранения и передачи информации, с необходимостью должен быть абстрактной сущностью (отсюда, в частности, идет определение языкового знака как материально-идеального образования). Казалось бы, этому

требованию отвечает большинство языковых знаков, подпадающих под определение символа в духе Соссюра, – т.е. как произвольного знака, характеризующегося конвенциональностью значения. Схематически эта условность обычно иллюстрируется известным семантическим треугольником Огдена – Ричардса. При подходе к языку со структуралистских позиций, т.е. как к автономной знаковой системе, такое понимание языкового знака не вызывает особых возражений, но если отказаться от во многом условного разделения языка и речи, возникают некоторые сомнения.

1. Слово – как типичный языковый знак – материально в каждый отдельный момент своего существования (будь то в языке или в речи), оно находится в пространственно-временной связи с множеством других материальных сущностей, образующих его бытийный контекст, или среду, поэтому естественно, что изменение этого контекста ведет к изменению набора и характера связей, в которые оно (слово) вступает. Следовательно, набор ассоциаций, образующих у человека то, что можно назвать "опытом знака", и потому связанных с закрепленной за знаком информацией, может варьировать.

2. Пространственно-временное бытие знака как материальной сущности неизбежно предполагает его изменение (в физическом смысле), т.е. форма знака оказывается не постоянной, раз и навсегда данной, она способна претерпевать значительные изменения (что блестяще доказывает сравнительно-исторический метод в языковедении). Эти изменения, в свою очередь, ведут к изменению характера связей знака с другими сущностями (включая другие знаки), а это не может не сказываться на "опыте знака", от которого отталкивается пользователь, и на информации, образующей содержание знаковой формы.

3. Следовательно, связь между формой знака (означающим) и ее содержанием (означаемым) на каждый данный момент нельзя считать абсолютно произвольной в той мере, в какой нельзя считать произвольным характер закрепляемых за знаком ассоциаций, обусловленных "опытом знака".

4. Собственно ассоциации, о которых идет речь, есть не что иное, как концепты – в прототипе бинарные ментальные структуры, являющиеся оперативными единицами сознания в усвоении и представлении опыта. Таким образом, материальность знака, с одной стороны, и феноменологические корни концептов, репрезентируемых знаком, с другой, не позволяют охарактеризовать знак как чистую абстракцию, а это означает, что символов (в духе Соссюра, Бюлера, Никитина и др.) в чистом виде не существует в принципе. Если это так, то значение любого языкового знака не может быть описано с исчерпывающей полнотой. Истинность подобного утверждения сегодня мало у кого вызывает сомнения. Означает ли это, что проблема языкового значения в принципе неразрешима? Думается, что нет.

В когнитивной парадигме языкового анализа значение знака связывается с его способностью активизировать в сознании интерпретатора концепт (или совокупность концептов), ассоциированный с данным конкретным знаком на тех же основаниях, на которых отправитель принимает решение выбора в пользу одного из потенциально возможных знаков, могущих служить для репрезентации этого же концепта. Процесс адекватного истолкования языкового знака (понимание в обычном смысле слова) есть, по сути, процесс возможно наиболее точного исчисления этих оснований. Чем менее точно определены эти основания, тем больше вероятность расхождения между вложенным и извлеченным знанием (отсюда – проведение различия между "значением" знака и его "смыслом"). Осознание этого отразилось в вводе в лингвистический обиход понятия "значение говорящего", поскольку, говоря словами Р. Лангакера, "не существует двух говорящих, пользующихся одной и той же идентичной языковой системой" [Langacker 1987: 376]. Значение говорящего принято противопоставлять конвенциональному значению как отходящее от некоторых общепринятых в данном языковом сообществе норм и правил интерпретации знаков. Но нормы и правила есть всего лишь отражение некоего совокупного обобщенного опыта, а не предписанные кем-то установления директивного порядка, которые не должны нарушаться. Так,

пиво – это напиток, приготовленный из воды и солода по особой технологии, и если кто-то выливает себе на голову бутылку пива, оно не перестает от этого быть пивом. Другой вопрос, какую цель в подобном случае преследует пользователь (они могут быть самыми разными), но если исходить из того, что этот человек психически здоров, мы скорее всего начнем искать возможное объяснение такому нетрадиционному использованию пива, пытаясь соотнести явление с тем опытом, который имеется в нашем распоряжении.

Аналогичным образом обстоит дело и в случае "девиантного" употребления знака, и если мы обладаем достаточным опытом знака, опытом отправителя этого знака и опытом мира, в котором существуем мы, отправитель и знак, то мы, как правило, в состоянии исчислить (пусть не с абсолютной точностью) основания выбора в данном случае именно этого знака, а не любого другого из возможных (ср. с импликатурами П. Грайса). Этот процесс, в частности, лежит в основе таких характерных для естественного языка явлений, как метонимия и метафора.

Итак, знак – это не только средство передачи знания, как мы уже говорили, но и средство его сохранения, т.е. некоторая форма, наполненная определенным содержанием – но содержанием не в смысле представления о познания сути явления, представляющего в этой форме, а в смысле преломленного в сознании опыта отношения этого явления к другим вещам или явлениям в существующем мире. Сам по себе красный закат вовсе не обязательно предвещает ветреную погоду – он может быть следствием далекого степного или лесного пожара, необычных аномальных явлений в атмосфере и т.п.; лишь накопленный опыт позволяет человеку (интерпретатору) установить относительно регулярную связь между цветом заката и возможным изменением погоды, и эта связь и становится тем самым "вложенным" содержанием. Таким образом, красный закат становится знаком в том смысле, что он, вследствие усвоенного опыта, является носителем информации, не будучи интенционально произведенным человеком.

Ведь отправитель, интенционально употребляющий знак, не извлекает его из некоего обезличенного хранилища форм, в которые вложены (кем? когда?) так называемые конвенциональные значения. Он прибегает к помощи знака, усвоенного и освоенного им в процессе накопления личного опыта о мире, в той пространственно-временной, географической, исторической, культурной и т.п. среде, частью которой и является самый язык. Разные стороны этого опыта так или иначе накладываются на тот комплекс психических (ментальных) ассоциаций (концепт), который получает общественно значимое закрепление в отдельном конкретном знаке, поэтому у каждого отправителя всякий знак оказывается пропущенным через сознание наблюдателя в его, знака, связи с самыми разными вещами и событиями. Именно эту особенность знака следует связывать с понятием индексальности в духе Пирса – и именно в этой особенности отказывает знаку В.М. Никитин.

Однако все виды импликаций, составляющих (опять же, по Никитину) "некодифицированное" значение, есть не что иное, как та часть знаний, которая "включается" в процесс интерпретации знака указанием на лицо, употребляющее этот знак. Чем меньше у интерпретатора (получателя) знака объем фоновых знаний о среде, в которой осуществляется речемыслительная деятельность отправителя знака, тем меньше объем импликаций, которые этот знак способен вызвать. Так, маленькому ребенку цвет заката ровным счетом ничего не говорит ввиду отсутствия соответствующего опыта, а потому красный закат не является для него знаком в каком-либо приемлемом смысле слова. Но точно так же не является для него знаком и любое произнесенное кем-то слово при условии, что оно является новым или неизвестным. Иначе говоря, то, что по определению является произведенным знаком для определенного сообщества, вовсе не обязательно выступает в этой роли для каждого члена этого сообщества, способного его воспринять. Для человеческого индивида слово становится знаком только после того, как оно входит – в качестве связующего, опосредующего элемента – в систему устойчивых ассоциаций между предметами и

явлениями мира, образующих определенный ментальный конструкт (концепт), который, в конечном счете, и составляет основу того, что принято называть значением знака. Система этих ассоциаций самым непосредственным образом связана с условиями (в широком смысле), в которых происходит усвоение знака, а потому для каждого конкретного индивида набор совместно встречаемых сущностей, образующих импликацию, индивидуален. Так, озвучивание слова *каша* в сознании одного индивида ассоциируется с манной крупой, сваренной на молоке с сахаром, у другого – с гречкой или просом, сваренным на воде с солью и заправленным маслом, у третьего – с чем-то еще, и если эти ассоциации не могут быть извлечены интерпретатором из отправленного ему знака, нельзя говорить о том, что он в полном объеме воспринял значение, вложенное в этот знак отправителем (ср. с аналогичными рассуждениями Б. Рассела [Рассел 1997: 15] на эту тему).

В экстремальном случае объем импликаций может быть равен нулю, т.е. значение знака в этом случае будет чисто конвенциональным (опять же по Никитину, в духе сосюрловской парадигмы) – но сохранит ли при этом знак свою способность выступать в роли репрезентанта знания, в чем, собственно, и состоит его предназначение? Ответ на этот вопрос представляется очевидным.

Подводя краткий итог высказанным (с необходимостью фрагментарным) соображениям о содержательной сущности знаков вообще и языковых знаков в частности – и, в связи с этим, о границах семиотики, определяемых ее предметом, – можно констатировать, что между семиоимпликационным значением по Никитину и индексальным значением по Пирсу нет принципиальной разницы, так как оба, в сущности, говорят об одном и том же. А если это так, то тот предел, который М.В. Никитин "положил" семиотике, предстает всего лишь как стремление втиснуть в прокрустово ложе структурализма то, что из него явно выросло.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1980 – Принципы семантического описания единиц языка // Семантика и представление знаний. Тарту, 1980. Вып. 519.
- Гришев С.В. 1997 – К уточнению некоторых основных понятий семиотики // ФН. 1997. № 2.
- Живов В., Тымберлейк А. 1997 – Расслаивая со структурализмом (тезисы для дискуссии) // ВЯ. 1997. № 3.
- Кравченко А.В. 1992 – Вопросы теории указательности: Эгоцентричность. Дейстичность. Индексальность. Иркутск, 1992.
- Кравченко А.В. 1995 – Принципы теории указательности. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1995.
- Кравченко А.В. 1996 – Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.
- КФЭ 1994 – Краткая философская энциклопедия. М., 1994.
- КСКТ 1996 – Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Никитин М.В. 1996 – Курс лингвистической семантики. СПб., 1996.
- Никитин М.В. 1997 – Предел семиотики // ВЯ. 1997. № 1.
- Рассел Б. 1997 – Человеческое познание: Его сфера и границы. Киев, 1997.
- Сенир Э. 1993 – Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Степанов Ю.С. 1997 – Словарь русской культуры. М., 1997.
- Трофимова Е.Б. 1997 – Стратификация языка: теоретико-экспериментальное исследование. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Барнаул, 1997.
- Язык... 1996 – Язык в эпоху знаковой культуры (Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф.). Иркутск, 1996.
- Bloomfield L. 1922 – Review of Sapir's *Language* // *The Classical Weekly*. 1922. № 18.
- Clarke D.C. 1987 – *Principles of semiotic*. London; New York, 1987.
- Givón T. 1995 – *Functionalism and grammar*. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Langacker R.W. 1987 – *Foundations of cognitive grammar*. V. 1: *Theoretical prerequisites*. Stanford, 1987.
- Peirce C.S. 1960 – *Elements of logic* // *Collected papers of Charles Sanders Peirce*. V. 2. Cambridge, MA, 1960.
- Taylor J.R. 1989 – *Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory*. Oxford, 1989.
- Wierzbicka A. 1972 – *Semantic primitives*. GmbH, 1972.

© 1999 г. И.М. БОГУСЛАВСКИЙ, Л.Д. НОМДИН

СЕМАНТИКА БЫСТРОТЫ*

Если жить быстро, то получается не очень долго.

Народная мудрость

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Задача, которую мы ставим перед собой в настоящей статье – проследить на относительно простом лексическом материале, как соединяются значения наречий и глаголов. Как известно, соотношение значений наречия и глагола, при котором это наречие выступает в качестве обстоятельства, – вещь весьма прихотливая.

Для одних наречий характер значения глагола вообще несуществен. Так, модальные наречия типа *кажется, по-видимому, очевидно, вероятно* и др. сочетаются с глаголами любой семантики. Для других наречий важна лишь очень широкая категориальная принадлежность глагола. Например, выражения типа *с радостью, с грустью, охотно, с удовольствием* и пр., характеризующие эмоциональное или ментальное состояние субъекта легко присоединяются к названию действия, но не состояния: *Он с грустью убедился, что опыт никого ничему не учит* – **Он с грустью полагает (считает), что опыт никого ничему не учит.*

Наконец, многие наречия накладывают вполне конкретные ограничения на значение глагола, поскольку они воздействуют на определенную сему в составе его значения. Например, с первого взгляда на наречное выражение *на цыпочках* ясно, что оно характеризует не просто действие, а то, каким образом человек *передвигается* или *стоит*: можно *идти, бежать* или *стоять на цыпочках*, но нельзя *на цыпочках спать, решать задачу* или *рубить дрова*. Далее, кажется очевидным, что это выражение присоединяется не к любому глаголу, обозначающему передвижение, а лишь к такому, который описывает передвижение *пешком*. Нельзя сказать **на цыпочках подполз (приехал, прилетел)*. Эти ограничения прямо вытекают из значения самой лексической единицы *на цыпочках*, которая утверждает, что в ходе передвижения субъект должен опираться на землю передней частью стопы.

Однако при всей своей очевидности требование пешего передвижения не является достаточным для задания допустимых сочетаний *на цыпочках* с глаголами движения: существуют глаголы, обозначающие передвижение с помощью ног и тем не менее не допускающие *на цыпочках* (**шагает (марширует, плетется) на цыпочках*). Более того, возможны сочетания этого выражения с глаголами движения, не обозначающими непременно пешего передвижения: *Он на цыпочках приблизился к двери. Я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты* (Л. Толстой, пример из словаря Ушакова). *Она передвигается по дому только на цыпочках. Уже эти примеры показывают, что с виду простые правила семантического согласования наречия с глаголом могут оказаться не такими уж простыми.*

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 99-06-80277.

Семантические требования, предъявляемые наречием к глаголу, могут различаться даже у наречий, от которых естественно ожидать тождественных ограничений. Такие, на первый взгляд, параллельные антонимы, как *громко* и *тихо* (в их основных значениях, связанных с силой звука), удивительным образом различаются своей сочетаемостью. С одной стороны, оба наречия можно употребить в контекстах типа *Он тихо (громко) произнес (прошептал, вскрикнул, хлопнул в ладоши, постучал в дверь)*.

С другой стороны, во многих случаях замена *тихо* на *громко* недопустима:

(1a) *Лес тихо (*громко) роняет листья.*

(1б) *Вдоволь наигравшись, дети тихо (*громко) засыпали.*

(1в) *Он тихо (*громко) вошел в комнату.*

(1г) *Он сидел в углу и тихо (*громко) писал письмо.*

Оба наречия характеризуют силу звука, издаваемого при совершении некоторого действия. Различие состоит в том, какую роль играет этот звук в значении глагола. Для *громко* это одна из основных сем в значении глагола. Глагол, с которым прототипически сочетается *громко*, должен непосредственно обозначать *производство звука*¹. Так, предложение *Мальчик играет очень громко* правильно относительно «музыкального» значения глагола *играть*, но недопустимо в ситуации спортивной игры или игры как развлечения (*играет в футбол, в кубики*). В последнем случае вместо *громко* следует употребить, например, наречие *шумно*.

В случае *тихо* это вовсе не обязательно. Как видно из примеров (1a) – (1г), сема 'звук' не обязана присутствовать в значении глагола. Достаточно, чтобы ситуация, обозначаемая глаголом, в принципе могла мыслиться как *сопровождение* производством звука. Если нет даже такой потенциальной возможности, то возникает аномалия: **тихо знает математику*.

Отсюда ясно, что при описании семантики наречий задача состоит не только в том, чтобы дать их собственные толкования и описать их сочетаемость. Важно также выявить правила соединения значений глагола и наречия, то есть понять, на какую сему в значении глагола наречие воздействует и какую роль эта сема может играть. Иными словами, важно определить сферу действия наречия в составе значения глагола². Мы решили исследовать этот механизм на примере наречий с максимально прозрачной семантикой и очевидными семантическими требованиями, накладываемыми на глагол, – на наречиях скорости *быстро* и *медленно*.

1. ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ И СРОКА

1.1. Значение *быстро*, *медленно* и идея скорости.

Идея скорости интуитивно вполне ясна. Прототипическая ситуация, в которой можно говорить о скорости, – это ситуация передвижения: скорость тем больше, чем большее расстояние преодолевается в единицу времени. Однако, конечно, скорость может характеризовать и гораздо более широкий класс ситуаций, включающий любой процесс, который приводит к изменению положения дел. В этом более общем понимании скорость есть показатель того, насколько далеко продвигается процесс в своем развитии в единицу времени.

¹ Одна из непрототипических ситуаций состоит в том, что производство звука не входит в значение глагола непосредственно, а возникает на следующем шаге семантического (или логического) анализа. Например, глагол *включить* обозначает приведение какого-либо прибора в рабочее состояние и сам по себе семы 'звук' не содержит. Однако в тех случаях, когда функционирование прибора заключается именно в производстве звука, сочетание глагола *включить* с *громко* оказывается допустимым; ср. *громко включил радио* в отличие от **громко включил утюг*.

² Тем самым данная работа лежит в русле исследований, развиваемых в [Богуславский 1996].

Значения наречий *быстро* (о *быстро* 2 речь пойдет ниже) и *медленно* можно представить следующим образом:

(2) *быстро* *Х-овать* ≈ 'последовательные фазы процесса или действия Х следуют друг за другом через малые промежутки времени'.

(3) *медленно* *Х-овать* ≈ 'последовательные фазы процесса или действия Х следуют друг за другом через большие промежутки времени'.

Идея изменения выступает в этих толкованиях имплицитно, в составе значения слова *фаза*, поскольку фазы – это отличающиеся друг от друга части ситуации. Застигнутая, неменяющаяся, лишенная развития ситуация фаз иметь не может и глагол, обозначающий такую ситуацию, с наречиями скорости не сочетается:

(4а) **Девочка быстро ныла* (*кричала, плакала, ревела, рыдала*).

(4б) **Пароход медленно гудел*.

Если глагол обозначает действие, состоящее из множества повторяющихся квантов, то эти кванты и выступают в качестве фаз ситуации. В этом случае скорость выступает как *ч а с т о т а*, с которой следуют друг за другом повторяющиеся кванты события. Например:

(5) *Девочка быстро прыгает на одной ножке* (*на месте*).

(6) *Она быстро поглядывает то на одного, то на другого*.

Отдельный тип сочетаний глагола с *быстро* представлен ситуациями, когда в значении глагола повторяющиеся кванты непосредственно не входят, и тем не менее *быстро* передает идею скорости чередования нескольких актов соответствующего события; ср.:

(7) *Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда*. (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

В естественной интерпретации предложения (7) никак не утверждается, что поезда шли с большой скоростью или что они прошли (мимо наблюдателя) за короткий срок. Речь идет лишь о том, что они прошли с небольшим интервалом, то есть что высокой была скорость смены поездов. Такая интерпретация появляется только благодаря присутствию *один за другим*. Без этого выражения эффект исчезает; ср. *быстро прошли два свитских поезда*.

Прототипические случаи употребления *быстро* – это сочетания с глаголом несовершенного вида в актуально-длительном или процессном значении типа *Девочка быстро бежит*.

Существуют, впрочем, и другие типы ситуаций, в частности, когда *быстро* сочетается с глаголами несовершенного вида в прочих видо-временных значениях и даже с глаголами совершенного вида, в предельном случае включая и моментальные:

(10) *Гений творит смело, быстро*. (Н.В. Гоголь. Невский проспект).

(11) *Если это моя совесть, – быстро подумал я, – то она весьма и весьма неприглядна...* (С. Довлатов. Заповедник).

(12) *Она быстро кивнула в сторону моей жены: – Господи, какая страшенькая!..* (С. Довлатов. Заповедник).

(13) *Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу* (А.П. Чехов. Дочь Альбиона).

Что касается семантических классов глаголов, хорошо сочетающихся с идеей скорости, то к ним в первую очередь относятся глаголы со значением процессов и действий, прежде всего физических (*бежать, расти, развиваться, уметь* и т.д.). Не совместимы с идеей скорости глаголы, обозначающие состояние:

(14) **Иван быстро знает географию* (*считает мое поведение странным, чувствует какую-то злость*).

(15) **Старушка быстро сидела в кресле* (*лежала на топчане*).

В предложении

(16) *Я думала: как быстро я стою!* (Б. Ахмадулина)

разумеется, налицо языковая игра.

Вообще говоря, чем у глагола сильнее процессная (особенно физическая) составляющая, тем лучше он сочетается с показателем скорости, а чем сильнее стативная составляющая, тем сочетаемость хуже. Однако в действительности дело обстоит сложнее, чем предполагает эта простая формулировка.

Дело в том, что для того чтобы принимать наречие скорости, глаголу недостаточно просто содержать в своем толковании значение изменения или даже движения. Это значение может занимать в значении глагола разные позиции, и в одних позициях оно легче доступно для наречий скорости, чем в других. Подробнее мы остановимся на этой проблеме ниже, в разделе 2.

1.2. Значение *быстро2* и идея срока.

Когда говорят, что

(17) *Иван быстро приехал,*

то могут иметь в виду не тот факт, что Иван быстро ехал, а что прошло мало времени от некоторой точки отсчета (например, от начала его поездки) до приезда. В этом случае можно говорить о другом лексическом значении наречия *быстро*, формируемом не идеей высокой скорости, а идеей краткого срока.

Впрочем, в примере (17) идея высокой скорости движения хоть и не обязательна, но возможна (ниже мы поговорим об этом слабом компоненте значения *быстро2* подробнее). Между тем, часто о скорости вообще не может быть никакой речи, и значение срока выступает в чистом виде. Например:

(18) *Дождь быстро кончился, и мы поплыли дальше.*

Ясно, что здесь говорится не о скорости, с которой заканчивался дождь, а о том, что он продолжался недолго.

Еще одно замечание, которое необходимо сделать относительно значения *быстро2*, состоит в том, что это наречие представляет характеризующее событие как в какой-то степени ожидаемое. Предложение

(19а) *Мама быстро нашла ключ*

уместно лишь тогда, когда известно, что ключ предстояло найти. В отличие от этого, предложение

(19б) *Вскоре мама нашла ключ*

может описывать также и ситуацию случайной и неожиданной находки.

Теперь мы можем сформулировать толкование:

(20) *X-оват быстро2* ≈ 'до того, как произошло событие X, которое можно было ожидать, прошло мало времени'.

Прототипические случаи употребления *быстро2* – это сочетания с глаголами совершенного вида.

(21) *Дождь быстро кончился.*

(22) *К своему удивлению, он очень быстро оказался на сухом месте.*

(23) *Все быстро поверили в него и стали доверять ему самые сложные задания.*

(24) *Что-то слишком быстро мы все это начали забывать.*

(25) *Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке* (Ф.М. Достоевский. Бесы).

Однако даже тогда, когда *быстро2* сочетается с глаголами несовершенного вида, несовершенный вид выступает в результативных значениях – общефактическом [см. (26)], настоящем историческом [см. (27)] и узуальном [см. (28)].

(26) *Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением* (Б. Пастернак. Доктор Живаго);

(27) Я приезжаю на рынок, быстро вижу, что ничего нужного нет, и уезжаю.

(28) Он всегда быстро приходит, когда его зовут на помощь;

С глаголами несовершенного вида в процессных значениях *быстро2* не сочетается вообще.

Соотношение между *быстро1* и *быстро2* хорошо иллюстрируется следующими парами неопределенного и предельного глаголов:

(29а) *Мальчик быстро1 ест суп* ('с большой скоростью орудует ложкой').

(29б) *Мальчик быстро2 съедает суп* ('за короткий срок суп оказывается съеденным').

(30а) *Иван быстро1 пьет водку.*

(30б) *Иван быстро2 выпивает стакан водки.*

1.3. Соотношение между *быстро1* и *быстро2*.

В своих прототипических употреблениях *быстро1* трактует действие как процесс, а *быстро2* – как событие. Поэтому первое наречие в первую очередь сочетается с НСВ, а второе – с СВ. Однако во многих случаях грань между этими наречиями в разных направлениях размывается.

Прежде всего, между значениями скорости и срока существует естественная внутренняя связь (зафиксированная, в частности, и в народной мудрости, вынесенной в эпиграф к данной статье). Если нечто происходит с большой скоростью, то, вероятно, оно и завершится в короткий срок. И наоборот, если какой-то процесс потребовал для осуществления мало времени, то, скорее всего, он и протекал быстро. В силу этого часто бывает нелегко определить, о каком значении идет речь. Например:

(31а) *Дайте мне бинокль, сказал он быстро* (то ли он быстро произносил, то ли сказал сразу же).

(31б) *Получив это известие, Иван быстро собрался и выбежал из дому* (то ли быстро собрался, то ли собрался без промедления).

Второе осложнение состоит в том, что процессный компонент часто присутствует и в значении глаголов СВ, хотя он и не занимает там вершинной позиции (в [Бондарко 1990: 8] говорится в этой связи о "ситуации достигнутого предела с элементом имплицитной процессности"). Это создает предпосылки для двух разных явлений.

С одной стороны, глагол СВ оказывается способным принимать наречие *быстро1*, которое в этом случае взаимодействует с процессным компонентом, находящимся в подчиненной позиции:

(32) *Он завел мотор и быстро поехал по дороге* = 'ехал с большой скоростью'.

С другой стороны, в наречии *быстро2* можно усмотреть два компонента – сильный компонент срока и слабый компонент скорости, и глагол СВ предоставляет возможность для одновременной реализации обоих компонентов. Первый из них взаимодействует с главным – событийным – компонентом значения глагола СВ, а второй – с процессным. Рассмотрим это явление подробнее.

В предложениях (33)–(36) отчетливо ощутимы обе идеи – краткий срок достижения результата и высокая скорость движения (бега, плавания, качения, подъема), который к этому результату приводит.

(33) *Мальчик быстро отбежал от горящего сарая.*

(34) *Собака быстро переплыла ручей.*

(35) *Мяч быстро докатился до ворот.*

(36) *Пожарные быстро поднялись на чердак.*

Аналогичный эффект можно видеть и в предложениях типа

(37) *Мальчик быстро съел суп* (одновременно и 'быстро ел', и 'потратил мало времени на еду').

(38) *Ребенок быстро лег в постель* (одновременно и движения ребенка были быстрыми, и действие заняло мало времени).

Таким образом, в (33)–(38) налицо двойное семантическое взаимодействие глагола и

наречия. Во-первых, эти слова связаны своими сильными смысловыми компонентами. Наречие *быстро2* обозначает в первую очередь срок и этой своей ипостасью взаимодействует с событийным значением глагола, которое в совершенном виде выступает на первый план. Во-вторых, слабый компонент скорости в составе значения наречия находит отклик в процессном значении движения, занимающем второстепенное место в семантической структуре глагола.

Естественно, что чем слабее процессный компонент в значении глагола, тем труднее вступить с ним в связь и без того слабому значению скорости, содержащемуся в наречии. И наоборот, идея скорости в *быстро2* выступает тем отчетливее, чем более высокий ранг имеет процессное значение в составе значения глагола.

С этой точки зрения поучительно сравнить предложения (33)–(38) и предложение (39) *Я сегодня быстро добрался до работы.*

В значение глагола *добраться* идея передвижения безусловно входит. Тем не менее, в предложении (39), в отличие от (33)–(38), о скорости этого передвижения ничего не сообщается, речь идет только о сроке. Это предложение вполне естественно употребить в ситуации, когда скорость движения транспорта была вполне обычной, но просто не пришлось долго ждать автобуса и не было других задержек, и поэтому путь занял мало времени. Такая естественность объясняется, очевидно, тем, что значение передвижения в глаголе *добраться* представлено гораздо слабее, чем в глаголах, фигурирующих в примерах (33)–(38). На первый план в глаголе *добраться* выступает значение 'начать находиться'.

Другое существенное различие между этими глаголами состоит в характере передвижения. Если глаголы *отбежать*, *докатиться*, *переплыть* и им подобные обозначают весьма специфическое движение, то глагол *добраться* выражает лишь абстрактную и неспецифицированную идею передвижения.

Промежуточное положение между глаголом *добраться* и глаголами в предложениях (33)–(38) занимает, по-видимому, глагол *дойти*. Предложение

(40) *Мальчик быстро дошел до опушки*

уместно и тогда, когда говорящий хочет сообщить, что не только временной отрезок был коротким, но и скорость ходьбы мальчика была большой, и тогда, когда он хочет ограничиться одной констатацией краткости временного отрезка, занятого ходьбой. Это хорошо соотносится с тем фактом, что и с точки зрения специфичности действия глагол *дойти* занимает промежуточное положение между *отбежать*, *докатиться*, *переплыть*, с одной стороны, и *добраться*, с другой.

Пример (39) с глаголом *добраться* показывает, что процессный компонент, содержащийся в значении глагола СВ, может оказаться недоступным для компонента скорости, имеющегося в значении *быстро2*. Число таких примеров легко умножить. Рассмотрим предложения (41)–(43), в которых наречие обозначает срок:

(41) *Следы отыскались на удивление быстро.*

(42) *К счастью, быстро нашлась машина.*

(43) *Сыщик быстро докопался до истины.*

В значениях глаголов *отыскаться*, *найтись*, *докопаться* процессный компонент, безусловно, имеется. Ситуации, описываемые этими глаголами, включают процесс *п о с к а*, предшествующего находке. Однако как это ни удивительно, несмотря на ярко выраженный динамический характер этого процесса, он не допускает характеристики по скорости:

(44) **Мама быстро искала книгу.*

1.4. Соотношение *быстро1* и *быстро2* с *медленно*.

Сделаем несколько замечаний по поводу наречия *медленно*. Прежде всего, следует отметить, что оно соотносится только с *быстро1*, но не с *быстро2*. Лексемы *медленно2*, параллельной *быстро2*, у которой могло бы быть толкование типа

медленно *Х-овать* ≈ 'проходит много времени до того, как происходит действие Х', в русском языке не существует; ср.:

(45а) *Дождь быстро кончился.*

(45б) **Дождь медленно кончился.*

В отличие от *быстро*, *медленно* может характеризовать глаголы СВ лишь ограниченно.

(46а) *Река быстро (медленно) прокладывала себе новое русло.*

(46б) *Река быстро (*медленно) проложила себе новое русло.*

Подобные сочетания возможны, по-видимому, лишь тогда, когда идея малой скорости сопряжена с *наблюдательностью* (хотя бы мысленной) характеризуемого наречием процесса. Поэтому предложение (47а) вполне уместно, а (47б) и тем более (47в) – нет:

(47а) *Посетитель медленно написал свое имя (вывел букву О, поднял руку, прочитал письмо).*

(47б) ??*Он медленно написал письмо.*

(47в) **Он медленно написал роман.*

2. МЕХАНИЗМЫ СОЕДИНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ *БЫСТРО* И *МЕДЛЕННО* СО ЗНАЧЕНИЯМИ ГЛАГОЛОВ

Сочетаемость или несочетаемость наречий скорости с тем или иным глаголом определяется двумя основными факторами: наличием в значении глагола компонента, с которым наречие могло бы взаимодействовать, и позицией этого компонента в толковании глагола.

Как отмечалось выше, скорость может характеризовать любые включающие изменения, т.е. нестационарные, процессы. Типовой процесс, способный иметь скорость, – это движение, изменение положения в пространстве. Можно ожидать, что любой глагол, обозначающий ту или иную разновидность движения, способен присоединять показатель скорости, который характеризует именно это движение: *быстро идет; летит с огромной скоростью; медленно вращается; ползет, как черепаха.*

Очевидно, с другой стороны, что одного наличия в значении глагола смысла 'изменение', или даже 'движение', еще недостаточно для того, чтобы показатель скорости мог на него воздействовать. Например, глаголы *тормозить* и *останавливать*, очевидным образом, непосредственно ссылаются на некоторый динамический процесс Р, скорость которого подвергается изменению (≈ 'делать так, что процесс Р начинает идти медленнее / перестает иметь место'). Тем не менее, охарактеризовать скорость этого процесса с помощью наречия, присоединенного к данному глаголу, невозможно. В предложениях типа

(48) *Машинист медленно тормозит поезд* или

(49) *Препарат быстро останавливает распространение инфекции*

наречие никак не может описывать скорость, с которой движется поезд или распространяется инфекция. Оно в состоянии воздействовать лишь на то значение, которое стоит в вершине толкования глагола – 'делать так, что...'. Сам процесс Р, занимающий подчиненную позицию в толковании, для воздействия наречия недоступен.

Впрочем, при определенных условиях даже невершинный компонент толкования может подвергаться воздействию наречия. Например, глагол *пойти* (в своем основном значении) в вершине толкования имеет сему начала. Однако она легко пропускает сквозь себя значение скорости и позволяет ему воздействовать на сему движения:

(50) *Охотник быстро пошел к лесу* 'охотник начал быстро идти к лесу'.

Почувствительно, что в другом значении этого же глагола ('приобрел способность

ходить', как в *Ребенок пошел уже в восемь месяцев*) сема движения для показателя скорости недоступна. Так, предложение

(51) *Ребенок быстро пошел*

нельзя употребить в значении 'ребенок приобрел способность быстро ходить' (хотя можно в значении 'быстро приобрел способность ходить', где наречие воздействует на вершинный предикат толкования).

Таким образом, сема начинательности прозрачна (или может быть прозрачна) к значению скорости, а сема способности – нет (или в значительной степени нет).

Явление прозрачности границ слова по отношению к семантическому воздействию наречия, или, говоря другими словами, явление внутренней сферы действия наречия обнаруживает себя в естественном языке весьма разнообразно, но изучено пока крайне недостаточно.

Ниже мы рассмотрим основные типы внутренней сферы действия наречия *быстро* (в обоих значениях).

Разберем три ситуации, когда процессный компонент значения глагола (в частном случае, сема движения) не занимает вершинного положения в толковании глагола и тем самым воздействие на него показателя скорости может оказаться затрудненным.

Во-первых, процессный компонент может оказаться все же легко доступным для значения скорости в силу прозрачности смыслового компонента, «прикрывающего» его от внешнего воздействия (об этом см. разд. 2.1 ниже).

Во-вторых, процессный компонент может быть для значения скорости полностью недоступен (ситуация непрозрачности) (см. разд. 2.2).

В-третьих, процессный компонент, недоступный для значения скорости в нейтральных условиях, может оказаться доступным для него под воздействием форсирующего контекста (ситуация полупрозрачности) (см. разд. 2.3).

2.1. Прозрачность.

В первую очередь свойством прозрачности для значения скорости, как, впрочем, и для других значений, присущих наречиям образа действия, обладают значения **начинательности** и **терминативности**, свойственные глаголам соответствующих способов действия. Приведем несколько примеров.

(52) *В полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то* (И. Бунин. Суходол) – 'начал быстро и тревожно стучать'.

(53) *Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом* (А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне) – 'начал говорить быстро и отчетливо'.

(54) *Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых башмаках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету* (Л. Толстой. Анна Каренина).

(55) *Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами* (И.С. Тургенев. Накауне).

(56) – *Никогда, причем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех, – быстро и с твердостью проговорила Дарья Павловна* (Ф. Достоевский. Бесы) – 'быстро говорила'.

(57) – *Недавно так же настойчиво... передано было мне из тех же уст другое требование, – медленно и с грустною отчетливостью проговорил Степан Трофимович* (Ф. Достоевский. Бесы) – 'медленно говорил'.

Глаголы, относящиеся к другим способам действия (не начинательному и не терми-

нативному), не допускают характеристики действия по скорости. Это происходит даже тогда, когда производящий глагол обозначает движение. Так, предложения (58)–(59) можно интерпретировать только в значении срока, то есть как содержащие наречие *быстро*₂.

(58) *Летчик быстро налетал два миллиона километров* [кумулятивный способ действия].

(59) *Ты ведь сегодня еще не бегал? Быстро побегай и садись за уроки* [делimitedативный способ действия].

Предложение (58) означает, что летчик налетал два миллиона километров за короткое время, а не то, что он летал с большой скоростью. В (59) сообщается, что на то, чтобы побегать, имеется мало времени, а не то, что бегать следует быстро.

Глаголы начинательного и delimitedативного способа действия типа *побежать* и *побегать* образуют наглядную минимальную пару: *быстро*₁ *побежал* ('скорость') vs. *быстро*₂ *побегал* ('срок').

Из других типов значений, прозрачных для показателей скорости, следует отметить значение *каузации*, которое, хотя и в более ограниченной степени, также бесспорно обладает этим свойством. Среди каузативных глаголов мы в первую очередь сосредоточимся на глаголах движения, поскольку именно они в максимальной степени предрасположены к характеристике по скорости.

Прозрачность глагола для скорости хорошо видна в предложениях (60)–(65):

(60) *Он быстро повел отряд по лесистой долине.*

(61) *Поезд быстро уносил меня вдаль.*

(62) *Сплошные тучи молочного света покрывали все небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая* (И.С. Тургенев. Рудин).

(63) *Для того, чтобы получить стеклообразные металлы и сплавы, приходится охлаждать расплавы чрезвычайно быстро – со скоростью до миллионов градусов в секунду.*

(64) *Раскрути волчок побыстрее* ('сделай так, чтобы волчок вращался побыстрее').

(65) *Наркотики быстро убивали актрису* [т.е. из-за наркотиков актриса быстро угасала].

2.2. Непрозрачность.

Явление непрозрачности для скорости тоже можно продемонстрировать на примере каузации; ср. начинательность в (66а) и каузацию в (66б):

(66а) *Он быстро направился к лесу* (в значении 'начал быстро двигаться к лесу').

(66б) * *Он быстро направил (послал) сына к лесу* (невозможно в значении 'каузировал сына быстро двигаться к лесу').

Глагол *стрелять* обнаруживает сему движения на первом же шаге семантического разложения. Однако в силу того, что эта сема прикрыта семой каузации, присоединение показателя скорости невозможно:

(67) * *Он быстро выстрелил из пистолета в мишень* (невозможно в значении 'каузировал пулю быстро лететь в мишень').

(68) * *Этот пистолет (лук) стреляет очень быстро* (невозможно в значении 'с помощью этого пистолета (лука) можно каузировать пулю (стрелу) лететь очень быстро')³.

Как мы видели, значение каузации лежит на границе между прозрачностью и непрозрачностью: сочетания одних каузативных глаголов с показателем скорости воз-

³ Интересно, что сочетание *быстро стреляет* допускает другую интерпретацию: 'производит выстрелы с большой частотой' (ср. *Вдали слышалась быстрая беспорядочная стрельба*), см. об этом типе употреблений выше, в разд. 1.1.

можно, а других запрещены. Неудивительно поэтому, что некоторые глаголы находятся посередине между этими полюсами и дают сочетания промежуточного качества (так сказать, под одним или двумя знаками вопроса); ср. правильные предложения (69) и сомнительные (70):

(69а) *Конвой быстро вел колонну пленных к лагерю.*

(69б) *Мальчик быстро крутил колесо.*

(70а) ? *Отец быстро катал ребенка.*

(70б) ? *Прапорщик быстро гонял провинившегося солдата по плацу.*

Переходя к другим типам непрозрачных значений, следует вспомнить, что в соответствии с общим правилом, компонентом значения, систематически закрытым для внешнего воздействия, является пресуппозиция разных видов. Это правило справедливо и для рассматриваемых наречий, которые также не могут воздействовать на пресуппозицию. Интересным классом слов, который стоит упомянуть в этой связи, являются интерпретационные глаголы (подробнее о таких глаголах см. [Апресян 1997]). В их значения реальное положение вещей описывает пресуппозиция, а ассерцию образует оценка (интерпретация) этого положения вещей со стороны говорящего. Поскольку интерпретационный компонент значения не является процессным, а процессный заключен в пресуппозицию, то эти глаголы ни в каком отношении не ведут себя как процессные. В частности, они не могут иметь актуально-длительного значения и не сочетаются с показателями скорости. Ср. правильное сочетание (71а) с событийным глаголом и аномальное (71б) с интерпретационным:

(71а) *Он быстро оценил угрозу* ['он быстро сформировал оценку угрозы'].

(71б) * *Он быстро недооценил (переоценил) угрозу* [пресуппозиция: 'он сформировал оценку угрозы'; ассерция: 'говорящий считает, что эта оценка занижена (завышена)'].

По этой же причине неправильно предложение (72) с интерпретационным глаголом *относиться*:

(72) * *Он быстро отнесся ко мне плохо (хорошо)* ['он (* быстро) сделал нечто, что я интерпретирую как плохое (хорошее) ко мне отношение'].

2.3. Полупрозрачность.

Сравним сочетаемость с наречиями скорости глаголов типа *смотреть* и *слушать*, с одной стороны, и *рассматривать*, с другой стороны:

(73) * *Он медленно (быстро) смотрел на картину.*

(74) * *Иван медленно слушал доклад референта.*

(75) *Он медленно рассматривал рисунок.*

Предложения (73) и (74) аномальны, потому что глаголы целенаправленного восприятия типа *смотреть*, не говоря уже о глаголах чистого восприятия типа *видеть*, не обозначают процесс, предполагающий изменение. Поэтому восприятие не может идти быстро или медленно. Глагол *рассматривать* предполагает прежде всего, что субъект последовательно перемещает фокус внимания от одной части воспринимаемого объекта к другой, а такое действие, естественно, имеет определенную скорость. (Заметим, что этот глагол лучше сочетается с показателями малой скорости, чем большой, поскольку в его значение – в отличие, например, от *просматривать* – входит указание на неторопливость этого процесса.)

Обратимся теперь к глаголу *читать*. Как показывает следующие примеры, он, вообще говоря, плохо сочетается с наречиями скорости:

(76) ? *Отец сидел в кресле и медленно читал.*

(77) ? *Рядом сидела сестра и быстро читала какую-то толстую книгу.*

Легко убедиться в том, что глагол *читать* занимает промежуточное положение между глаголами типа *смотреть* и глаголами типа *рассматривать*. Так же, как и

смотреть, глагол *читать* обозначает разновидность целенаправленного восприятия, что препятствует сочетаемости глагола с показателями скорости. С другой стороны, *читать* сходствует с *рассматривать* в том, что содержит указание на движение глаз по воспринимаемому объекту. Правда, в отличие от *рассматривать*, ссылка на движение занимает в значении *читать* периферийное место. Поэтому предложения (76–77) хуже, чем (75), но лучше, чем (73–74).

Другое проявление относительной доступности семы движения в значении *читать* для показателей скорости состоит в том, что в благоприятных контекстных условиях эта сема может выдвинуться на первый план и сочетание с наречием скорости станет вполне приемлемым:

(78) *Чтобы успешно заниматься наукой, важно научиться быстро читать.*

(79) *Для пятиклассника ты читаешь слишком медленно.*

(80) *Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. (И. Бунин. Деревня).*

В последнем примере допустимость сочетания поддерживается тем, что речь идет о чтении вслух, а такой физический процесс, как произнесение, легко варьируется по скорости. Добавим, что и предложения (76–77) становятся полностью приемлемыми, если применяются к ситуации чтения вслух.

3. СУЖЕНИЕ ЭКСТЕНСИОНАЛА

Выше мы имели дело со случаями, когда возможность или невозможность сочетания глагола с показателем скорости определялось семантической структурой глагола – наличием в его толковании того или иного семантического компонента и статусом этого компонента в толковании. В частности, речь шла о том, что если нужный компонент занимает в толковании глагола периферийную позицию, наречие (при некоторых глаголах) может все равно воздействовать на этот компонент.

Здесь мы обсудим случаи другого типа. Одно и то же сочетание наречия с глаголом может быть допустимым в применении к одним ситуациям и недопустимым в применении к другим. Ясно, что объяснить правильность или неправильность сочетания ссылкой на семантическую структуру глагола невозможно: она в обоих случаях одна и та же. Здесь, наряду со значением глагола, в игру вступает его экстенсивал. Мы разберем это явление на примере трех глаголов – *работать*, *проверять* и *искать*.

Глагол *работать* может относиться к весьма широкому кругу типов деятельности. Так, мы можем сказать о человеке, что он работает, не только тогда, когда он (а) строит дом, ремонтирует примус, пишет статью или делает хирургическую операцию, но и тогда, когда он (б) учит кого-либо живописи, лечит пациентов от простуды или охраняет склад.

Если мы скажем, что некто *работает быстро (медленно)*, то круг занятий, которые могут здесь иметься в виду, станет заметно уже. Такое выражение может обозначать занятие типа (а), но не типа (б). Выходит, что вклад наречий *быстро/медленно* в значение сочетания *работает быстро (медленно)* состоит не только в добавлении информации о скорости, но и в изменении (точнее, в сокращении) самого множества занятий, которые могут обозначаться глаголом *работать*. Таким образом, при соединении значений глагола и наречия наблюдается некоторое смысловое приращение, которое нельзя приписать ни значению глагола, ни значению наречия по отдельности.

Если значения слов соединяются нестандартным образом, то есть, если значение результирующего выражения не выводимо по общим правилам из значения соединяющихся слов, то принято говорить об идиоматичности такого сочетания. Между тем, сочетания типа *работает быстро (медленно)* кажутся совершенно сво-

бодными и интуитивно никак не воспринимаются как фразеологизованные. В действительности мы имеем здесь дело не с нестандартным сложением смыслов, а со стандартной операцией над экстенционалами и слов. Поясним, что имеется в виду.

Глагол *работать*, действительно, можно использовать по отношению к действиям типа (а), типа (б) и ко многим другим, но это не значит, что в значение 'работать' входят значения 'строить', 'чинить', 'лечить', 'охранять' и другие. Естественно, значение глагола *работать* гораздо более абстрактно и не может содержать перечисления конкретных видов деятельности. В статье И.Б. Левонтиной [Левонтина 1997: 308] предложено толкование синонимического ряда *работа, труд*, которое с хорошим приближением описывает и значение глагола *работать*: 'целенаправленная деятельность, требующая усилий и имеющая целью поддержание или улучшение условий жизни человека'. Таким образом, в вершине толкования глагола *работать* находится предикат с весьма широким значением типа 'делать нечто'. Соответствующие конкретные действия образуют экстенционал *работать*, то есть множество объектов, которые могут быть обозначены данным словом.

Общее правило оперирования экстенционалами в случае рестриктивно-атрибутивных сочетаний слов, как известно, в том, что экстенционал результирующего сочетания образуется пересечением экстенционалов атрибута и определяемого слова. Так, множество объектов, обозначаемое сочетанием *длинная веревка*, есть пересечение множества длинных предметов и множества веревок. Аналогично, экстенционал сочетания *быстро бежать* представляет собой пересечение множества ситуаций вида 'быстро (что-то делать)' и множества ситуаций 'бежать'.

Рассмотрим первое из этих множеств – множество ситуаций 'быстро (что-то делать)'. В это множество входят, в частности, ситуация 'быстро строить' и 'быстро писать статью', но не входит ситуация 'быстро охранять склад': такой ситуации в нашем мире не бывает. Таким образом, в экстенционале словосочетания *быстро работать* не окажется ситуаций типа 'охранять': их нет в экстенционале наречия *быстро* и они тем самым не попадают в пересечение этого экстенционала с экстенционалом *работать*.

Разумеется, операции над экстенционалами глаголов и наречий не так просты, как над экстенционалами предметных существительных и их атрибутов. Если с этой точки зрения посмотреть на выражение типа *длинная веревка*, то мы легко убедимся, что для каждого элемента экстенционала *веревка* вопрос о его длине вполне осмыслен. С сочетанием же *быстро работать* дело обстоит иначе: у экстенционала *работать* имеется подмножество, для которого соответствующее утверждение не истинно и не ложно: оно не имеет смысла. Именно это происходит при интерпретации такого вида работы, как охрана: на вопрос о том, быстро или медленно эта деятельность осуществляется, нельзя дать никакого разумного ответа.

Примерно так же обстоит дело с глаголами *искать* и *проверять*. В первом приближении их значение можно представить следующим образом. Если мы ищем какой-нибудь предмет, то, желая узнать, где он находится, и, выдвигая на этот счет определенные предположения, проверяем, справедливы ли эти предположения. Таким образом, поиск сводится к проверке выдвигаемых предположений. Если же мы проверяем, имеет ли место некоторое положение дел, то это значит, что мы, предполагая, что оно имеет место, но не зная этого точно, производим какие-то действия, чтобы это узнать. Таким образом, в вершине толкования глагола *проверять*, а следовательно и *искать*, находится весьма общее значение 'производить какие-то действия, делать нечто' (так же, как и в случае *работать*).

Взятое само по себе, это значение легко присоединяет показатель скорости: *Он делает это очень быстро* – предложение безупречное. Отсюда, однако, не следует, что и глаголы *проверять* и *искать* в рассматриваемых значениях хорошо сочетаются с

быстро. Допустимость этих сочетаний зависит от того, какие именно действия производятся в конкретной ситуации. Выше мы уже отмечали аномальность примера (44) * *Мама быстро искала книгу*.

Если мы хотим, например, проверить, вернулась ли дочь из школы, и для этого звоним домой по телефону, то сказать

(81) **Я быстро проверяю, вернулась ли дочь из школы*

в такой ситуации нельзя⁴. Тем не менее, предложения

(82) *Он быстро искал глазами нужную книгу*

(83) *Перед уходом я быстро проверяю, везде ли выключен свет*

вполне допустимы. Это объясняется очень просто: в предложениях (82)–(83) благодаря контексту очевидно, что конкретное действие, совершаемое субъектом, в отличие от (44) и (81), сугубо динамично, и его характеристика по скорости вполне возможна. В (82) субъект быстро бегаёт глазами по книжным полкам, а в (83) – быстро ходит по всем комнатам.

Таким образом, как и в случае с *работать*, разобранным выше, возможность или невозможность сочетания глагола с наречием *быстро* определяется тем, какой элемент экстенционала глагола реализован в конкретной ситуации.

4. ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Способность или неспособность слова принимать показатель скорости определяется не только значением этого слова, но и тем, как в языке концептуализирован обозначаемый им процесс. С объективной точки зрения все процессы протекают с определенной скоростью, но их языковая концептуализация может противиться их характеристике по скорости. Весьма наглядный пример здесь – это *ветер*. Как известно, ветер – это перемещение воздушных масс в атмосфере, и, как любое движение, оно имеет ту или иную скорость. Казалось бы, язык не может не признавать этого очевидного факта. И действительно, при научном описании атмосферных явлений выражения типа *Скорость ветра составляет 15 метров в секунду* вполне законны. В то же время нельзя сказать **быстрый (медленный) ветер*, **Ветер дул очень быстро (медленно)*. Обыденный, не научный язык осмысляет ту же самую характеристику ветра не как скорость, а как с и л у: *сильный (слабый) ветер*; *С моря сильно подул свежий предутренний ветер*. Таким образом, в обыденном языке ветер может осмысляться не как п е р е м е щ е н и е воздуха с одного места на другое, а как с о с т о я н и е атмосферы в данном месте (так же, как сильный или слабый мороз). Такое осмысление поддерживается и некоторыми другими типами употребления слова *ветер*; ср., например, *Не стой на ветру* (= там, где дует сильный ветер); *На дворе поднялся ветер*; *В сильный ветер, мороз нестерпимый, Кто по Невскому быстро бежит* (Н. Некрасов). Это, впрочем, не мешает языку в случае необходимости отбросить эту интерпретацию и воспользоваться концептом движения: *Ветер пронесся над городом и умчался в пустыню. Ветер быстро нес по аллее опавшие листья*.

В еще большей степени сказанное относится к таким атмосферным явлениям, как дождь или снег. С научной точки зрения они также представляют собой перемещение в атмосфере (падение) водяных капель или частиц льда, но и в этом случае следует говорить не о скорости, а о силе: *сильный дождь, слабый снег*; *Сильно повалил крупный влажный снег*. Правда, сила дождя и снега определяется не только скоростью перемещения частиц, но и их величиной (*крупный/мелкий*) и расстоянием между соседними частицами; ср. *густой снег* (но не *дождь*); *редкий дождик* (но не *снег*). В

⁴ Наречия *торопливо* и *поспешно* сочетаются с этими глаголами гораздо лучше, поскольку характеризуют не скорость, с которой производится действие, а состояние субъекта.

отличие от ветра, снег и дождь не могут характеризоваться скоростью даже в метеорологической сводке: *Во второй половине дня скорость снега (дождя) увеличится.

Некорректность выражений типа *быстро шел дождь связана, по-видимому, еще с одним фактором, также относящимся к способам языковой концептуализации явлений действительности. Во многих случаях скорость процесса как бы фиксируется в самой его природе, не зависит от воли его участников, и поэтому нельзя ожидать ее изменения. В таких случаях употребление наречий типа *быстро/медленно* затруднено, поскольку бессмысленно утверждать, что скорость процесса больше или меньше нормы. Например, варка картошки – динамический процесс, в ходе которого картошка постепенно меняет свое состояние. Тем не менее, сказать

(84) ? *На плите быстро варилась картошка*

некорректно, поскольку такое утверждение предполагало бы, что этот процесс в принципе мог бы идти быстрее или медленнее, в то время как языковое сознание мыслит его скорость как фиксированную. По этой же причине некорректны и предложения

(85) ? *У солдата быстро кровоточила рана (из раны быстро текла кровь).*

(86) ? *Камень быстро падал.*

(87) ? *В камине быстро тлеют угли.*

(88) ? *Костер быстро горит.*

(89) ? *В камине быстро горели сухие березовые дрова.*

Последнее предложение стоит сопоставить с правильным

(90) *Сухие березовые дрова горят быстро,*

где на самом деле *горят* означает *сгорают* (т.е. наблюдается известный эффект видовых троек типа *гореть – сгорать – сгореть*; ср., например [Апресян 1995; 1997] и имеет место не *быстро1*, а *быстро2*).

Точно такое же соотношение наблюдается и в предложениях (84), с одной стороны, и (91а–б), с другой:

(91а) *В скороварке картошка варится очень быстро.*

(91б) *В горах картошка варится медленно (медленнее, чем на равнине).*

В (91а–б) глагол *вариться* имеет значение *свариваться* ≈ 'в результате варки доходить до готовности'. Добавим, что предложения (90)–(91) описывают не процессы, а свойства и заслуживают специального изучения, к которому авторы надеются обратиться позже.

Важно подчеркнуть, что обсуждаемый запрет легко преодолевается контекстом, если в нем речь идет об отклонении от нормы:

(92) *Что-то сегодня картошка варится очень медленно. Уже битый час жду, а она все не готова.*

(93) *Татарская кровь как-то быстрее течет по жилам* (Р. Нурiev, цитируется, по "Комсомольской правде" от 14.03.97).

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЫСТРО1 И БЫСТРО2 С МОДИФИКАТОРАМИ

До сих пор мы говорили об активных свойствах изучаемых наречий, то есть о том, на какой компонент значения слова, попавшего в их сферу действия, они воздействуют. Теперь мы остановимся на их пассивных свойствах, то есть, на том, как они ведут себя, оказавшись в сфере действия других слов.

Как видно из толкований, приведенных выше, оба наречия утверждают, что некоторая величина (временной промежуток между последовательными фазами некоторой ситуации в случае *быстро1*, или срок, в течение которого некоторая ситуация достигает результата, в случае *быстро2*) мала, меньше нормы. Значение 'меньше нормы' является ассерцией в обоих толкованиях и в качестве таковой закономерным образом принимает выражение внешних воздействий. Так, именно с ним взаимо-

действуют интенсификаторы: *очень быстро, чрезвычайно быстро, как быстро!* = 'величина промежутка времени... очень мала'; *так быстро, что* = 'величина промежутка времени так мала, что...'; ср.

(94) *Юра хорошо знал, как быстро выдвигаются счастливицы, которые после института попадают в высшие учреждения, и какую лямку тянут те, кого посылают на производство* (А. Рыбаков. Дети Арбата).

Закономерно и то, что интенсификаторы не могут воздействовать на слабый смысл, каковым в случае *быстро2* является значение скорости (см. разд. 1.2). Так, в предложениях типа *Ты очень быстро прилетел!*, *Как быстро ты прилетел!* усилительное наречие воздействует лишь на компонент **малого срока** и не передает идея **высокой скорости** полета.

Интересно, что ассертивное значение 'меньше нормы' в составе обоих толкований может взаимодействовать и с вопросительным словом – способность, присущая весьма немногочисленному классу русских параметрических слов (наречий и прилагательных)⁵. Так предложения

(95) *Как быстро летит крылатая ракета?* и

(96) *Как быстро всадники доберутся до лагеря?*

означают, соответственно, 'какова скорость полета ракеты' и 'какой срок понадобится всадникам, чтобы добраться до лагеря'. Тем самым такое употребление *как* заменяет всю ассерцию вопросительным элементом.

Так же, как и в случае интенсификаторов, вопросительное *как* не может относиться к слабому компоненту скорости в составе *быстро 2*. Поэтому разумным ответом на вопрос

(97) *Как быстро собака переплыла ручей?*

(ср. выше пример (34)) является высказывание типа

(98а) *Она переплыла его за пять минут,*

но не

(98б) *Она переплыла его со скоростью 50 метров в минуту.*

6. ДВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА

Интересный тип взаимодействия со значением глагола обнаруживает *быстро2*. Он связан с тем, как именно мыслится временной интервал, характеризуемый этим наречием. Любой временной интервал задается начальной и конечной точкой. Начнем наше рассмотрение с конечной точки.

Как мы уже отмечали, *быстро2* сочетается только с результативными глаголами. В значении таких глаголов необходимо входит представление о временной точке – либо той, в которой действие, описываемое данным глаголом, завершается (например, *пришел*), либо той, в которой оно начинается (например, *запел*). В обоих случаях эта точка и служит концом того временного интервала, который вводится в рассмотрение словом *быстро2* (ср. *быстро пришел / запел*).

Что же касается положения начальной точки этого интервала, то оно однозначно не задано. Здесь имеется две возможности.

Прежде всего, речь может идти о моменте, когда началось само действие X, а точнее, процесс, приведший к результирующему состоянию X.

⁵ Другие представители этого класса – наречия *долго* и *давно*, а также прилагательное *велик*: *Как долго вы добирались? Как давно вы встречались с братом? Сколь (насколько) велика вероятность ошибки?* и т.д. В отличие от других языков, в этот класс не входят такие параметрические слова, как *старый, поздний, дорогой, высокий, длинный* – ср. известные английские и немецкие конструкции типа *How old are you?* 'сколько тебе лет?', букв. 'как стар ты?', *Wie spät ist es jetzt?* 'сколько сейчас времени?', букв. 'как поздно сейчас?'

В этом случае *быстро*² сообщает, что этот процесс длился недолго. Например, глагол *доехать* описывает ситуацию, в которой результирующее состояние ('доехал', 'начал быть в некотором месте') возникло в результате процесса езды.

Поэтому предложение

(99) *Я сегодня быстро доехал до работы*

характеризует краткую продолжительность отрезка времени, в течение которого субъект ехал на работу (а, кроме того, возможно, и высокую скорость этой езды). В подобных случаях мы будем говорить, что *быстро*² имеет интерпретацию внутреннего интервала, поскольку характеризуемый временной интервал непосредственно входит в состав ситуации, обозначаемой глаголом X.

Эта интерпретация противопоставлена интерпретации внешнего интервала, при которой характеризуемый отрезок начинается раньше, чем ситуация X. Так, предложение

(100) *Дождь быстро кончился*

естественно понимать так, что дождь закончился вскоре после некоторого (контекстно или ситуационно) заданного момента (например, вскоре после того, как этот дождь начался). Существенно, что эта точка принципиально отлична от начала ситуации X. Иначе говоря, в предложении (100) сообщается о том, сколько времени дождь продолжался (после некоторого момента), а не о том, сколько времени он кончался. Аналогичным образом, в предложении

(101) *Луй уже привык быстро расставаться с людьми, потому что постоянно встречал других – и лучших* (А. Платонов. Чевенгур)

сообщается не о том, сколько времени длится само расставание (т.е. действие X, выраженное глаголом *расставаться*), а сколько времени проходит от некоторого момента, внешнего по отношению к расставанию (например, от начала знакомства) до момента, когда расставание уже произошло. Характеристика временного интервала в этом предложении резко отличается от каких-либо предложений, где речь идет о продолжительности именно самого процесса расставания; ср.:

(102) *Не недели, не месяцы – годы Расставались...* (А. Ахматова).

Очевидно, что интерпретация с помощью внутреннего интервала [как в (99)] возможна не при любом глаголе. Допускающий такую интерпретацию глагол должен обозначать ситуацию, в которой процесс предшествует результату. Именно этот процесс и характеризуется наречием *быстро*² как уместившийся на коротком временном интервале. Если же глагол начинательный, то такая интерпретация интервала невозможна. И это вполне закономерно: точка, фиксируемая в значении начинательного глагола, предшествует процессу и поэтому не может служить конечной точкой временного отрезка, заполненного этим процессом. Интерпретация с внешним интервалом подобными ограничениями не связана.

Различие между указанными двумя типами интерпретаций проявляется также и в том, что с ними связаны различные синонимы и антонимы *быстро*². При первой из этих интерпретаций *быстро*² по смыслу сближается с наречием *недолго*, а при второй – со словами *вскоре*, *немедленно*, *сразу*, *не мешкая*.

Сопоставляя *быстро*² и *недолго*, мы обнаруживаем не только общность значения (= 'краткость временного интервала'), но и существенные различия. Сравним пару близких по смыслу предложений:

(103а) *Альпинисты спустились с вершины очень быстро.*

(103б) *Альпинисты спускались с вершины очень недолго.*

Прежде всего, как мы уже знаем, *быстро*² может вносить значение скорости, чуждое слову *недолго*.

Кроме того, легко видеть, что *недолго* (как, естественно, и *долго*) может присоединяться только к такому глаголу, который непосредственно обозна-

чает процесс и, следовательно, должен стоять в несовершенном виде: предложение

(103в) * *Альпинисты спустились с вершины очень недолго*

неправильно. Слово *быстро2*, напротив, требует перфективности: предложение

(103г) *Альпинисты спускались с вершины очень быстро*

с глаголом в несовершенном виде характеризует лишь скорость спуска и содержит *быстро1*. *Быстро2* присоединяется к глаголу, обозначающему в первую очередь результат. *Спустились* – прежде всего значит, что теперь находятся внизу, и лишь во вторую очередь – что это произошло в результате спуска. Между тем, именно этот процесс спуска, занимающий в значении глагола второстепенное место, и характеризуется наречием *быстро2*. Если же сравнить *быстро2* (в интерпретации внешнего интервала) с *вскоре*, то можно обнаружить коммуникативное различие: *вскоре* тяготеет к позиции темы, а *быстро2* ее вообще не допускает. Ср.:

(104а) *Дождь быстро кончился, и мы продолжили путь.*

(104б) *Дождь вскоре кончился, и мы продолжили путь.*

(105а) ?? *Дождь кончился вскоре.*

(105б) *Дождь кончился быстро.*

(106а) *Вскоре дождь кончился.*

(106б) * *Быстро дождь кончился.*

Вскоре, в отличие от *быстро2*, практически не допускает никаких модификаторов, а, кроме того, сопротивляется и соподчиненным обстоятельствам при глаголе. В случае, когда *вскоре* относится к теме предложения, оно заполняет ее целиком:

(107а) *Дождь кончился довольно быстро.*

(107б) * *Довольно вскоре дождь кончился.*

(108а) *Дождь кончился неожиданно быстро.*

(108б) * *Неожиданно вскоре дождь кончился.*

(109) * *В таких случаях вскоре начальник успокаивался⁶.*

Любопытно сравнить и выражения, антонимичные *быстро2*, в интерпретациях с внутренним и внешним интервалом.

В первом случае естественным антонимом *быстро2* является наречие *долго* (с теми же оговорками, которые делались выше относительно соотношения между *быстро2* и *недолго*). Ср., например, предложение (103а) и предложение *Альпинисты спускались с вершины очень долго*.

Во втором случае роль антонима для *быстро2* парадоксальным образом выполняет сочетание *долго* с отрицанием при глаголе; ср., например, *быстро приехал* и *долго не ехал (не приезжал)*, а также *Дождь быстро кончился* и *Дождь долго не кончался*.

Как мы видим, различие между двумя типами интерпретации предложений с *быстро2* ('действие длилось недолго' vs. 'действие произошло вскоре') достаточно значительно. Тем не менее мы убеждены, что этого различия недостаточно для выделения у *быстро* еще одного лексического значения.

Действительно, если какое-либо предложение может интерпретироваться двояко вследствие лексической неоднозначности, то неоднозначность эта касается только слушающего: если отвлечься от случаев языковой игры, говорящий всегда употребляет какое-то одно из значений полисемичного слова, соответствующее его смысловому заданию. В нашем случае дело обстоит не так. Предложение типа *Петр быстро приехал* говорящий вполне может употребить и не отдавая себе отчета в том, от какой именно временной точки он отсчитывает характеризуемый наречием краткий отрезок – непосредственно от начала движения Петра или от какого-либо более ран-

⁶ Предложения (108) и (109) аномальны в ситуации, когда слова *неожиданно* и *в таких случаях* семантически и интонационно относятся к следующему за ними наречию *вскоре*.

него момента (например, от момента получения Петром известия о необходимости приезда). Тем самым это предложение являет собой яркий пример с и т у а т и в н о й н е о п р е д е л е н н о с т и, а не лексической неоднозначности.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предпринятое в настоящей статье исследование семантики элементарного словосочетания по существу занимает промежуточное положение между лексической семантикой, объектом которой являются отдельные лексические единицы, и тем, что принято называть синтаксической семантикой, которая изучает смысловую организацию целых высказываний.

Как представляется авторам, приведенные выше факты и рассуждения свидетельствуют о том, что изучение взаимодействия значений слов даже, казалось бы, в предельно простых словосочетаниях, каковыми являются сочетания глаголов с наречиями, позволяет, с одной стороны, обнаружить ряд интересных семантических закономерностей, которым подчиняются языковые выражения и которые до сих пор оставались вне поля зрения лингвистов, а с другой – продвинуться в изучении семантики конкретных слов⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Трактовка избыточных аспектуальных парадигм в толковом словаре // Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян Ю.Д. 1997 – Лингвистическая терминология словаря // Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В., Гловинская М.Я., Крылова Т.В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1997.
- Богуславский И.М. 1996 – Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Бондарко А.В. 1990 – О значениях видов русского глагола // ВЯ. 1990. № 4.
- Левонтина И.Б. 1997 – Синонимический ряд *работать* // Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В., Гловинская М.Я., Крылова Т.В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1997.

⁷ Авторы выражают благодарность Ю.Д. Апресяну, прочитавшему окончательный текст статьи и сделавшему ряд важных замечаний. Мы признательны также участникам научных семинаров Института проблем передачи информации РАН и Российского государственного гуманитарного университета, критика которых позволила устранить в тексте некоторые неточности и ошибки.

© 1999 г. А.А. ЗАЛЕВСКАЯ

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

В классической работе акад. Л.В. Щербы [Щерба 1974] содержится ряд положений, очень важных для понимания различий в подходах к анализу языка с позиций разных наук. Как следует из названия этой работы, Л.В. Щерба полагал, что он выделил три аспекта языковых явлений, под первым из которых им понимались процессы говорения и понимания, или **речевая деятельность**, под вторым – выводимые на основании всех актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни некоторой общественной группы, словари и грамматики языков, или **языковые системы**, а под третьим – совокупность всего говоримого и понимаемого такой общественной группой, или **языковой материал**. При этом было подчеркнуто, что речевая деятельность обуславливается сложным речевым механизмом человека, или психофизиологической **речевой организацией** индивида, которая: а) никак не может просто равняться сумме речевого опыта и должна быть какой-то своеобразной его переработкой; б) может быть только психофизиологической; в) вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом; г) служит индивидуальным проявлением выводимой из языкового материала языковой системы; судить о характере этой организации можно только на основании речевой деятельности индивида. Такое вынесение речевой организации за рамки обсуждаемой триады в качестве *фактора, обуславливающего и речевую деятельность, и ее проявления в языковом материале и в языковой системе*, позволяет заключить, что фактически Л.В. Щерба выделял не три, а **четыре** аспекта языковых явлений [Залевская 1977: 4].

Л.В. Щерба четко разграничил понятия **механизма** (= речевая организация человека) и **процесса** (= речевая деятельность), **процесса** и его **продукта** (ср., например, первый и третий аспекты языковых явлений). Схема на рис. 1 наглядно представляет соотношение между названными выше четырьмя аспектами языковых явлений с последовательным разграничением понятий механизма и процесса, процесса и продукта. Использование в этой схеме предложенного Л.В. Щербой термина "речевая организация" акцентирует внимание на готовности индивида к речи, на упорядоченности продуктов переработки речевого опыта в целях оптимального применения их в речемыслительной деятельности. При этом речевая организация рассматривается как *единство процесса и продукта*; в качестве последнего выступает индивидуальная система концептов и стратегий пользования ими в процессах говорения и понимания речи, обозначенная как ЯЗЫК₁.

В работе [Залевская 1977: 6–9] внимание акцентируется на следующих важных моментах: 1) речевая организация человека понимается не как пассивное хранилище сведений о языке, а как **динамическая функциональная система**; 2) подчеркивается **постоянное взаимодействие между процессом переработки и упорядочения речевого опыта и его продуктом** (т.е. новое в речевом опыте, не вписывающееся в рамки системы, ведет к ее перестройке, а каждое очередное состояние системы служит основанием для сравнения при последующей переработке речевого опыта); 3) эти

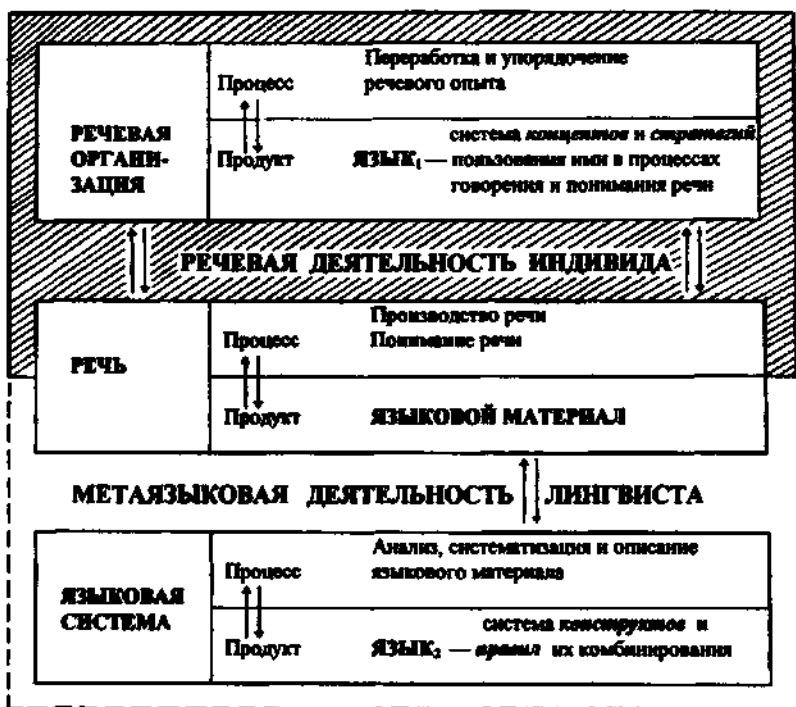


Рис. 1

положения создают базу для трактовки речевой организации человека как самоорганизующейся системы.

Рис. 1 показывает, что становление и постоянное упорядочивание речевой организации человека как самоорганизующейся системы особого рода происходит в процессе речевой (точнее — речемыслительной) деятельности. Следует также добавить, что речевая деятельность обычно включена в другие виды деятельности человека, коммуникация предполагает наличие партнеров, а лингвист в ходе метаязыковой деятельности обращается к своей речевой организации, что не нашло отражения в приведенной схеме. Тем не менее эта схема дает основания для вывода, что общность исходного языкового материала, перерабатываемого, с одной стороны, в ходе речевой деятельности индивида, а с другой — в ходе метаязыковой деятельности лингвиста, вовсе не предопределяет идентичности получаемых продуктов: в первом случае в соответствии с психофизиологическими возможностями человека формируется Язык₁ как система функциональных ориентиров и опор, необходимых для успешности процессов производства и понимания речи, а во втором — через логико-аналитическую работу — создается Язык₂ как описательная модель языка или система нормативных прескриптивных правил. Расхождение продуктов такой переработки очевидно из наблюдений над тем, как ребенок, практически владеющий языком, испытывает большие трудности при освоении грамматики родного языка; это приводит к выводу, что у ребенка имеется, например, "своя система 'ключей', не совпадающая с лингвистическими признаками частей речи" [Леонтьев 1974: 168].

Необходимо подчеркнуть, что именно наличие общего промежуточного звена (языкового материала) в его связи как с речевой организацией индивида, так и с выводимой из языкового материала языковой системой приводит к отождествлению таких, по определению Л.В. Щербы, теоретически несоизмеримых понятий, как индивидуальная речевая система (= психофизиологическая речевая организация инди-

вида) и языковая система [Щерба 1974: 35]; ср. также: [Леонтьев 1969: 101]. Несомненно, ЯЗЫК₁ и ЯЗЫК₂ отражают одни и те же содержащиеся в языковом материале закономерности, однако каждый из них имеет свой "угол зрения", предопределяющий концентрацию внимания на разных сторонах одного и того же явления, и вырабатывает свою специфическую систему координат. Вследствие этого результаты переработки языкового материала в двух указанных направлениях совпадают далеко не всегда, что исключает правомерность прямого механистического перенесения продуктов метаязыковой деятельности лингвиста на описание закономерностей функционирования речевого механизма индивида.

Вспомним, что (по Л.В. Щербе) речевая организация представляет собой *своеобразную переработку речевого опыта*, которая происходит в соответствии с психофизиологическими возможностями и закономерностями. Это означает, что необходимо выяснять, какие особенности психической деятельности человека определяют становление и функционирование языка как достояния человека. Названная проблема широко и детально обсуждается в трудах отечественных ученых, см., например, [Брушлинский 1982; 1988; 1990; Жинкин 1982; 1998; Завалова, Ломов, Пономаренко 1986; Ломов 1984; Ломов и др. 1986]. К числу основных положений относятся следующие.

1. Психическое отражение никогда не бывает пассивным, механическим, зеркальным, оно формируется в процессах деятельности **активного субъекта** через непрерывное взаимодействие человека с окружающим его миром при постоянной взаимосвязи внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, индивидуального и социального.

2. Психическое характеризуется предельной процессуальностью, динамичностью, непрерывностью и постоянным взаимодействием процессов и их продуктов в ходе формирования и взаимопереходов различных стадий, компонентов, операций.

3. Все виды психической деятельности функционируют в ансамбле, т.е. такие психические процессы, как мышление, речь, память, восприятие и др., онтологически вообще не существуют как отдельные обособленные акты, они искусственно разграничиваются в целях научного анализа, хотя в жизнедеятельности человека "все состоит из всего".

4. В многомерном и многоуровневом процессе психического отражения взаимодействуют (трансформируются, дифференцируются, интегрируются, переходя друг в друга) разные формы и уровни, в том числе уровни сенсорно-перцептивных процессов, представлений, речемыслительных процессов, понятийного мышления, интеллекта. В реальной жизни все уровни психической деятельности индивида взаимосвязаны; один из них может быть ведущим в зависимости от цели деятельности и решаемых задач, но никогда не выступает сам по себе, лишь определяет специфическую структуру всей системы психического.

5. Любой психический процесс всегда формируется одновременно на разных уровнях осознаваемости; всякое осознанное содержание обычно включает в себя не до конца и не полностью осознанные зависимости и соотношения, т.е. имеет место **непрерывность осознанного и неосознанного** как одно из фундаментальных свойств психического как процесса, при котором бессознательное существует столь же реально, как и осознаваемое.

6. Между осознанным и вербализованным, как и между неосознанным и невербализованным, не имеется однозначного соответствия: **подразумеваемое осознанное может выходить за рамки вербализованного**, а то, что переживается как известное, понятное, не всегда поддается экспликации, вербальному описанию.

7. Переживание индивидом непосредственной данности содержания знания характеризуется изначальной предметностью и пристрастностью при постоянном взаимодействии перцептивных, когнитивных и аффективных (эмоционально-оценочных) процессов и их продуктов и при динамике актуально значимого и потенциально значимого.

Из приведенных положений, в частности, вытекает, что становление речевой организации человека связано со "своеобразной переработкой" не только речевого, но и всего многогранного опыта взаимодействия человека с окружающим его миром (о роли образа предметного мира в пользовании языком см. подробно [Леонтьев 1997]). Можно также сделать некоторые уточнения по поводу того, что переработка языкового материала в речевой организации человека дает специфические продукты, отличающиеся от продукта метаязыковой деятельности лингвиста – описательной модели языка.

Во-первых, метаязыковую и метакогнитивную деятельность можно наблюдать у ребенка, осваивающего язык, однако при этом происходит переживание понятия, фиксируемое в "следах" памяти в специфических мозговых кодах, но не всегда доступное для вербализации. Получаемые при этом продукты носят функциональный характер, являясь знанием процедурного (процедурального) типа. Деятельностные ориентиры для процессов говорения и понимания речи являются удобными и эффективными для пользующегося ими индивида, который вырабатывает их "для себя", в своих "индивидуальных кодах" и использует на разных уровнях осознанности, вследствие чего оказывается трудным прямо соотносить такие ориентиры с вербальными формулировками прескриптивных правил и лингвистическими терминами при школьном обучении языку как знанием качественно иного (декларативного) типа (об этих типах знания при овладении и пользовании языком и о возможностях переходов от одного к другому см. подробнее [Залевская 1996]).

Во-вторых, взрослый человек, успешно окончивший школу, не будучи лингвистом, продолжает пользоваться не столько заученными правилами, сколько функциональными ориентирами разных видов, успешно справляясь со многими проблемами взаимопонимания при общении, но испытывая трудности в ситуациях, когда требуется установить или объяснить, как и почему правильно говорить или писать нужно так, а не иначе.

В-третьих, переработка речевого опыта человеком изначально включена в формирование образа мира и его переструктурирование, поэтому для индивида языковые средства оказываются слитыми с тем, для обозначения чего они используются. Это в свое время наглядно показал Н.И. Жинкин: «человек слышит слова, состоящие из звуков: 'Вон бежит собака', а думает при этом совсем не о звуках и словах, а о собаке, и смотрит – где она бежит» [Жинкин 1982: 18]; даже в случаях, когда имеет место переход на метаязык и человек замечает семантику своего языка, он "все равно убежден, что, воспринимая речь, он представляет и видит обозначаемую действительность, а не строчку слов или последовательность звуков" [Жинкин 1982: 100–101].

В-четвертых, приведенные выше высказывания Н.И. Жинкина акцентируют внимание на ряде очень важных особенностей пользования языком: язык для его носителя выступает в качестве средства выхода на образ мира (действительность), особую роль при этом играют разные формы репрезентации мира, в том числе – образы (думая о собаке, которая где-то бежит, мы строим ожидание, встречный образ), а через образ на разных уровнях осознанности учитываются знания и ожидания, связанные с такой ситуацией.

Таким образом, при последовательном психолингвистическом подходе к проблемам функционирования языка нельзя ограничиваться анализом языковых явлений в отрыве от пользующегося ими человека; они должны изучаться в специфической системе координат, принимающей во внимание все многообразие факторов и условий, связанных с психической жизнью активного субъекта речемыслительной деятельности, включенной в другие виды деятельности в составе социума, под воздействием которого, с учетом принятых в нем норм и оценок, формируется эмоционально-оценочно помеченная картина мира, ибо вне последней языковые средства не имеют смысла.

Особенности такого подхода можно показать на примерах, связанных с вопросами отображения реальности и с проблемой значения слова.

В лингвистических исследованиях обычно фигурирует проблема отображения реальности в языке и сознании. Выполнено огромное количество исследований, описывающих различные аспекты того, как те или иные объекты/фрагменты действительности, связи и отношения находят отображение в языке как общественном явлении; при акцентировании внимания на отображении реальности в сознании материалом для исследования опять-таки оказывается описание значений слов в толковых словарях или в текстах, т.е. и сознание выступает исключительно как общественное явление, преломленное через призму языка.

Особенности отображения реальности не менее интересны для ряда других наук, в том числе для психолингвистики, однако в таком случае возникает необходимость переформулирования сути проблемы, поскольку при исследуемом названной наукой пользовании языком в процессах продуцирования и понимания речи всегда имеет место взаимодействие вербальных и невербальных опор при разных уровнях осознваемости их функционирования (от актуального сознания до неосознаваемого) с привлечением широкого круга выводных знаний (языковых и энциклопедических) и наличием эмоционально-оценочных переживаний как неотъемлемых составляющих функционирования языка как достояния человека. С учетом того, что на "табло сознания" выводится лишь часть продуктов множества процессов, обеспечивающих взаимодействие человека с окружающим его миром, а закрепляемое в языковых единицах неизбежно увязывается с переработкой разностороннего (не только речевого) опыта индивида, точнее говорить об отображении реальности у человека. Итак, при психолингвистическом подходе к названной проблеме необходимо признавать отображение реальности не только в сознании, но и в подсознании индивида при постоянном взаимодействии перцептивной, когнитивной и аффективной сфер психики человека.

Подобное уточнение является чрезвычайно важным, поскольку оно переносит обсуждение названной проблемы в особую систему координат, т.е. речь идет в таком случае не о языке как отдельно взятой системе и не о сознании "вообще", а именно о языке как достоянии индивида и о том, благодаря чему в процессах речемыслительной деятельности человек оказывается способным опираться на многостороннее функционально достаточное отображение действительности как базу для понимания и взаимопонимания в ходе познания и общения (проблема взаимоотношения между познанием и общением при этом переходит в статус псевдопроблем типа первичности курицы или яйца).

При таком подходе подчеркивается, что язык у пользующегося им человека представляет собой одну из психических функций, реализуемых только во взаимодействии со всеми другими психическими функциями (или психическими процессами) индивида, т.е. отображение реальности в языке невозможно без подключения восприятия, памяти, мышления, внимания и т.д. при сложном взаимодействии множества внешних и внутренних факторов. Таким образом преодолевается типичное для лингвистики наделение языка статусом *самодовлевающей сущности* и признается, что язык у пользующегося им человека составляет лишь одну из сторон целостной психики субъекта [Брушлинский, Сергеев 1998: 6].

Принятая система координат учитывает также множественность форм отображения реальности в памяти человека (см., например, обзор [Ребеко 1998], а также [Зияченко 1997; Sternberg 1996]) и их постоянное взаимодействие в процессах речемыслительной деятельности и общения. Непосредственная связь полифонии таких форм с разнообразием (множественностью) путей познания мира человеком вытекает из наличия системы познания [Высоков 1996]. В последние годы широко обсуждается проблема ментальных репрезентаций при разных трактовках характера таких репрезентаций и модуса их существования (связанного с определенными сенсорными модальностями или амодального, складывающегося из определенного набора призна-

ков или целостного, холистического, и т.д.), особенностей их становления в онтогенезе, функционирования в разных видах деятельности (см., например, обзоры и обсуждение результатов зарубежных и отечественных исследований в этой области [МР 1998]).

В качестве продуктов концептуализации (т.е. преломления в голове человека окружающего его мира, существующих в последнем объектов, действий, состояний, связей и отношений между ними) обычно рассматриваются *концепты* как базовые когнитивные сущности, позволяющие связывать смысл с употребляемым словом [Ришар 1998: 15]. Следует подчеркнуть, что концепт не отождествляется с понятием как некоторым набором необходимых и достаточных существенных признаков, отвечающих требованиям истинности и лишенных каких бы то ни было эмоционально-оценочных нюансов за счет их абстрагированности. Важные уточнения по этому поводу делает Ю.С. Степанов, трактующий концепт как "пучок" представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово; уточняется также, что в сложную структуру концепта входит и то, что принадлежит строению понятия, и то, что делает его фактом культуры [Степанов 1997: 40–41]. Добавим к этому, что в последнее время в философии произошел определенный пересмотр трактовки особенностей понятия как формы мышления. Так, в работе [Войшвилло 1989: 99] отмечено, что "оперирование понятиями в той или иной мере связано с представлениями. Расчленив в понятие предметы и явления на признаки, мы связываем в свою очередь обычно сами эти признаки с некоторыми представлениями. И даже имея дело с сугубо абстрактными предметами, человек стремится ввести в свои рассуждения элементы наглядности, конструируя для этой цели некоторые представления – наглядные модели абстрактных объектов". При этом в некоторых случаях связь слов с предметами может осуществляться через посредство более или менее четких представлений (*чувственных интуиций*), в других случаях – через посредство *интеллектуальных интуиций*, возникших в процессе усвоения языка [Войшвилло 1989: 99]. Более того, пересматривается и сама трактовка "существенного признака": признается необходимость разграничения двух понятий существенного – "понятия признаков, существенных для предметов того или иного качества, и признаков того или иного предмета, существенных в каком-то отношении... или с той или иной точки зрения (с точки зрения определенного использования предмета человеком)" [Войшвилло 1989: 128]. Последнее хорошо согласуется с результатами психологических и психолингвистических исследований, согласно которым для носителей тех или иных языков и культур наиболее важными могут оказаться не определительные, а характерные признаки предметов и явлений; в процессах разносторонней деятельности человека решающее влияние могут оказывать не сильные, а слабые признаки; требует своего исследования то, на какие виды признаков опирается человек в процессах эвристического поиска, и т.д. (см. подробнее [Залевская 1999; Коссов 1996]).

Отмеченные "сдвиги" в трактовке понятия как формы отображения действительности у человека наряду с трактовкой психологами роли образа в познании мира и связи между словом и образом в процессах психического отражения (см., например, [Завалова и др., 1986; Ломов, Беляева, Носуленко 1986; Носуленко 1988]) свидетельствуют о том, что на смену декларированию учета "человеческого фактора в языке" должен прийти последовательный отказ от искусственного отсекающего того, что свойственно человеку, от того, что лингвисты ищут в исследуемом ими языке, забывая о том, что закономерности функционирования языка как общественного явления неизбежно связаны с носителями и пользователями языком как субъектами психической деятельности. Одним из примеров попыток откеститься от специфики процессов познания мира человеком является трактовка прототипа как не имеющего никакого отношения к лингвистической теории на том основании, что в данном случае фигурирует продукт индивидуального, чувственного, довербального познания, в то время как семантическая теория оперирует продуктами координированной общественной, социальной деятельности, связанной с абстрагированием.

Так, на необходимости разграничения языковых и доязыковых категорий, по свидетельству Н.П. Анисимовой [Анисимова 1998: 32–34], настаивает В. Никес, который при критическом анализе теории прототипов признает некую форму ментальной доязыковой категоризации, но отвергает принцип ее прямого отражения в языковых категориях. При обосновании того, что природа индивидуального и интериндивидуального (языкового) познания базируется на разных принципах, В. Никес противопоставляет эти два вида познания по ряду параметров на том основании, что перцептивные категории происходят из индивидуальной чувственной деятельности, в то время как языковые категории имеют социальный характер и вырабатываются в ходе истории общества в целях взаимодействия носителей языка. Таким образом, при трактовке семантических категорий как результата коллективной деятельности, скоординированной и обусловленной языковой деятельностью, субъекты названной деятельности оказываются тем не менее "вынесенными за скобки". В этой связи представляется полезным привести высказывание А.А. Леонтьева относительно того, что только рассмотрение проблемы реализации социального в индивиде, на уровне конкретного индивида, «может вскрыть некоторые существенные характеристики глобальной "речи", ускользающие при переходе на более высокие ступени абстракции, но необходимые при анализе объекта как целого» [Леонтьев 1969: 104].

В качестве еще одного примера разграничения семантической теории и специфики отображения реальности человеком может выступить отказ А. Вежбицкой согласиться с вероятностью того, что тот или иной компонент значения слова может проявляться в *некоторой степени* (по ее мнению, вопрос может ставиться только по принципу "да – нет", т.е. или такой компонент имеется, или его вообще нет, см. [Wierzbicka 1996: 168]). Однако известно, что носитель языка способен количественно оценивать степень проявления того или иного признака в составе значения слова, о чем свидетельствуют разнообразные исследования с использованием процедур субъективного шкалирования (см., например, "семантические нормы" типа [Toglia, Battig 1978] и работы [Колодкина 1987; Петренко 1983; 1997]). То, что суждения носителей одного и того же языка оказываются сходными, но могут отличаться от оценок, полученных для слов-коррелятов от носителей других языков и культур, подтверждает справедливость указания Л.В. Щербы [Щерба 1974] на социальный характер речевой организации индивида и заставляет обратить внимание на необходимость пересмотра вопроса о характере соотношения между индивидуальным и социальным в языке и в значении слова в том числе. О важности такого пересмотра говорится в работе [Tumer 1994], где отмечается стремление лингвистов при обсуждении проблематики значения слова трактовать природу значения как совершенно независимую от человека.

М. Тёрнер отмечает, что референтные теории значения трактуют значение как базирующееся на положении вещей в объективной реальности, вследствие чего значением высказывания должны быть реальность, к которой оно относится. Это полностью выводит человека за рамки установленной связи ("a semantic express train shoots straight from the linguistic symbols to an objective reality without passing through the human brain, let alone stopping in the human brain, let alone taking its entire journey there"). Другие современные теории, такие как формальные теории значения, "делают остановку" в мозге человека, но это только акт вежливости, состоящий в признании того, что мозг является тем местом, с которым увязывается значение. Например, теории искусственного интеллекта обычно трактуют мозг как устройство, производящее вычисления на базе бессмысленных символов, которые остаются таковыми в ходе манипулирования ими, но получают некоторую интерпретацию из определенного набора зафиксированных интерпретаций (с помощью "семантического устройства"). Формальное (синтаксическое) устройство выполняет всю необходимую работу, в то время как правила интерпретации сопутствуют этому, имея своим результатом значение. Отсюда значение фигурирует во множестве формальных исчислений, а задача теории значения состоит в обнаружении природы таких исчислений.

Обычно признается, что объективное значение – это значение, которое существует

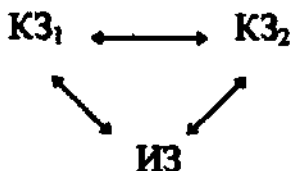
независимо от воспринимающего его человека. М. Тёрнер указывает, что, по Протагору, это должно трактоваться как оксюморон, поскольку *никакое значение не может существовать независимо от приписывания его мозгом человека*. Раз это так, то понятие "субъективного" значения так же ошибочно, как и понятие "объективного" значения.

М. Тёрнер полагает, что разграничение объективного и субъективного значения связано с концептуальной метафорой, согласно которой мы трактуем мозг в виде контейнера. Метафорически объективное значение находится вне этого контейнера, а внутри его может иметься копия этого внешнего объективного значения. Если это хорошая копия, то нам известно объективное значение. У нас всех могут иметься копии, связанные через их внешнего референта. По этой метафоре, такие внутренние копии не могут быть прямо связанными друг с другом. Они могут увязываться только через посредство объективного референта, который находится вне мозга, независим от этих копий и является более важным, чем копия. Однако от этой метафоры и от следствий из нее необходимо отказаться. Значение находится внутри мозга в неметафорическом смысле. Значения в мозгу разных людей связаны не потому, что они являются копиями некоторого внешнего значения, а вследствие того, что мозг у разных людей имеет *биологическое и функциональное сходство деятельности приписывания значений*.

С других позиций подходит к обсуждаемой проблеме В.П. Зинченко, подчеркивающий, что не только в онтологии, но и в гносеологии противопоставление **объективного и субъективного является грубой ошибкой** [Зинченко 1997: 10, 21]. Первичные формы аффективно-смысловых образований сознания существуют *объективно* вне человека в виде произведений искусства или других материальных творений людей. В процессе индивидуального развития такие объективные образования усваиваются и субъективируются, иначе говоря, идеальная форма присваивается и становится реальной формой психики и сознания индивида. Особую роль в переходе от идеальной формы к реальной (при органичности их взаимодействия) играют посредники-медиаторы: *взрослый человек в паре с ребенком, знак, знак-символ, слово, смысл* (этот ряд должен оставаться открытым, поскольку полифонии медиаторов отвечает полифония сознания). Все это – **психологические орудия**, замечательная особенность которых состоит в том, что они вызывают к жизни **внутренние формы деятельности**. Бесконечное число открытий (в том числе открытие внутренней формы медиаторов) начинается в совместной деятельности ребенка со взрослым и продолжается самостоятельно всю жизнь. При этом внутренняя деятельность не является простым манипулированием интериоризированными внешними средствами: превращение внешней формы во внутреннюю всегда является творческим процессом, актом создания новой формы, нового языка описания внешней формы действия, вследствие чего новообразование приобретает собственные порождающие возможности и способности. Подвергаясь деятельностно-семиотической переработке, такие новообразования утрачивают черты сходства с породившими их источниками (в том числе и черты опосредствованности) и проявляют себя непосредственно; они могут также погружаться в "глубины бессознательного" и восстанавливаться.

Еще один возможный подход к проблеме соотношения субъективного и объективного предложен в работе [Залева 1992], где в общетеоретическом плане вместо диады "язык как коллективное знание" (КЗ) – "язык как индивидуальное знание" (ИЗ) предлагается рассматривать триаду КЗ₁, КЗ₂ и ИЗ, различая КЗ₁ – совокупное знание-переживание, формирующееся и функционирующее в определенной лингвокультурной общности по законам психической деятельности и взаимодействий в сверхбольших системах, и КЗ₂ – "зарегистрированное" в продуктах разнообразной деятельности людей коллективное знание (включающее языковую систему), которое отображает *лишь часть* того, что входит в понятие КЗ₁. До сих пор наука исследовала и описывала исключительно КЗ₂, в то же время отождествляя его с ИЗ вследствие подмены

понятий, узаконенной стойкой логико-рационалистической традицией, на смену чему должно прийти последовательное изучение **ИЗ** как коррелята **КЗ₁**, со всеми вытекающими отсюда следствиями и с признанием сложного взаимодействия между всеми членами триады, т.е.:



Важно подчеркнуть, что термин "индивидуальное знание" указывает не на содержание знания, специфичное для того или иного человека (в таком случае следовало бы говорить о "личностном знании"): речь идет о **принципиальных особенностях знания как достояния индивида, выходящего в качестве представителя вида, т.е. знания, формирующегося по закономерностям психической деятельности** (несомненно, под воздействием и контролем выработанных социумом норм и оценок) и представляющего собой отображение реальности у человека. Особенности этого подхода можно показать на примере трактовки значения слова и выполняемых им функций.

При традиционном лингвистическом исследовании значения слова оно берется как принадлежащее **КЗ₂**, т.е. как единица лексико-семантической системы языка, и описывается по "законам жанра", а именно: определенным образом материализованные, т.е. вербализованные и зафиксированные в устной речи или на письме **продукты речи** подвергаются строгому логико-рационалистическому анализу при узаконенном при таком подходе игнорировании лежащих за названными продуктами процессов. Это приводит к стройной системе понятий и прескриптивных правил, описывающих язык как *отдельно взятый объект* (т.е. в отрыве от пользующегося языком индивида, независимо от того, насколько часто и убежденно декларируется важность учета "фактора человека", "человеческого фактора в языке" и т.п.).

Подход к слову с позиций **индивидуального знания** требует последовательного учета основолагающих особенностей функционирования последнего как продукта постоянного взаимодействия многих психических процессов; необходим поиск путей обнаружения глубинных механизмов функционирования слова и стоящих за словом у индивида **перцептивно-когнитивно-аффективных образований** (концептов), а также **стратегий и разного рода функциональных ориентиров**, позволяющих успешно оперировать словом при познании и общении. При исследовании значения слова как достояния индивида речь идет о том, *что знает человек, когда он знает значение слова (или думает, что знает его)*, каковы особенности функционирования значения слова в такой трактовке и в какой мере это поддается описанию. Для выявления этого недостаточно опираться только на продукты речи, необходимо использовать традиционно применяемый **внешний** для слова контекст (вербальный или ситуативный) в качестве базы для изучения того **внутреннего контекста**, который по своей природе является **перцептивно-когнитивно-аффективным** и не имеющим четких границ (стремление к полноте его описания сопоставимо с попыткой достичь линии горизонта, т.е. выводит на индивидуальную картину мира во всем многообразии его объектов, связей и отношений между ними, во "всю психику"); он далеко не всегда доступен для вербального описания, но так или иначе сигнализирует о лежащих за словом процессах и фигурирующих в них опорах, связях, функциональных ориентирах.

При функционировании слова в речемыслительной деятельности человека значение слова должно, с одной стороны, обеспечивать взаимопонимание при общении, а с другой – выводить на некоторый фрагмент индивидуальной картины мира. Такая **двойственная медиативная функция** значения слова побуждает постулировать наличие двух

видов значения слова, в совокупности обеспечивающих успешность пользования им в процессах познания и коммуникации.

Один из этих видов значения слова представляет собой *знание того, что носители соответствующего языка должны (по уговору) понимать под тем или иным словом*. Этот вид значения согласуется с дефинициями толковых словарей по принципу "недолет/перелет", поддается вербализации, служит опорой для самоконтроля в процессах познания и общения и может быть условно назван **общесистемным значением** с акцентированием внимания на элементе "обще-", поскольку системность в этом случае испытывает воздействие со стороны индивидуального опыта и меняется с возрастом, тем не менее наличие некоего общего для носителей языка инварианта делает это значение **функционально достаточным** для взаимопонимания. "Недолеты/перелеты" по отношению к словарным дефинициям зависят от того, как и в какой мере уже имеющийся у человека запас языковых и энциклопедических знаний позволяет ему понимать, что именно означает некоторое слово "по уговору".

В качестве второй медиативной ипостаси значения слова как достоинства индивида выступает то, что обеспечивает соотнесение общесистемного значения с индивидуальной картиной мира, т.е. переживание слова как понятого, установление его значения "для самого себя". Это **психологическая структура значения слова** или **психологическое значение слова**, что исследуется при ассоциативном, параметрическом, признаковом, прототипном, ситуативном и других психолингвистических подходах к значению (см. подробнее [Залевская 1998]).

С позиций такой трактовки значение слова у индивида обеспечивает выполнение ряда важнейших функций, встроенных в систему знаковых отношений, оно оказывается средством выхода на индивидуальную картину мира, вне которой никакое понимание или взаимопонимание попросту невозможно. С той или иной мерой полноты и точности слово "высвечивает" в индивидуальной картине мира некоторый фрагмент, идентифицируемый на разных уровнях осознанности как целостная более или менее обобщенная или специфическая ситуация с ее необходимыми, характерными и факультативными составляющими, признаками и признаками признаков, на фоне чего актуализуются или подсознательно учитываются многоступенчатые выводные знания разных видов – языковые и энциклопедические, субъективно переживаемые как не поддающиеся разграничению. Актуализация отдельного наиболее рельефного признака объекта неизбежно сопровождается подсознательным учетом и других характеристик этого объекта, одновременно включенного в некоторую ситуацию, в свою очередь находящуюся в составе более полного фрагмента индивидуальной картины мира.

Таким образом, слово при его функционировании выполняет роль, сравнимую с ролью лазерного луча при считывании голограммы: оно делает доступным для человека определенный **условно-дискретный фрагмент континуальной и многомерной индивидуальной картины мира** во всем богатстве связей и отношений, полнота которых обеспечивается в разной мере осознаваемой опорой на прямые и/или опосредованные выводные знания и переживания разных видов. Базирующиеся на этой концепции представления о процессах включения идентифицируемого слова в многоаспектный внутренний (перцептивный, когнитивный, аффективный) контекст во взаимодействии с внешним (вербальным, ситуативным) контекстом описываются через **спиралевидную модель** [Залевская 1988], согласно которой реализация различных функций слова в тексте (идентифицирующей, двойственной медиативной, синтезирующей, двойственной регулятивной, прогностической и т.д.) может быть представлена в виде двунаправленной спирали, "раскручивающейся" от "тела текста" (например, графически представленной формы слова) вглубь многостороннего предшествующего опыта индивида (языкового и неязыкового; осознаваемого и неосознаваемого; перцептивного, когнитивного, эмоционально-оценочного) и в "проекцию текста", которая формируется, дополняется, пересматривается при взаимодействии множества факто-

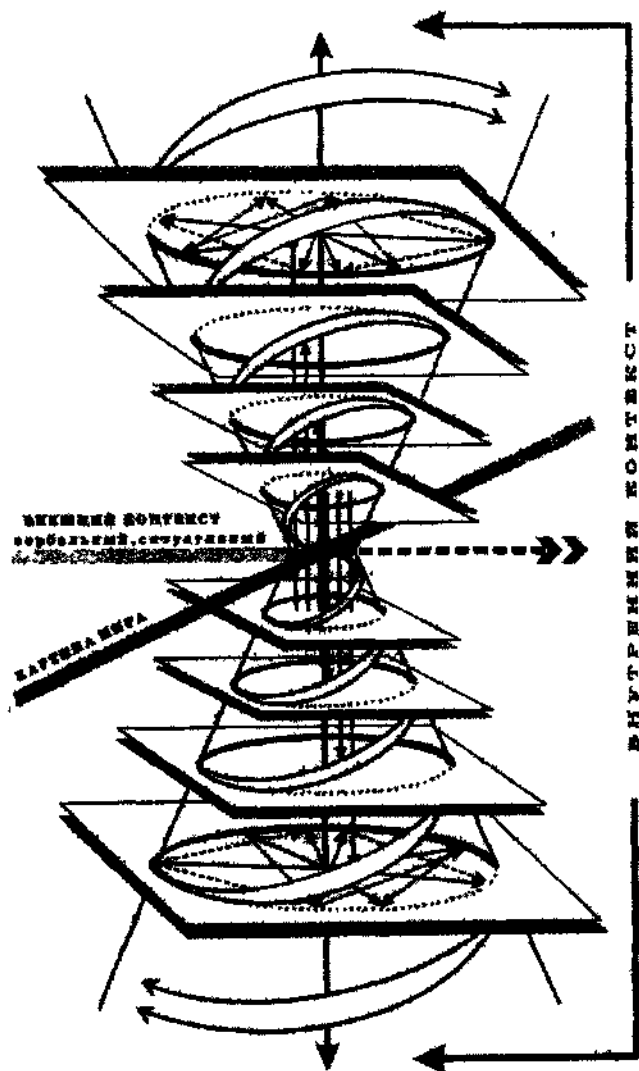


Рис. 2

ров (см. [Залевская, Каминская, Медведева, Рафикова 1998]). Расширяющиеся витки представленной на рис. 2 гипотетической спирали символизируют не только постоянный выход на индивидуальную картину мира, но и ее континуальность: понимание воспринимаемого слова или текста не может быть обозначено в виде дискретной единицы – это всегда **условный интервал**, намечающий некоторый более или менее четко определяемый участок на многомерном перцептивно-когнитивно-аффективном континууме. Взаимодействие многообразных форм отображения действительности у человека и оперирование ими на разных уровнях осознанности обеспечивают функционально достаточные опоры для понимания как решения нечетко сформулированных задач при оперировании расплывчатыми множествами, которые обычно лежат за используемыми людьми языковыми единицами.

Более подробно различные особенности психолингвистического подхода к анализу языковых явлений (в том числе значения слова как достояния индивида) обсуждаются в книге [Залевская 1999].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анисимова Н.П. 1998 – Проблема категоризации: теория прототипов или модель необходимых и достаточных условий? // Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 1998.
- Брушлинский А.В. 1982 – Взаимосвязь процессуального и личностного аспектов мышления // Мышление: процесс, деятельность, общение. М., 1982.
- Брушлинский А.В. 1988 – О категориях непрерывное и прерывное, качество и количество в психологии // Категории материалистической диалектики в психологии. М., 1988.
- Брушлинский А.В. 1990 – Деятельность субъекта и психическая деятельность // Деятельность: теория, методология, проблемы. М., 1990.
- Брушлинский А.В., Сергиенко Е.А. 1998 – Ментальная репрезентация как системная модель в когнитивной психологии // Ментальная репрезентация: динамика и структура. М., 1998.
- Войцицкий Е.К. 1989 – Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. М., 1989.
- Высоков И.Е. 1996 – Система познания: принципы и подходы // Познание. Общество. Развитие. М., 1996.
- Жинкин Н.И. 1982 – Речь как проводник информации. М., 1982.
- Жинкин Н.И. 1998 – Язык. Речь. Творчество. М., 1998.
- Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. 1986 – Образ в системе психической регуляции деятельности. М., 1986.
- Залевская А.А. 1977 – Проблемы организации внутреннего лексикона человека. Калинин, 1977.
- Залевская А.А. 1988 – Понимание текста: психолингвистический подход. Калинин, 1988.
- Залевская А.А. 1992 – Индивидуальное знание: специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.
- Залевская А.А. 1996 – Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1996.
- Залевская А.А. 1998 – Значение слова и возможности его описания // Языковое сознание: формирование и функционирование. М., 1998.
- Залевская А.А. 1999 – Введение в психолингвистику. М., 1999.
- Залевская А.А., Каминская Э.Е., Медведева И.Л., Рафикова Н.В. 1998 – Психолингвистические аспекты взаимодействия слова и текста. Тверь, 1998.
- Зинченко В.П. 1997 – Посох Манделштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997.
- Колодкина Е.Н. 1987 – Специфика психолингвистической трактовки параметров конкретности, образности и эмоциональности значения существительных: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1987.
- Коссов Б.Б. 1996 – Творческое мышление: его механизмы и факторы развития // Психологическое обозрение. М., 1996. № 2/3.
- Леонтьев А.А. 1969 – Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
- Леонтьев А.А. 1974 – Исследование грамматики // Основы теории речевой деятельности. М., 1974.
- Леонтьев А.А. 1997 – Основы психолингвистики. М., 1997.
- Ломов Б.Ф. 1984 – Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.
- Ломов Б.Ф., Беляева А.В., Носуленки В.Н. 1986 – Вербальное кодирование в познавательных процессах. М., 1986.
- МР 1998 – Ментальная репрезентация: динамика и структура. М., 1998.
- Носуленко В.Н. 1988 – Психология слухового восприятия. М., 1988.
- Петренко В.Ф. 1983 – Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.
- Петренко В.Ф. 1997 – Основы психосемантики. Смоленск, 1997.
- Ребеко Т.А. 1998 – Ментальная репрезентация как формат хранения информации // Ментальная репрезентация: динамика и структура. М., 1998.
- Ришар Ж.Ф. 1998 – Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. М., 1998.
- Степанов Ю.С. 1997 – Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Шерба Л.В. 1974 – Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Sternberg R.J. 1996 – Cognitive psychology. Fort Worth, 1996.
- Toglia M.P., Battig W.F. 1978 – Handbook of semantic word norms. Hillsdale (New Jersey), 1978.
- Turner M. 1994 – Design for a theory of meaning // Overton W. and Palermo D. (Eds.). The nature and ontogenesis of meaning. Hillsdale (New Jersey), 1994.
- Wierzbicka A. 1996 – Semantics: Primes and universals. Oxford, 1996.

© 1999 г. В.Ю. МЕЛИКЯН

**К ПРОБЛЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ
И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
КОММУНИКЕМ**

Синтаксис русской разговорной речи специфичен и отличается большим разнообразием форм. Это отчасти объясняется тем, что для разговорной речи характерно превалирование смысловых связей над формально-грамматическими, а психологического начала – над логико-понятийным (см., например [Barnet 1970]). Здесь нередко отношения между словами в рамках высказывания оказываются выраженными лишь с помощью интонации и простого соположения единиц. Эта особенность синтаксиса разговорной речи оказывает воздействие на ее морфологию, усиливая в ней черты аналитизма.

Как отмечает А.Н. Васильева, "особенности разговорного синтаксиса в немалой степени связаны с особыми функциями и функциональным синкретизмом определенных лексико-морфологических форм и с наличием особых лексико-синтаксических форм выражения некоторых морфологических (преимущественно морфологических в русском языке) значений" [Васильева 1976: 217].

Одной из таких особенностей русской разговорной речи в отличие от кодифицированного литературного языка является наличие в ней так называемых "нечленяемых предложений" (по иной терминологии: "слова-предложения", "синтаксически нерасчлененные предложения", "некодифицированные высказывания", "коммуникаты", "коммуникативы" и т.п.).

Нечленяемые предложения относятся к классу простых предложений, но представляют собой его отдельный структурный тип, характеризующийся своими особыми формой, семантикой, функциями, лексикой, морфологией и т.п., и не могут быть причислены ни к двусоставным, ни к односоставным предложениям.

Нечленяемые (фразеологизированные) предложения неоднородны по своему составу. Так, по характеру выражаемого значения среди них можно выделять две основные группы: это построения с понятийной и непонятийной семантикой. Нечленяемые предложения с понятийной семантикой представляют собой речения, обладающие четкой синтаксической схемой; они лексически проницаемы, распространяемы, и самое главное характеризуются наличием понятийного значения, например: ("Еще бы + (не) + V") – Библиотека ваша, конечно, выросла с тех пор? – *Еще бы не выросла!* ("выросла...") (В. Солоухин. Владимирские проселки); ("Еще как + V") – Слушай-ка, а вот сюда мог бы ты пройти? – я показал на карте. – *Пройду! Еще как пройду!* Втихомолку, на животе, а там... ("пройду...") (Андреев. Народная война) и т.п.

Нечленяемые предложения с непонятийной семантикой в лингвистической литературе получили название **к о м м у н и к е м ы**. Под термином "коммуникема" (далее – **К**) мы понимаем непредикатную коммуникативную единицу синтаксиса предложительского характера, представляющую собой слово или сочетание слов, грамматически нечленяемую, нерасчлененно выражающую определенное непонятийное смысловое содержание, служащую реакцией на различного рода факты объективной действительности и выполняющую в языке эстетическую функцию. **К** лишена номинативной

функции" [Ляпон 1997: 492], но обладает модусной пропозицией. «Модусное событие (как семиотическое содержание, а не экстралингвистический факт) есть отражение "несубстанциональной" действительности, психической реальности, рефлексии говорящего по поводу другого события» [Черемисина, Колосова 1987: 36]. Модусная пропозиция не служит обозначением ситуации, так как является непредикатной пропозицией, например: – Ведь ты не станешь отрицать во мне желание добра? – *Еще бы!* ("да, согласие...") (И. Тургенев. Рудин); Сразу повеселел Ковалевский и даже хлопнул по плечу Ваську. – Ну как, Василий, не трусил? – *Ну вот еще!* – лихо подбросил голову усталый и весь заляпанный Васька ("нет...") (С. Сергеев-Ценский. Искать, всегда искать).

В настоящей статье мы остановимся на анализе лишь тех К, которые выражают значение "утверждения" и/или "отрицания".

Термины "коммуникема" и "нечленимое предложение" находятся между собой в родо-видовых отношениях. Использование термина "коммуникема" подчеркивает прежде всего их коммуникативную направленность, ориентацию подобных речений на адресата, что является категориальным признаком данной единицы синтаксиса, а также позволяет более четко разграничивать отдельные виды нечленяемых предложений.

Доминирующей в отечественном языкознании является точка зрения, в соответствии с которой признается абсолютная нечленяемость построений типа К, например: "Не будучи синтаксически членимыми, а следовательно, не соответствуя формуле предложения, информативные единицы не представляют собой предложений" [Волин 1971: 24]; "Эти построения при определенных условиях могут стать высказываниями, несущими то или иное сообщение, но они не являются предложениями в грамматическом смысле этого термина" [Грамматика 1970: 543]. Это, как видим, дает основание некоторым лингвистам отказать коммуникемам в статусе высказывания вообще или в наличии у них отдельных его аспектов.

Проведенный нами анализ показал, что данная позиция не лишена недостатков. Многие К, как и построения со свободной организацией синтаксической структуры, обладают грамматической парадигмой, но в отличие от последних они не включают в себя всю возможную систему грамматических форм, а характеризуются наличием неполной, дефектной парадигмы. Грамматико-семантические особенности накладывают значительные ограничения на формирование их парадигматического ряда. В целом, с формальной точки зрения К можно охарактеризовать как предложения с "фиксированной формой" ("структурно-неоформленные", "синтаксически нерасчлененные" [Степанян 1956]).

В русском языкознании проблема построения формоизменяющей парадигмы предложения решалась многими лингвистами. Так, например, Е.А. Седельников обратил внимание на то, что парадигма предложения принципиально несводима к морфологической парадигме глагола. В ее основе лежит форма простого предложения. "Форма предложения не представляет собой простой суммы грамматических форм слов. Формы слов, составляющие форму предложения, вступают в синтагматические отношения и образуют качественно новую лингвистическую единицу, свойства которой не равны сумме свойств форм слов" [Седельников 1961: 71].

Н.Ю. Шведова же [Шведова 1965; 1967] отметила, что простое предложение обладает формой и содержанием. Она дает определение понятия форм предложения. "Формы предложения... – это все те видоизменения, которые, не меняя его структурной основы, представляют каждое в отдельности то или иное частное синтаксическое значение, а в своей совокупности – весь комплекс его синтаксических значений" [Шведова 1967: 15].

Глубоко проанализировав все типы преобразований простого предложения, Н.Ю. Шведова подтвердила, что они имеют синтаксический характер и не воспроизводят морфологическую парадигму глагола.

Подобные факты дают право утверждать, что, несмотря на логическую, морфологическую и структурную нечленяемость К, достаточно большая их группа характери-

зуется наличием дефектной формоизменяющей парадигмы. Например, **К** – *Не скажи!*, кроме формы повелительного наклонения 2-го лица ед. числа, может иметь форму повелительного наклонения 2-го лица мн. числа (*– Не скажите!*), а также форму инфинитива (*– Не сказать!*): [Павлин:] Женское дело, сударь... От женского ума порядков больших и требовать нельзя. [Чугунов:] *Ну, не скажи!* У Меропы Давыдовны ее женского ума на пятерых мужчин хватит (А. Островский. Волки и овцы); [Хрущов:] Дура она... [Юля:] *Ну, не скажите* (А. Чехов. Леший); Полтора года в колонии. Плохо ли ему было? Да нет, *не сказать* (Лит. газета. 1964. № 22).

Но сооставление **К** с их производящими основами (членными предложениями). установление морфолого-синтаксических и лексических факторов, обуславливающих их более легкое персозначение в плане семантики "утверждения" / "отрицания" или определение формоизменяющей парадигмы **К**, вовсе не означает признание того факта, что они обладают этими признаками в полной мере: у них отсутствует грамматическое значение, они лексически непроницаемы, логически и семантически нечленны. У таких синтаксических построений отмечаются лишь элементы потенциальной членности.

Анализ различных грамматических категорий глагольных лексем, входящих в состав **К**, не дает возможности утверждать, что **К** как предложение обладает категорией предикативности (предикативность – "ключевой конституирующий признак предложения, относящий информацию к действительности...") [Ляпон 1990: 392]. Отнесение предложения со значением "да" или "нет" к плану настоящего, будущего или прошедшего времени [например: – Ты заедешь за мной? – *И не подумаю!* ("нет..." → "не заеду..." – буд. вр.); – Принеси воды! – *Разогнолся!* ("нет..." → "не принесу..." – буд. вр.) и т.п.] является формальным и носит экспериментальный характер. Оно означает лишь то, что соответствующая **К** с глагольной словоформой имеет тот или иной смысловой оттенок. И это связано не с процедурой соотнесения содержания **К** или ее глагольной лексики с объективной действительностью, а с тем, что отдельные грамматические формы лексических компонентов производящей конструкции **К** потенциально предрасположены к различного рода трансформациям, в том числе к формально-семантическому преобразованию в **к о м м у н и к е м у**. Новые оттенки значения приобретаются **К** в ходе такого преобразования и имеют характер влияния внутренней формы **К** на ее семантические параметры, а процедура соотнесения содержания **К** с действительностью производится скорее в этимологическом, диахроническом аспекте. Таким образом, значимость в данном случае обладают сами грамматические признаки глагольных лексем, отдельные формы последних, за которыми в языке закрепились те или иные трансформационные потенциалы.

Проблему построения грамматической парадигмы **К** нельзя отождествлять только с формоизменятельными потенциалами глагольных лексем. К этому проявляют известную склонность (хотя в более скромных масштабах) и другие части речи: существительное и местоимение.

В связи с утверждением об устойчивости **К**, даже большей, чем устойчивость ФЕ, во всех проявлениях этого свойства, а также о способности **К** обладать парадигмой хочется отметить, что высказывание В.Л. Архангельского о том, что устойчивая фраза в системе языка не находится в определенных отношениях к мыслящему или говорящему субъекту, не лишено доли истины, но в то же время даже для **К** не вполне верно. Несмотря на свою максимальную формализацию и абстрагирование от конкретной ситуации и ее участников, **К** все же способна к индивидуализации своей формы и содержания (хотя и в ограниченных пределах), а отсюда, благодаря наличию парадигмы форм может характеризовать ситуацию общения, субъекта речи, выражать его отношение к собеседнику и предмету речи. Именно это позволяет нам утверждать, что такие устойчивые единицы синтаксиса находятся в прямой связи и в некоторой степени зависимости от индивидуальности субъекта речи.

В отдельных случаях данные потенциалы **К** проявляются даже без изменения ес

формы. Например, словоформа *нам* может употребляться не со значением "множественности", а со значением "единичности": [Вася:] Другой умрет, этакой чести не дождется. Хоть бы денек так пожил. [Гаврило:] *Где уж нам!* (значение "множественности") (А. Островский. Горячее сердце); Ср.: [Троекуров:] Коньяк – пьешь? [Иосиф:] *Где уж нам!* Самогону бы, да и того не сыщешь! (значение "единичности") (М. Горький. Достигаев).

В соответствующем контексте данная местоименная словоформа способна также приобретать значение "обобщенности". Такая тенденция имеет место при употреблении *К* – *Где нам!* с оттенком иронического подтверждения, согласия, например: – Позорно ему на свинарнике работать! А мясо не позорно есть? – Не поймешь, дед, – вздохнул Иван. – *Где нам!* (В. Шукшин. В профиль и анфас).

Грамматическая парадигма *К* может складываться из выражения различных грамматических значений, передающих различные оттенки смысла, а также на основе их нейтрализации. Отсюда парадигма таких единиц может быть значимой и незначимой.

Грамматическая и словообразовательная парадигматика основывается на значении морфемы как минимальной значимой единицы слова. Морфемные же корреляции имеют выход на собственно морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни системы. Отсюда мы будем говорить о парадигме морфологической, синтаксической и словообразовательной.

В русском языке *К* чаще всего строят грамматическую парадигму на основе грамматических категорий наклонения, времени, вида, залога, рода, лица, числа и падежа.

К морфологическому формоизменению следует отнести все случаи варьирования грамматического значения у лексических компонентов *К*: – *Раскатал губы(-у)!*, – *И не подума(-а, -и) бы!*, – *Какой(-ая, -ое, -ие) там!*, – *Что же делать (сделать, поделаешь, сделаешь)!*, – *Размечтался(-лась, -лись)!* и др. Например: 1) – Закончу работу – пойду домой. – *Размечтался(-лась, -лись)!* Закончишь одну, я тебе другую дам ("несогласие..."). Члены парадигматических рядов категорий рода и числа глагольной лексики в данном примере называют различных субъектов действия, что вносит в общий смысл высказывания дополнительные семы, уточняя условия речевого акта;

2) – Ты мне поможешь? – *Раскатал губы(-у)!* У меня у самого работы по горло ("нет..."). Изменение формы числа имени существительного, выступающего в роли объекта действия, в этом примере, возможно, несет на себе определенную смысловую нагрузку. При этом грамматическое значение множественного числа флексии существительного не подвергается нейтрализации. Можно предположить, что количество "раскатанных губ" (одна или две) позволяет говорящему подчеркнуть степень категоричности отрицания, а также выразить степень своего неодобрения и негативного отношения к предмету речи: чем "больше губ", тем выше степень.

Данную *К* необходимо отличать от формально сходной с ней ФЕ, например: – А писака уже *губенки раскатал*, *размечтался*... (А. Маринина. Чужая маска). Отличительной чертой ФЕ в данном случае является понятийный характер ее значения ("размечтался..."), наличие управления (*на что?* – "раскатать губы на помощь, обед, зарплату" и т.п.) и полной грамматической парадигмы;

3) – Ты выполнишь его требования? – *Что же (-с-)делать!* У меня нет выхода. Видовые различия глагольной лексики, на наш взгляд, также вносят дополнительные оттенки в смысл высказывания. Так, грамматическое значение совершенного вида своим характером ("...совершенный вид сигнализирует достижение предела и, в силу этого, представляет действие в его неделимой целостности...") [Маслов 1990: 83] указывает на более высокую степень безысходности положения субъекта речи, решимости поступить именно так, а не иначе, так как действие, подразумеваемое под словом *сделать*, достигнув своего предела в процессе обдумывания, не получило

одобрения со стороны субъекта речи (говорящий пришел к выводу, что ничего сделать в данной ситуации невозможно). Значение совершенного вида подчеркивает окончание обдумывания и отсутствие каких-либо реальных намерений действовать в целях преодоления существующих препятствий. Значение несовершенного вида благодаря своей специфике ("...несовершенный вид нейтрален к признаку достижения предела и к признаку целостности; во многих случаях он указывает на действие, лишь в перспективе направленное к пределу или вовсе не предусматривающее предела...") [Маслов 1990: 83] указывает на незавершенность процесса обдумывания (действие не достигло своего предела), хотя субъект речи склоняется к тому, что вариантов выхода из этой ситуации у него нет и надо примириться. В связи с этим данный член видовой парадигмы выражает меньшую степень безысходности продуцируемого утверждения.

В применении термина "синтаксическая парадигма" **К** мы вкладываем понимание парадигмы как ряда внутривидовых преобразований. Здесь "...обнаруживается существование более высокого уровня лингвистической формы, чем уровень простого морфологического описания" [Уорс 1962: 682]. Введение в синтаксис понятия парадигматических рядов отражает стремление выйти за рамки синтагматики и представляет попытку применения эквивалентности к синтаксическим сочетаниям [Арутюнова, Климов, Кубрякова 1964: 279].

К синтаксической парадигматике **К** целесообразно отнести все случаи образования оппозиций в синтаксической схеме всего предложения. В предложении синтаксическую парадигму составляют видоизменения, связанные с выражением категорий объективной модальности, синтаксического времени и синтаксического лица: – *Где мне [нам, тебе, ему, ей, им]!*; – *И не подумаю (не подумал бы)!*; – *И не подумаю (-ет, -ем, -ют)!* и др. Например: 1) [Мамаева:] Будет вам делами-то заниматься! Что бы с молодыми дамами полюбезничать! А то сидит в своем кабинете! Такой нелюбезный старичок! [Крутицкий:] *Где уж мне!* Был конь, да уездили! (А. Островский. На всякого мудреца...); Ср.: [Гасв:] Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слышала? [Любовь Андреевна:] *Где тебе!* Сиди уж... (А. Чехов. Вишневый сад); Ср.: [Анна:] Злой он человек, жестокий. Ежели что – погубит тебя. [Демчинов:] *Где ему...* (Маллар. Канун грозы); Ср.: – А не фетишист ли ты, майор? – *Г-где уж нам?* (Ю. Семенов. Петровка, 38). Данная **К** во всех своих формах функционирует с общим значением "отрицания": она выражает отрицание возможности сделать что-либо или способности к какому-либо действию. Местоименный компонент указывает на субъекта действия, поэтому изменение его формы способствует выражению дополнительных компонентов смысла данной **К**. Это подтверждается и возможностью присоединения к нему своеобразного приложения, например: – Такого же ни одна истинная женщина не полюбит, тем более не захочет, чтобы он ее украл. ...Нет, куда *ему, Брусенкову...* (С. Залыгин. Соленая падь);

2) – А в госпиталь, может, все же съездите, как вас мать просила? – сказал "папочка". – *И не подумаю!* ("нет..." → "не съезжу..." → изъяснит. накл. буд. вр.) (К. Симонов. Солдатами не рождаются); Ср.: – Если я попросил бы тебя, ты помог бы мне? – *И не подумаю бы!* ("нет..." → "не помог бы..." → сослагат. накл.). Некоторые **К** формально способны выражать различное отношение содержания высказывания к действительности, что заставляет периферию семантики таких **К** трансформироваться вместе с изменением их формы.

В основе словообразовательной парадигмы находится система морфем одной части речи в их отношении друг к другу в смысловых планах. План словообразовательной парадигматики **К** сосредотачивается в варьирующихся словах-компонентах по аффиксам-коррелятам, например: – *Завтра в восемь!* – *Как скажете!* ("согласие, подтверждение..."); Ср.: – *Вещи в номер!* – *Как прикажете!* ("согласие, подтверждение..."). Данные словообразовательные корреляты выражают стилистические различия в использовании **К** в целом, что придает особую смысловую окраску таким единицам (первый член оппозиции является нейтральным по употреблению,

второй – свойствен преимущественно речи обслуживающего персонала гостиниц, ресторанов и т.п.), а их ненормативное употребление – повышенную выразительность, например: – *Мам, подай книгу!* – *Как прикажет!* ("согласие + прония...").

Следующие словообразовательные формы (– *Жди!* и – *Дождись!*) различаются не оттенками смысла, а лишь стилистической окраской: первая нейтральна, вторая стилистически маркирована по отношению к разговорному стилю речи. Грамматическое значение возвратной частицы –*ся* в данном случае нейтрализовано: – *Он поможет мне?* – *Жди! Когда он помогал?!* ("нет..."); Ср.: – *Думаю: повысили его, что ли?!* – *Дождись, повысят!* Скорей повесят. – *Ха-ха-ха!*.. ("нет...") (В. Шукшин. Позови меня в даль светлую).

Таким образом, грамматические и словообразовательные формы **К** способны организовываться в парадигматические ряды, члены которых выражают различные оттенки значения.

Морфологическая, синтаксическая и словообразовательная парадигма **К** может также складываться из нейтрализации грамматических и словообразовательных значений ее членов, что представляется более естественным и логичным по отношению к нечленным синтаксическим построениям, коими являются **К**. Данные виды парадигматики основываются на нейтрализации значения морфемы. Такую парадигму можно назвать *незначимой*. По своему характеру члены подобного ряда, по сути, функционируют в роли вариантов, под которыми мы понимаем "...разные проявления одной и той же сущности, напр. видоизменения одной и той же единицы, которая при всех изменениях останется сама собой" [Солнцев 1990: 80].

К морфологической незначимой парадигме следует отнести все случаи нейтрализации грамматического значения у лексических компонентов **К**: – *И разговора(-у) быть не может!*, – *На-ка(-ся) выкуси!* и др. Например: – *Отдай немедленно записку!* *На-ка выкуси!* ("нет..."); Ср.: *Антип лезет за пазуху, вынимает треугольный конверт. От Тани. "Жду в условленном месте. Т." На-кася выкуси!* В деревню я больше не ходок ("нет...") (М. Колесников. Розовые скворцы). Как видим, грамматическое значение возвратного залога во втором примере не выражает свойственного ему значения: оно нейтрализовано. Соответственно присутствие возвратной частицы в составе одного из компонентов **К** никак не отражается на значении последней в целом.

В рамках синтаксической парадигматики **К** мы рассматриваем примеры нейтрализации оппозиций в синтаксической парадигме всего предложения: – *Ничего не скажешь (нельзя сказать)!* и др. Например: – *Хороша погода!* – *Ничего не скажешь!* (буд. вр.); Ср.: – *Он парень грамотный!* – *Ничего нельзя сказать!* (неопр. форма). Несмотря на то, что глагольная лексема, которая в аналогичных членимых предложениях выполняет роль сказуемого, представлена в этих примерах в различных морфологических формах, значение последних никак не влияет на изменение семантики **К**.

В основе словообразовательной незначимой парадигмы находится система морфем одной части речи, смысловые планы которых совпадают, например: – *Конечно, несчастье велико; в одно время, что называется, умер зять и с сестрой паралич; но, Перепетюя Петровна, нужна покорность... Что делать!* ("согласие, примирение...") (Ф. Писемский. Тюфяк); – *Мне здесь, признаться, будет лучше, чем в Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну да что поделаешь!* ("согласие, примирение...") (К. Паустовский. Старый челн). Такие словообразовательные корреляты **К** – это члены парадигматических рядов, которые претерпели процесс семантической нейтрализации.

Как показал анализ **К**, грамматической и словообразовательной парадигмой обладают в основном те из них, которые включают в свой состав глагол, местоимение и существительное.

Наличие ряда форм у таких **К** обусловлено конкретными причинами. Во-первых, их связью с производящей основой (членимым предложением), в составе которой соответствующий лексический компонент либо вся синтаксическая конструкция имеют полную парадигму. Эта связь достаточно четко и явно ощущается, так как большинство из подобных предложений может употребляться как в форме нечленимого, так и членимого высказываний без каких-либо структурных изменений либо с незначительными трансформациями, например: – А вот кто хорош, так это бабушка – умная, рассудительная женщина, *ничего не скажешь* ("подтверждение") (Г. Николаева. Жатва); Ср.: – А если я скажу ему про тебя? – *Ничего не скажешь!* Ты ведь не такой глупый ("ничего не скажешь").

Во-вторых, стремлением говорящего максимально детализировать сообщаемую информацию в связи с конкретными условиями коммуникации, например, желанием уточнить особенности речевой ситуации и отметить характер взаимоотношений между собеседниками (– *Не скажи!*, – *Не скажите!*) либо другие детали (– *И не подумаю(-ем, -ют, -ет)!*).

В-третьих, необходимостью точно установить отношение содержания высказывания к конкретному временному отрезку объективной действительности, например: – Ты сможешь? – *И разговора быть не может!* Когда я тебе отказывал? ("да"); Ср.: – Ты бы помог в трудную минуту? – *И разговора быть бы не могло!* Конечно! ("да"); Ср.: – Ты сможешь, если мне надо будет? – *И разговора не будет!* Как же я могу тебе отказать? ("да").

В-четвертых, существующей в языке вариативностью некоторых грамматических форм, например: – Ты сможешь? – *И разговора(-у) быть не может!* ("нет"); – Он сам справится? – *Жди! Дождись!* ("нет...").

В-пятых, безразличием **К** к характеру грамматического значения отдельных ее лексических компонентов, которое является их специфическим, но не абсолютным свойством. В результате несколько грамматических значений в рамках какой-либо грамматической категории могут оказаться синонимичными на основе нейтрализации их содержания, например: – Ты успел? – *Какой(-ое) там!* ("нет"). Формы мужского и среднего рода в данном случае оказываются синонимичными, так как грамматическая категория рода вопросительного местоимения незначима в отношении предмета речи в силу нечленимого характера **К**. На уровне же производящей основы **К** форма рода слова *какой* становится грамматически и семантически значимой. Такая конструкция может иметь предметный характер (– Ты нашел работу? – *Какая там работа!* Разве сейчас так быстро найдешь работу? = "нет, не нашел...") либо оценочный (– Ты нашел работу? – *Какая там работа!* Сидеть бумажки переключивать! = "плохая, неинтересная работа...").

Нейтрализация содержания отдельных грамматических значений в рамках грамматической категории может сохраняться в некоторых случаях даже на уровне производящей основы **К**, когда предмет речи назван не существительным, а другой частью речи, например: – Ты успел? – *Какой(-ое) там успел!* ("не успел..."); – Это красивая картина? – *Какой(-ое) там красивая!* ("не красивая..."); – Так не горячо? – *Какой(-ое) там не горячо!* ("горячо...") и т.п. Производящая основа **К** в данном случае представляет собой нечленимое предложение с понятийной семантикой.

Парадигматический ряд **К**, как правило, включает в свой состав два-три члена. Иногда такой ряд может оказаться достаточно протяженным, например: – *Что (же) делать (сделать, сделаешь, поделять, поделяешь, будешь делать)!*

Таким образом, несмотря на отсутствие членности у **К**, некоторые из них все же стремятся к детализации своего содержания, указывая на дополнительные аспекты выражаемого смысла либо частично вскрывая условия и обстоятельства процесса коммуникации.

По утверждению А.А. Потебни, "...уже при самом рождении слова является в нем противоположность объективности и субъективности..." (Потебня 1993: 27). Отсюда

некоторая вариативность семантики и частичная "семантическая членимость" К обусловлена наличием в ней объективного и субъективного аспектов значения, с одной стороны, особенностью мировосприятия субъекта речи и необходимостью выразить это субъективное, индивидуализированное начало в К как и любой другой языковой единице – с другой.

В связи с анализом грамматической парадигмы ряда К и их способностью менять оттенки выражаемого смысла под воздействием изменения грамматического значения отдельных лексических компонентов, возникает необходимость сказать о наиболее употребительных "грамматических формах" К, а также о причинах преобладания одних форм над другими. По причине того, что появление подавляющего большинства парадигматических рядов связано с наличием в составе К глагольной лексики, речь пойдет о грамматических категориях глагола.

Чаще всего глагольные лексемы в таких К функционируют в форме будущего времени. На втором месте К с глаголом в форме настоящего времени. Это объясняется, по-видимому, причинами психологического порядка. Как показывают исследования психологов, людей больше всего волнуют проблемы, связанные с настоящим или будущим моментом их существования. Но немало К и с глаголами в форме прошедшего времени. Это обстоятельство не противоречит предыдущей мысли, так как, обычно, форма прошедшего времени глагола у таких К употребляется в переносном значении: она вступает в противоречие с грамматическим значением контекста, и в частности реплики-стимула, что свидетельствует об ироническом, негативном характере содержания К, которое полностью обращено в план будущего или настоящего времени, например: – Ты придешь? – *Разогнался!* ("нет...", т.е. "не приду..." – буд. вр.).

В некоторых из К с глаголом в форме прошедшего времени значение "отрицания" актуализируется также при помощи имплицитно выраженной экзистенциальной пресуппозиции, например: – Он считает, что мы все должны стоять перед ним на задних лапках. *Мало каши ел* ("несогласие, нет..." → "не будем стоять...") (Г. Матвеев. Новый директор); – Чтобы к моему приходу все убрал! – *Раскатал губы!* ("несогласие, нет..." → "не буду убирать"). В обоих примерах собеседники понимают, что факты, обозначаемые высказываниями – *Мало каши ел!* и – *Раскатал губы!* в прямом значении, не имеют никакого отношения к предмету речи, выраженному в реплике-стимуле. Поэтому они легко распознают вторичное значение данных речений.

Чуть менее продуктивной оказывается группа К с глаголом в форме повелительного наклонения. Они также используются в значении "утверждения" (позитивного или негативного). Таким образом, здесь тоже налицо асимметрия формы и содержания. Применению же данной формы (императива) обусловлено также психологическими факторами. Так, говорящий чаще всего предпочитает свою собственную точку зрения, и когда мнение собеседника совпадает с его мнением, он испытывает чувство удовлетворения, которое проявляется в большей категоричности выражаемого "утверждения" или "отрицания", например: – Людей-то нам надобно, ваше величество!.. – *Уж не говори*, Егор! Как кладовщик за сокровищем гоняюсь за человеком, а где его взять? Земля велика, а людей мало! ("да, согласие...") (А. Волков. Два брата).

Иногда категоричность, приносимая в значение К формой императива глагольной лексики, требуется говорящему для "закрытия" темы разговора, неприятной ему, например: – Что же все-таки с нами произошло? – спросил я. – Как это мы с тобой?.. (Евсеев. Чесал макушку.) – *Не говори!* Вспомнить тошно ("да, согласие...") (Б. Тихомолов. На крыльях АДД).

Оттенок категоричности тем более необходим говорящему в случае несогласия с собеседником, например: – Какой же от вас порядок? – Э, милый, *не говори!* Я-то правда староват малость, а есть у нас старичок Аким Кокишев, тот ничего, тот – бодрый старичок! ("нет...", потому что "ты не прав") (А. Волков. Два брата).

Другой пример: [Карло:] А вот я возьму и тоже тебя стукну. [Джузеппе:] Ну, ну, *только попробуй* ("нет..." + "угроза, запрет") (А. Толстой. Золотой ключик). В данной К форма повелительного наклонения глагола привносит в ее значение дополнительный смысловой оттенок: "угроза, запрет".

Крайне редки у глагольных К формы сослагательного наклонения и инфинитива, что объясняется характером их значения. Эти формы в членимых предложениях, которые потенциально выступают в качестве производящей основы К, выражают ирреальное, несуществующее действие, поэтому они не predisposed для использования в качестве утвердительных либо отрицательных высказываний, так как в этом случае не ясна позиция автора в отношении предмета речи. Те же из них, которые все же преобразуются в К, теряют значение ирреальности в момент такой трансформации и перехода в новое качество. Оно у них нейтрализуется, например: – Ты поддержал бы его в трудную минуту? – *И не подумал бы!* ("нет...") (Из разг. речи); Суд наедет, отвечай-ка; С ним я век не разберусь; *Делать нечего*; хозяйка, Дай кафтан: уж поплетусь ("согласие...") (А. Пушкин. Утопленник).

Анализ данной проблемы с точки зрения категории вида показал, что чаще всего глагольные К характеризуются наличием значения совершенного вида. Это имеет место у К с глаголами как в форме прошедшего, так и будущего времени. Возможно, значение формы совершенного вида придает ответной реплике большую уверенность, твердость при выражении утверждения или отрицания, например: – Жизнь – штука сложная. – *Что сделать!* Нужно терпеть; Ср.: – Дождя опять не обещают. – *Что делать!* Остается только надеяться.

Среди личных форм глагола формы 2-го лица наиболее распространены. Они значительно лабильнее в плане возможностей переосмысления, а также в стилистическом аспекте. Как правило, отнесенность ко 2-му лицу, то есть собеседнику, потенциально распространяется на всех. Отсюда, форма 2-го лица получает обобщенное значение, что соотнобразится с общей направленностью специфики К к нерасчлененности формы и содержания. Например, – *Скажешь(-те) (тоже)!*, – *И не говори(-те)!* и т.п.: – Нет, это не русский пароход. [...] – Может быть, военное судно? – *Скажешь!* ("несогласие...") (А. Куприн. Листрыгоны); [Зырянов:] Надо же – в первый день войны родился парень. Подгадали как раз. [Рожковой:] *Не говори!* Эх, Юрка, знал бы я, что война случится... ("согласие...") (Е. Войскунский. Субмарина).

В то же время глагольные лексемы некоторых К могут иметь формы 1-го или 3-го лица, а иногда обе, например: – Ты откажешься – повторил Алексей. – *И не подумаю*, – сказала она ("нет...") (Л. Овалов. История одной судьбы); Ср.: – Они придут? – *И не подумают!* ("нет...").

Таким образом, глагольные К чаще образуются на основе членимых предложений с глаголом-сказуемым в форме изъявительного наклонения будущего и настоящего времени, повелительного наклонения, а также совершенного вида, 2-го лица. Именно эти формы оказываются наиболее подвижными в плане переосмысления и predisposed к выражению обобщенного значения "утверждения" и/или "отрицания".

Выход за рамки парадигмы каждой конкретной К либо синтаксическое распространение К, как правило, ведет к ее разрушению и переходу в разряд членимого предложения либо к потере смысла таким высказыванием вообще. Например: 1) – "Дорожка к счастью" хороша на море, – сказал Кондратьев мечтательно. – Ну, *не скажите*. Я сам из Торжка, речушка у нас там маленькая, но очень чистая. А в заводях – кувшинки. Ах, как отлично! ("несогласие...") (Стругацкие. Полдень ХХII век); – Ах, хороша водица! – Ну, *не скажите* еще кому этого! Разве это вода! ("не скажите..."); 2) – Убери в комнате! – *Раскатал губы!* ("нет..."); Ср.: – Убери в комнате! – *Раскатываю (раскатаю) губы!* (данное высказывание вообще лишено всякого смысла). Ограничения в варьировании формы и содержания К являются одним

из средств дифференциации нечленимого предложения и соответствующего ему членимого в случае, когда они формально и функционально совпадают.

Несмотря на то, что морфема является полной уровневой единицей, т.е. обладает планом выражения и содержания, она может преобразовывать **К** только в одном направлении – парадигматически, представляя набор грамматических форм (наклонения, времени, вида, лица, числа и т.д.), свойственных конкретной **К**. Дериационные трансформации, вносящие элемент нового содержания ("Дериваты – это производные фразеологические обороты, отличающиеся от исходного фразеологизма наличием у одного из компонентов словообразовательного аффикса") [Тихонов 1967: 230] и преобразовывающие **К** в синонимичную единицу, в отношении **К**, как правило, не возможны в силу нерасчлененности ее логической структуры и лексического наполнения, а также максимальной обобщенности, абстрагированности содержания. Единственное, на что способна морфема в рамках словообразовательной парадигмы **К**, так это на изменение стилистической окраски последней. Именно поэтому словообразовательная парадигма **К** встречается редко и включает обычно не более двух членов такого рода.

Итак, парадигматика **К** имеет два основания: 1) выражение членами парадигмы различных грамматических значений, передающих различные оттенки смысла; 2) нейтрализация грамматических противопоставлений. Образование парадигматических рядов осуществляется по линии изменения зависимых и независимых (грамматически) имен по категориям рода, числа и падежа, а также глагола по категориям наклонения, времени, вида, залога, числа, рода и лица.

Во втором случае грамматические и словообразовательные формы **К** – это члены парадигматических рядов, претерпевшие процесс грамматической, а отсюда, и семантической нейтрализации (более устойчивыми в этом аспекте, т.е. менее подверженными семантической нейтрализации являются категории наклонения, времени, лица и числа, выполняющие модальную и коммуникативную функцию в предложении). Эта нивелировка обусловлена, во-первых, обобщенным характером категориального значения **К** (в нашем случае значением "утверждения" и/или "отрицания") и ее коммуникативной направленностью (по цели высказывания **К** – это повествовательное предложение). Поэтому какие бы формальные показатели **К** ни приобретала, все они чаще всего нейтрализуются и трансформируются до указанных значений. Унификации подвергается не только ядро значения **К**, но, как правило, и его периферия. Во-вторых – нечленимым характером **К**, который "обезличивает" значение отдельных словоформ, входящих в ее структуру.

В целом же парадигматика **К** связана с морфологическими, синтаксическими и словообразовательными преобразованиями и подчиняется единому механизму, суть которого заключается либо в выражении различных оттенков значения **К**, либо в снятии различительной способности отдельных грамматических или словообразовательных значений в соотносительных членах парадигматического ряда.

Таким образом, многие **К** способны иметь неполную морфологическую, синтаксическую и словообразовательную парадигмы. Это подчеркивает их связь с производящей конструкцией и соотносительность их значения со значением последней. Следовательно, многие **К** сохраняют влияние на них первичной семантики, присущей соотносимому с ними сочетанию лексем.

Относительный характер тезиса о нечленности **К** подтверждается и фактами их анализа с точки зрения проблемы лексической парадигматики, в ходе которого выясняется, что многие из **К**, кроме грамматической и словообразовательной, способны иметь и дефектную лексическую парадигму, например, – *Ни за какие блага [сокровища, посулы, коврижки] (в мире)!*, – *Надо [нужно] мне!* и др. Например: 1) – Насчет уклана-то... смотри не вяжи где. А то придут огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть. – *Нужно мне* ("отрицание возможности подобных действий...") (В. Шукшин. Космос, нервная система и шмат сала); Ср.: – А ты говорил с ней откровенно? – *Надо мне* ("нет...") (Н. Погодин. Янтарное ожерелье); 2) – Идем

со мной к брату! – *Ни за какие коврижки!* Чего я там не видела! (“нет...”): Ср.: – А если бы я вам предложил пост директора, вы согласились бы? – *Ни за какие сокровища в мире!* (“нет...”).

Более подробное рассмотрение данного вопроса – предмет отдельной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д., Климов Г.А., Кубрякова Е.С.* 1964 – Американский структурализм // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Васильева А.Н.* 1976 – Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1976.
- Валин Г.В.* 1971 – К вопросу о коммуникативных единицах // Вопросы синтаксиса русского языка. Ростов-на-Дону, 1971.
- Грамматика 1970 – Грамматика современного русского литературного языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1970.
- Ланов М.В.* 1990 – Предикативность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Ланов М.В.* 1997 – Слова-предложения // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 1997.
- Маслов Ю.С.* 1990 – Вид // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Потебня А.А.* 1993 – Мысль и язык. Киев, 1993.
- Седелъников Е.А.* 1961 – Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений // ФН. 1961. № 3.
- Солнцев В.М.* 1990 – Вариантность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Степанян И.О.* 1956 – Структурно-неоформленные (синтаксически нерасчлененные) предложения в современном русском языке, образованные из междометий, частиц и модальных слов: Дис. ... канд. филол. наук. 1956.
- Тихонов А.Н.* 1967 – О грамматических формах, вариантах и дериватах фразеологических оборотов // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1967.
- Уорс Д.С.* 1962 – Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом в русском языке // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Черемисина М.И., Колосова Т.А.* 1987 – Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.
- Шведова Н.Ю.* 1965 – Типология односоставных предложений на основе характера их парадигм // Проблемы современной филологии. М., 1965.
- Шведова Н.Ю.* 1967 – Синтаксис словосочетания и простого предложения // Основы построения описательной грамматики современного русского языка. (М., 1966) = Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967.
- Шведова Н.Ю.* 1967 – Парадигматика... // Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967.
- Barnet VI.* 1970 – Jaký je linguistický status hovorové rustiny? // CR. 1970. № 2.

© 1999 г. А.М. ЛОМОВ, Р. ГУСМАН ТИРАДО

**РУССКОЕ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И ПРОБЛЕМА ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Хорошо известный факт асимметрии языкового знака, проявляющейся в том, что одна и та же форма передает несколько значений, а одно и то же значение выражается несколькими формами [Karcevskij 1929], как уже замечено, определяет существо лингвистического анализа в целом. Последний оказывается поставленным в жесткие рамки: он может двигаться либо от формы к сигнализируемым ею значениям (формально ориентированный способ координации языковых планов), либо только от значения к репрезентирующим его формам (содержательно ориентированный способ координации языковых планов)¹. Эти способы нельзя прямолинейно расценивать по двухбальной шкале "хорошо-плохо", так как они, отвечая потребностям разных этапов единого процесса познания языка, исторически и логически предполагают друг друга [Храковский 1985].

На начальном этапе изучения какого-либо билатерального языкового объекта у исследователя нет иного пути, как подчиниться логике формально ориентированного способа, позволяющего воссоздать общую картину изучаемого фрагмента языковой онтологии, элементарная классификация которого осуществляется посредством выделения формальных образцов, обладающих определенным содержательным потенциалом. Но этот способ с точки зрения конечных результатов явно недостаточен, так как он не может скрыть внутреннюю сущность анализируемых явлений и в силу этого оставляет вне поля зрения те переходные случаи, когда внешне похожие феномены относятся – в соответствии с передаваемым ими содержанием – к разным разрядам, а внешне различные, напротив, представляют собой лишь варианты одного разряда.

Именно это обстоятельство и делает необходимым обращение к содержательно ориентированному способу координации языковых планов, который предполагает, что исследователь, основываясь на результатах, полученных в рамках формально ориентированного способа, повторит классификационную обработку эмпирического материала, имеющую на этот раз целью установление типовых содержательных схем, выраженных разными формами, в том числе и формами, используемыми во вторичных значениях.

Приходится, однако, считать с тем, что перевод научных исследований на рельсы содержательно ориентированного способа, возможный и необходимый лишь тогда, когда формально ориентированный способ, подготовив исходные данные для нового взгляда на привычные вещи, исчерпывает свои эвристические потенции, осуществляется в различных областях языковедения отнюдь не одновременно. Если иметь в виду собственно грамматику, легко можно заметить, что в первую очередь содержательно ориентированный способ получил распространение в рамках морфологии, породив весьма основательную и продуктивную теорию функциональной морфологии

¹ В аналогичных же значениях иногда используются также не вполне корректные, на наш взгляд, термины "семасиологический способ/подход" и "ономасиологический способ/подход".

(наиболее известную у нас в версии А.В. Бондарко), благодаря которой этот раздел грамматики за последние три десятилетия сделал очень мощный рывок вперед. Аналогичный же процесс захватил (правда, несколько позднее) и синтаксис простого предложения, где пристальное внимание к языковому содержанию целиком и полностью определяет существо научного поиска наших дней.

На этом общем "семантизированном" грамматическом фоне та часть синтаксической науки, которая занимается анализом русского сложноподчиненного предложения (как, впрочем, и сложного предложения вообще), оказывается диссонирующим явлением. В течение всего XX века она опиралась в своих изысканиях исключительно на формально ориентированный способ, остававшийся, так сказать, вне конкуренции при всех переориентациях синтаксической теории, которые изменяли лишь направление "тактических ударов", т.е. ставили во главу угла разные элементы плана выражения, анализ которых в то или иное время представлялся наиболее важным для понимания сущности сложноподчиненного предложения. Первую половину столетия учение о сложноподчиненном предложении в русистике развивалось под флагом формального направления, представители которого А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон, а позднее Л.А. Булаховский и А.Б. Шапиро видели основную задачу этого учения в полном и детальном описании союзов и союзных средств. Что же касается второй половины этого столетия, она оказалась временем господства концепции Н.С. Пospelова и его сторонников (В.А. Белошапковой, Л.Ю. Максимова, С.Г. Ильенко и др.) – концепции, для которой главным было изучение структурных свойств сложноподчиненного предложения².

В настоящее время воззрения формальной школы стали уже достоянием истории. Постепенно теряет свою эвристическую ценность структурно-семантическая концепция. И тем не менее многие синтаксисты продолжают связывать свои надежды на будущее опять-таки с формально ориентированным способом, свидетельством чего может служить весьма показательная констатация М.И. Черемисиной и Т.А. Колосовой, которые считают, что актуальная перспективная задача синтаксиса сложного предложения состоит в том, чтобы "найти такие признаки организации п л а н а в ы р а ж е н и я (разрядка наша. – А.Л., Р.Г.), которые соотносились бы с какими-то особенностями организации содержательной стороны" [Черемисина, Колосова, 1987: 3].

Совершенно явная несогласованность теории сложного предложения с кардинальными тенденциями, понижывающими грамматическую науку наших дней, имеет под собой определенные основания.

Как свидетельствует исторический опыт отечественного языкознания, некоторое отставание учения о сложном предложении от учения о простом предложении вполне естественно, так как накопление необходимых знаний в первую очередь осуществляется в результате наблюдений над элементарными объектами, после чего научный анализ, обогащенный этими знаниями, обращается к объектам неэлементарным.

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в сфере синтаксиса сложного предложения вообще (не только сложноподчиненного), как это хорошо известно, занято гораздо меньше специалистов, чем в сфере синтаксиса простого предложения, что, понятно, оказывается фактором, сдерживающим темпы разработки соответствующей проблематики.

И, наконец, существен тот факт, что части сложного предложения в процессе исторической адаптации друг к другу, говоря словами Б.М. Гаспарова (сказанными, правда, по другому поводу), "подвергаются всевозможным усечениям, наращиваниям, аналогическим подменам одних компонентов в их составе другими, контаминациям, метатезам... редуцируются до едва намеченных мерцающих намеков" [Гаспаров 1996:

² Вне общей тенденции остаются, на первый взгляд, исследователи, сохранившие приверженность семантической классификации Ф.И. Булаева, отождествлявшего придаточные с членами предложения (А.Н. Гвоздев, авторы Грамматики-54). Однако их исходные посылки опять-таки покоились на формальных основаниях.

14]. Конечно, такого же рода процессы вполне обычны и в простом предложении, но в сложном они оказываются масштабнее и – самое главное – частотнее. А это неизбежно ведет к тому, что закономерности, действующие в сложном предложении, пестрят множеством исключений, дезориентирующих исследователей.

Но для нас в данном случае важны не причины, обусловившие возникновение сегодняшней ситуации в учении о сложном предложении, а ее последствия, рассматриваемые с точки зрения характера концептуальных "накоплений" второй половины нынешнего столетия.

Не будем отрицать очевидного: последовательная и бескомпромиссная ориентация на форму как исходный пункт анализа обогатила нашу науку многочисленными тонкими наблюдениями над "материей" сложного предложения. Мы теперь знаем гораздо больше, чем наши предшественники, о системе показателей связи между частями сложного предложения, о принципах соположения этих частей, о закономерностях порядка их следования и т.д.

Но, с другой стороны, без преувеличения можно сказать, что у нас практически не прибавилось знаний о плане содержания сложного предложения, и мы продолжаем довольствоваться при описании таких ключевых понятий, как сочинение, подчинение и бессоюзие, если несколько перефразировать известное выражение А.М. Пешковского, "полуосознанными или почти неосознанными" представлениями. Эвристическая ценность этих представлений настолько незначительна, что авторы научных работ и учебных пособий для вузов и школ в своих дефинициях разрядов русских сложных предложений об их содержательных свойствах упоминают лишь вскользь и в самой общей форме, предпочитая отсылать читателя к типовым формальным приметам, причем так, будто их содержание – вещь вполне очевидная и не нуждающаяся в комментариях: "Сложносочиненными называются предложения, части которых соединены сочинительными союзами"; "Сложноподчиненными называются предложения, части которых соединяются подчинительными союзами и союзными словами"; "Бессоюзными называются такие сложные предложения, части которых объединяются без посредства союзов, при помощи иных синтаксических средств". (Мы намеренно не даем конкретных ссылок, поскольку такие определения с незначительными вариациями в формулировках можно найти практически в любой работе по синтаксису сложного предложения.)

Неопределенность исходных, основополагающих понятий, сведенных к простому указанию на репрезентирующую их форму, является причиной того, что при описании конкретных видов сложных предложений, где исследователь уже не может ограничиться простым перечислением формирующих их синтаксических средств и вынужден обратиться к их содержательным свойствам, целиком и полностью стираются границы между смыслом (содержанием, выраженным совместно языковыми и неязыковыми средствами) и языковой семантикой (элементами смысла, присвоенными и освоенными языком), о чем свидетельствует совершенно беспорядочное употребление соответствующих терминов в синтаксической литературе. В свою очередь, размытость границ между смыслом и языковой семантикой приводит к парадоксальному, на первый взгляд, но в действительности глубоко закономерному результату: лингвистический анализ, изначально ориентированный на форму, в конечном счете игнорирует эту форму и ее собственно языковое содержание! Вот два ярких (хотя и взятых буквально наугад) примера.

Пример первый. Авторы Грамматики-80 при интерпретации сложноподчиненного предложения с придаточным условия *Если я себе нравлюсь, значит, пел хорошо* констатируют, что "та часть, которая представлена говорящим как умозаключение (вывод, следствие), ф а к т и ч е с к и (разрядка наша. – А.Л. Р.Г.) называет реальную причину того, о чем сообщается в части, оформленной условным союзом", обосновывая свой вывод ссылкой на возможную трансформацию условного предложения в причинное: *Я себе нравлюсь, потому что пел хорошо* [Грамматика... 1980, II: 573]. Подобное рассуждение, конечно же, имеет под собой определенные

интуитивные основания, но из них следуют совсем не те выводы, которые были сделаны. Как давно уже замечено язык способен "фотографировать" один и тот же фрагмент действительности под разными углами зрения, для чего он и располагает наборами формальных образов с разной семантической заданностью. Естественно, эти языковые "фотографии" можно и нужно сопоставлять: такое сопоставление много проясняет для лингвиста. Но толковать одну "фотографию" через другую, избрав последнюю в качестве своеобразного эталона – значит заранее отказаться от учета собственно языкового содержания объясняемого феномена (в нашем случае от учета того, что в предложении *Если я себе нравлюсь, значит, мне хорошо* названо условие, реализация которого позволяет сделать определенные выводы, и ничего более!).

Пример второй. Еще А.М. Пешковский, рассматривая предложение *Была невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе со своей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага*, отметил, что в нем "логически главный факт рассказа выражен придаточным предложением, а побочный (погода) – главным и что союз *когда* здесь является инверсивным, "переворачивающим факты" [Пешковский 1956: 491]. Это наблюдение позднее, в 50-е годы нашего столетия, послужило А.Н. Суровцеву основанием для ввода особого понятия, которое он назвал обратным подчинением [Суровцев 1956]. Обратное подчинение А.Н. Суровцев и его сторонники видят в тех сложноподчиненных предложениях, где соответствующие придаточные "не определяют главное предложение, а сами определяются им, т.е. в них по с м ы с л у (разрядка наша. – А.Л., Р.Г.) главное предложение зависит от придаточного, поясняет его..." [Федоров 1982: 14]. Но это означает, что нашим лингвистическим поводом и здесь оказывается все тот же смысл, вступающий в противоречие с семантикой грамматических средств, которые однозначно "метят" подчинение в сложном предложении как явление зависимости придаточного от главного.

Число примеров подобного рода при желании легко умножить. Но в этом нет необходимости, так как вывод ясен и без того. Мы буквально обречены на блуждание в потемках, до тех пор пока не будут определены с надлежащей точностью основные, исходные понятия синтаксиса сложного предложения. А это возможно лишь при условии нашего перехода на позиции содержательно ориентированного способа координации языковых планов, т.е. перенесения лингвистических дискуссий в сферу языковой семантики, что, естественно, потребует выработки целой серии гипотез, обладающих разной степенью эвристической мощности, относящихся к разным фрагментам сложного предложения, конкурирующих друг с другом (в силу того, что они будут акцентировать внимание на разных аспектах одной и той же проблемы), но ни в коем случае не игнорирующих форму (разнооформленные семантические объекты, как известно, могут быть и тождественными, и всего лишь изоморфными!).

Предлагаемая читателю статья находится в русле именно этих устремлений и представляет собой попытку содержательной интерпретации русского сложноподчиненного предложения (что, конечно, не исключает возможности распространения отдельных ее констатаций на другие индоевропейские языки). В основе статьи лежит гипотеза, в соответствии с которой различия между подчинением, сочинением и бессоюзным соединением следует искать в используемых ими способах организации информации.

Подчинение предполагает в к л ю ч е н и е информации, передаваемой придаточным, в главное (*Я знал, что ты придешь*) или, наоборот, информации, сообщаемой главным предложением, в придаточное (*Коля опоздал, из-за чего они поссорились*), что и делает механизм сложноподчиненного предложения "неразъемным" (кроме случаев автономного употребления придаточных, например в условиях редукции либо предиката оценки: *Если бы дождик пошел!*, либо перформатива со значением требования: *Чтобы завтра принес книги!*).

Сочинение упорядочивает информацию на основе простого с о п л о ж е н и я двух

и более информационных блоков, интерпретируемых как одноранговые (но не обязательно как равноправные!) феномены (*Море глухо роптало, и волны бились о берег бешено и гневно*), в результате чего части сложного предложения – репрезентанты этих блоков сохраняют способность к автономному употреблению (за исключением тех случаев, когда этому препятствуют технические условия, например, наличие повторяющихся союзов: *Или дождь пойдет, или снег выпадет*).

Различаясь по способам организации информации, подчинение и сочинение в то же время оказываются однородными явлениями, для которых одинаково обязательна вполне определенная и достаточно строгая спецификация указанных способов, находящая соответствующую вербальную поддержку. И в этом своем качестве подчинение и сочинение противопоставляются бессоюзно, у которого (как и у немаркированного члена грамматической привативной оппозиции!) способ информационной организации на самом, так сказать, верхнем (инвариантном) уровне является нехарактеризованным (неквалифицированным) и лишь в конкретных (вариантных) условиях осознается либо как аналогичный (но не тождественный!) способам, работающим в рамках подчинения и сочинения (*Слышу: меня зовут; Лето припасает – зима поедает*), либо как отличный от них (*Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех*). Такого рода инвариантная нехарактеризованность бессоюзия (точнее – свойственного ему способа) обусловлена тем, что необходимые сведения об организации информации в сложном предложении коммуниканты получают здесь не прямым путем (от специальных словесных знаков), а косвенным: "вычитают" их с учетом реальных отношений, существующих между сопоставляемыми ситуациями, различных пресуппозиций, сопутствующих речевому акту, и, наконец, опыта человеческого сознания – опыта, представляющего собой, по словам М. Мамардашвили, сумму "преданных человеческих требований к миру – к тому, каким он может или должен быть, чтобы о нем вообще что-либо можно было сказать или жить в нем" [Мамардашвили 1992: 87]. Правда, в случае неоднозначности вариантного осмысления характера информационной организации того или иного бессоюзного сложного предложения в ткань последнего вводятся всевозможные конкретизаторы, в частности, указательные местоимения и наречия, частицы, устоявшиеся сочетания слов и т.д. Но они, конечно, отнюдь не являются рядоположными с союзами и союзными словами, поскольку не определяют сущности способа организации информации (в связи с чем, например, указательные местоимения и наречия типа *тогда, поэтому, из-за этого* и им подобные могут одинаково использоваться и в сложносочиненном, и в бессоюзном сложном предложении). Вполне понятно, что отсутствие единообразной квалификации отношений в бессоюзном сложном предложении ведет к тому, что степень спаянности частей последнего оказывается неодинаковой. В одних случаях они неспособны к автономному употреблению (*Я верю: ты ее не забудешь*), а в других, наоборот, легко отчленяются друг от друга (*Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела*).

Говоря о способах организации информации, нельзя не считаться с фактом противоречивости терминологии, действующей в рамках учения о сложном предложении. В самом деле, поскольку термины "союзная связь" и "бессоюзная связь" покоятся на формальных основаниях, а термины дифференцирующего характера "подчинение" и "сочинение" отсылают к некоторому содержанию (пусть даже раскрываемому предельно общо – путем указания на соответствующие союзные средства), обнаруживается, что последний член привычной для нас триады "подчинительная связь – сочинительная связь – бессоюзная связь" явно нерядоположен с двумя предыдущими. Ссылка на то, что подчинение и сочинение являются разновидностями союзной связи, в целом противопоставляемой связи бессоюзной, положение не спасает: нерядоположенность не только не преодолевается, но даже усиливается. Сложившаяся ситуация требует такого упорядочения терминологии, при котором исключалось бы смещение разных аспектов одного и того же явления. Можно, например, выделить три

в и д а связи в сложном предложении – подчинительную, сочинительную и нулевую (термин ранее уже предлагался), имея в виду, что они различаются в плане содержания тем, какой с п о с о б организации информации (характеризованный или нехарактеризованный) реализуют, а в плане выражения тем, какой формальный п р и е м связи (союзный или бессоюзный) используют.

Было бы, конечно, очень заманчиво сделать этот терминологический вопрос (за которым скрывается целая серия вопросов теоретического порядка) предметом специального обсуждения. Но это потребовало бы детального рассмотрения сразу всех трех способов организации информации, для чего узкие рамки журнальной публикации просто не оставляют места. Поэтому мы вполне сознательно ограничимся констатацией в о з м о ж н о г о решения указанного вопроса и перейдем к непосредственному описанию включения – способа информационной организации, определяющего существо сложноподчиненного предложения.

Включение, как уже отмечалось, двувариантно: информация придаточного включается в информацию главного (включение-1) или информация главного включается в информацию придаточного (включение-2). Это означает, что придаточное всегда остается в вассальной зависимости от главного, но по разным причинам: либо потому, что оно о б я з а н о восполнить информационную недостаточность главного, либо потому, что оно в ы н у ж д е н о усваивать информацию, передаваемую главным предложением.

При включении-1 главное предложение вбирает в себя информацию придаточного полностью и без остатка: *Я полагал, что он меня не помнит; На ноги старуха натанула одеяло, чтобы не было видно их ужасающей худобы.* Включение-2 в этом плане неоднородно. Оно может опираться и на всю информацию главного: *По утрам на пожелтевшей траве лежал имей, отчего зелень казалась сизой,* и на отдельно взятые ее фрагменты: *Я знаю песни, которые западают в душу не сразу.*

Включение-1 и включение-2 используют принципиально разные средства связи: для первого разрешены только союзы, для второго – только лексические элементы с анафорическим значением, традиционно называемые союзными словами. Никакого компромисса эта закономерность не терпит.

Включение-1 допускает более или менее свободное употребление коррелятов: *бесспорно лишь то, что большинство поэтических слов связано с природой; Когда сойдет вода и откроется пойма, то для скворцов начнется праздник; Так как мы вышли довольно поздно, то пришлось идти до сумерек.* Напротив, при включении-2 корреляты – редкое и несистемное явление. Они возможны главным образом в тех случаях, когда придаточное "осваивает" не всю информацию главного, а лишь отдельно взятый ее фрагмент, в связи с чем их обыкновенно используют в выделительно-уточняющем значении: *Вскоре они добрались до того леса, о котором им говорил проводник; Вода оставалась только в тех местах, где была низинка.*

Включение-1 и включение-2 реализуют разные закономерности, регулирующие порядок расположения частей сложного подчинения. Включение-1 в принципе решает постановку придаточной части перед главной, после нее и внутри ее. Для включения-2 характерна по преимуществу постпозиция придаточного. Интерпозитивное положение могут занимать лишь придаточные, содержащие отсылку к фрагменту главного предложения (например, придаточные определительные). Препозиция придаточного включению-2, как правило, противопоказана (из-за анафорического характера связующих элементов).

И, наконец, включение-1 и включение-2 различаются характером постановки вопросов: первое предполагает постановку вопроса от главной части сложноподчиненного предложения, второе – от придаточной части. Ср.: *Катя знала, что он обязательно появится* (Что знала Катя?), с одной стороны, и *Брат промолчал, что совершенно расстроило мать* (Что расстроило мать), с другой. Правда, эта закономерность, на первый взгляд, остается нереализованной в сложноподчиненных предложениях с

придаточными типа *Мы сразу же заметили мальчика, который сидел у окна; Дом, где мы поселились, стоял на краю деревни; В тот вечер, когда они гуляли по набережной, Николай впервые по-иному взглянул на Катю*. По традиции считается, что к ним должен ставиться вопрос со словом какой (Каков мальчик? Какой дом? В какой вечер?), и это как будто дает основания отнести все рассматриваемые придаточные к разряду определительных. Но подобный подход совершенно игнорирует общую тенденцию, действующую во всех без исключения сложноподчиненных предложениях с анафорическими союзными словами: вопрос в них предполагает выяснение реального содержания именно этого слова. Если же эту тенденцию учесть, корректными следует признать только вопросы: Кто сидел у окна? Где мы поселились? Когда они гуляли по набережной? Будучи совершенно разными по своему характеру, эти вопросы как нельзя красноречивее свидетельствуют о неоправданности попыток свести указанные предложения в один классификационный разряд.

Совершенно очевидно, что сложноподчиненные предложения, основанные на разных вариантах включения и, в силу этого, обладающие принципиально разными свойствами, должны быть терминологически разведены. Мы будем называть придаточные, образованные на основе включения-1, а в т о с е м а н т и ч н ы м и (имея в виду их самодостаточность с точки зрения передаваемой информации), а придаточные, базирующиеся на включении-2, с и н с е м а н т и ч н ы м и (поскольку их информация недостаточна без учета информации главного предложения).

Попутно встает и еще один терминологический вопрос, необходимость решения которого можно понять лишь на широком историко-лингвистическом фоне.

Традиционно синсематичные придаточные в сложных предложениях типа *Брат промолчал, что совершенно расстроило мать; По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой* трактовались как присоединительные и не отграничивались с достаточной четкостью от придаточных в предложениях типа *Он плохо понимал собеседника, да и неинтересно ему было, о чем тот говорит; Я прислушался: до меня донесся приглушенный крик*. Основание для их сближения усматривалось в том, что все они "объединяются единством функционального употребления в речи (они передают мысль, возникшую после основного высказывания), прерывистым характером связи, которая создается особой интонацией после длительной паузы" [Валгина 1991: 275]. Что же касается различий между ними, считалось, что они определяются исключительно тем, в сфере какой синтаксической связи присоединение реализуется – в сфере подчинения, сочинения или бессоюзия [Грамматика... 1954, II, 2: 257–268, 352–353, 400–402].

В 70-е года такое понимание существа дела для целого ряда исследователей оказалась неприемлемым. Не отказываясь от мысли, что предложения, подобные упомянутым (*Брат промолчал, что совершенно расстроило мать; По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой*), являются присоединительными, они вместе с тем подчеркивали специфику последних и акцентировали внимание на том, что эти предложения предполагают употребление в придаточном специального союзного средства, которое "в обобщенном виде как бы вмещает содержание того, о чем говорится в первой части" [Формановская 1978: 25]. Именно в этой связи и появляется термин "сложные предложения с присоединительно-вмещающим значением", который, впрочем, распространялся не только на рассматриваемые подчинительные конструкции, но и на сочинительные (*Сегодня редактор улыбался, и это было хорошим признаком*), и бессоюзные (*Сегодня редактор улыбался – это было хорошим признаком*).

Выход в свет Грамматики-1980 знаменовал собой появление новой трактовки интересующих нас предложений, отразившейся в самом их наименовании: "предложения, в которых относительное слово отсылает к предикативному центру главного предложения". Именно здесь достаточно последовательно проведена мысль, что относительное местоимение не только ориентировано на предикативный центр

главного предложения, но и "является средством его повторного воспроизведения в придаточном" [Грамматика... 1980, II: 527]. И самым этим фактом в имплицитном виде были отвергнуты представления о связи рассматриваемых структур с присоединением.

В этой же работе был поставлен вопрос о классификации названных предложений. Последняя, однако, оказалась предельно общей, поскольку позволяет различать лишь два их типа: распространительно-изъяснительные (с союзным словом *что* в разных падежных и предложно-падежных формах) и распространительно-обстоятельственные (с наречиями *почему*, *отчего*, *зачем* и предложно-падежными формами местоимений *из-за чего*, *вследствие чего*, *ввиду чего* и т.д.). От дальнейшей дифференциации распространительно-изъяснительных и распространительно-обстоятельственных предложений авторы Грамматики-1980 уклонились, и понятно – почему.

Существующая ныне классификационная практика основывается на учете функции придаточного, в результате чего систематизируются не сложноподчиненные предложения как таковые, а именно придаточные (ср. повсеместно употребляемые термины "предложения с придаточными изъяснительными", "предложения с придаточными места", "предложения с придаточными причины" и т.д.). Но этот классификационный прием приложим только к предложениям с автосемантическим придаточным. Напротив, в сфере предложений с синсемантическими придаточными он не работает. В самом деле, как квалифицировать, например, придаточное в предложении, неоднократно упоминавшемся нами: *По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой?* Назвать его причинным у нас нет ровно никаких оснований, поскольку причина выражена в главном, на что недвусмысленно указывает анафорическое союзное слово.

Между тем выход из терминологического тупика, если принять предлагаемое разграничение автосемантических и синсемантических придаточных, достаточно прост. Можно говорить о сложноподчиненных предложениях, выражающих изъяснительные, условные, уступительные и т.д. отношения (или с некоторой долей терминологического упрощения – о сложноподчиненных изъяснительных, условных, уступительных и т.д. предложениях), последовательно оговаривая характер придаточного, т.е. отмечая, является оно автосемантическим или синсемантическим. А это значит, что приведенное выше в иллюстративных целях предложение допустимо квалифицировать как сложноподчиненное причинное с синсемантическим придаточным.

Нетрудно заметить, что терминологические вопросы увели нас в сторону от основной сюжетной линии статьи и в какой-то мере нарушили композиционную стройность последней. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется ценным приобретением: указанные вопросы вплотную поставили нас перед необходимостью учета явления автосемантии-синсемантии придаточных при систематизации русских сложноподчиненных предложений. В самом деле, есть все основания подразделить последние на две неравновеликие группы. Первую группу, немногочисленную по объему, образуют предложения, в которых придаточное является только автосемантическим (придаточные качества, меры и степени признака, сравнительные и сопоставительные) или только синсемантическим (придаточное определительное). Ко второй группе отходит подавляющее большинство сложноподчиненных предложений, в которых придаточное может быть и автосемантическим, и синсемантическим, хотя, конечно, отношения этих придаточных не остаются тождественными в сложноподчиненных предложениях разных разрядов. Справедливости ради следует сказать, что многие из относящихся сюда фактов (хотя, конечно, и не все) давно уже отмечены исследователями, в частности, А.К. Федоровым [Федоров 1982]. Однако, поскольку они не могли получить надлежащей интерпретации в рамках концепции обратного подчинения, которую эти исследователи разделяли, нам придется остановиться на них по возможности подробнее.

С максимальной степенью свободы два вида придаточных реализуются в сложноподчиненных причинных предложениях, о чем свидетельствует факт существования большого набора коррелирующих союзов и союзных слов: *потому что* – *почему*,

оттого что – отчего, благодаря тому что – благодаря чему, вследствие того что – вследствие чего, в результате того что – в результате чего, в силу того что – в силу чего, в связи с тем что – в связи с чем и т.д. Причинные предложения с синсемантическими придаточными, вводимыми указанными союзными словами, получили к настоящему времени широкое распространение во всех книжно-письменных стилях русского языка и даже обнаруживают тенденцию к выходу за их пределы. Более того, эти предложения сплошь и рядом оказываются в отношениях обратимости с предложениями, имеющими в своем составе придаточные автосемантические (чему в немалой степени содействует тот факт, что разница между ними обнаруживается уже на уровне союзных средств): *Из-за того что он заболел, ему пришлось пропустить несколько занятий кружка – он заболел, из-за чего ему пришлось пропустить несколько занятий кружка; Вследствие того что прошли сильные дожди, дороги оказались непроезжими – Прошли сильные дожди, вследствие чего дороги оказались непроезжими.* Конечно, определенные сдерживающие факторы здесь дают о себе знать, но они немногочисленны (ср. невозможность обратимости при выражении причинно-аргументирующего значения).

Напротив, в сложноподчиненных предложениях, выражающих условные, уступительные и целевые отношения, картина оказывается прямо противоположной, потому что у них, во-первых, наборы коррелирующих союзов и союзных слов невелики и несистемны (*при том условии что – при условии чего, вопреки тому что – вопреки чему, для того чтобы – для чего*), во-вторых, употребление предложений с синсемантическими придаточными ограничено преимущественно сферой официально-деловой речи, в-третьих, обратимость предложений с придаточными двух видов сплошь и рядом предельно затруднена или даже невозможна, поскольку нередко синсемантические придаточные относятся не ко всему главному предложению, а к его фрагментам. Ср.: *Здесь запланировали построить завод, для чего уже завезены необходимые материалы.*

Сложноподчиненные временные предложения являют собой образец того, насколько сложными могут быть в их составе отношения автосемантического и синсемантического придаточных. Это в значительной степени связано с тем, что указанные придаточные используют по преимуществу (хотя и не исключительно) одни и те же союзные показатели, попеременно меняющие свой статус, т.е. функционирующие то как союз, то как союзное слово. Сравним два предложения: *Когда еще стояла глубокая ночь, мы начали собираться на рыбалку и Еще стояла глубокая ночь, когда мы стали собираться на рыбалку.* Обратимость здесь налицо, но она наталкивается на два жестких ограничения. Во-первых, ситуация синсемантического придаточного, вводимого союзным словом *когда*, должна быть одновременной с ситуацией главного. Для автосемантического придаточного с союзом *когда* это условие необязательно, так как выражаемая им ситуация вполне может предшествовать ситуации главного: *Когда кончился спектакль, они направились за кулисы*, и здесь, понятно, обратимость не допустима. Во-вторых, реализация синсемантического придаточного возможна только в тех случаях, когда ситуация, обозначенная в главном предложении, способна без помощи специального темпорального показателя обеспечить квантование времени: *Было еще светло, когда охотники подъехали к сторожке! = Охотники подъехали к сторожке за светом!*; *Они уже садились в вагон, когда на перроне показалась Маша! = Маша показалась на перроне во время посадки в вагон!* Если же ситуация главной части квантование времени обеспечить не в состоянии, придаточное в соответствующем сложноподчиненном предложении может быть только автосемантическим. Ср.: *Нам было очень холодно, когда мы пробирались по зимнему лесу.* Положение в значительной мере осложняется еще и тем, что союзное слово *когда* в составе синсемантического придаточного нередко содержит отсылку не ко всей ситуации главного (как в рассмотренных случаях), а к отдельно взятому компоненту этой ситуации, вы-

раженному существительным или наречием с темпоральной семантикой: *Он хорошо помнит тот день, когда впервые увидел ее; Ночью, когда все спали, слышались осторожные шаги.*

Несколько иной вид имеют интересующие нас отношения в тех случаях, когда в сложноподчиненных предложениях выражается значение временной сопредельности, т.е. констатируется, что одна из ситуаций "наслаивается" на другую или же примыкает к ней без всякого временного разрыва. Формальным маркером этого значения в синсемантическом придаточном является союзное слово *как*, предполагающее обязательное употребление в главной части стандартных "сопроводителей" типа *не успел, не прошло, еще не, недостаточно, стоит, едва, только, лишь, едва лишь, только лишь*, по-разному интерпретирующих значение временной сопредельности: *Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь напал; Не прошло и получаса, как к нам явился Соснин; Только что мы уселись, как поезд тронулся; Стоит ей только показаться, как все тут же бегут к ней.* При необходимости подчеркнуть, что ситуация придаточного реализуется не только быстро, но и неожиданно для ее участников, стандартные сопроводители (*вдруг, в ту же минуту, тут же* и др.) дополнительно могут быть использованы и в придаточной части: *Только что чайник повесили над огнем, как вдруг один камень накалился и лопнул; Мы только принялись за работу, как тут же послышался звонок.* Сложноподчиненные предложения с придаточным автосемантическим в рассматриваемых условиях употребляются очень редко: *Как только гости уедут, мы сразу возьмемся за уборку.*

Наоборот, при выражении значения временной последовательности, не осложненного указанием на тесный временной контакт двух ситуаций, наиболее обычны сложноподчиненные предложения с придаточным автосемантическим. Обратимые построения с придаточным синсемантическим скорее исключение, чем правило. Ср.: *После того как они поссорились, все контакты были прерваны – Они поссорились, после чего все контакты были прерваны.*

Что же касается временного значения предшествования, оно является сферой безраздельного господства сложных предложений с придаточным автосемантическим: *Прежде чем ехать туда, я созвонился с хозяевами; Еще до того как Петр оставил службу, у него начало пошаливать сердце.*

В сложноподчиненных предложениях, выражающих локальные отношения, придаточные обыкновенно носят автосемантический характер – и тогда, когда они реализуются в независимой позиции: *Где некогда все пусто, голо было, теперь младая роца разрослась, и тогда, когда они относятся к корреляту: Там, где раньше зеленела роца, построили какой-то завод.* Синсемантические придаточные возможны лишь при условии, что союзные слова *где, куда, откуда* содержат отсылку к компоненту главной ситуации, выраженному существительным или наречием с локальной семантикой: *Поселок, где он жил, был маленький и неухоженный; Всю ночь наверху, где лежала пшеница, пищали мыши..*

И, наконец, автосемантическими и синсемантическими могут быть придаточные в сложноподчиненных изъяснительных предложениях. В качестве формального показателя связи у них используется слово *что* (в разных падежных и предложно-падежных формах), попеременно функционирующее то как союз, то как союзное слово и в силу этого обеспечивающее обратимость соответствующих предложений. Ср.: *Он был необыкновенно рад тому, что мы откликнулись на его призыв – Мы откликнулись на его призыв, чему он был необыкновенно рад; Нас позабавило, что он ничего не слышал об этом громком процессе – Он ничего не слышал об этом громком процессе, что нас позабавило.* Правда, обратимость здесь явление крайне нерегулярное, сдерживаемое целым рядом сопутствующих факторов. И даже более того, в случае употребления изъяснительных союзов *чтобы, как, будто*, не имеющих соответствий в союзных словах, синсемантическое придаточное становится вообще невозможным.

Заканчивая рассмотрение проблемы содержательной интерпретации сложно-подчиненного предложения в плане того, как она видится с позиций предлагаемого подхода, особо надо отметить, что этот подход позволяет попутно уточнить диг-вистический статус отдельных синтаксических построений, издавна являющихся предметом научных дискуссий.

Так, полемизируя с А.Н. Василенко, который вывел все предложения с относительно-вопросительным местоимением за пределы подчинения [Василенко 1965], В.А. Белошапкова предложила более взвешенное решение проблемы. По ее мнению, между относительными и вопросительными местоимениями существует значительная разница. Первые выполняют две функции: являются членами придаточного предложения и в то же время – в силу своего анафорического характера – служат показателями связи между главной и придаточной частями. Вторые, напротив, лишены анафоричности и поэтому не выражают отношений между частями сложного предложения. Отсюда следовал вывод: предложения типа *Я не знаю, куда он пошел; Ему известно, почему это было сделано*, в составе которых местоимения являются вопросительными (лучше бы сказать: косвенно-вопросительными), следует считать бессоюзными [Белошапкова 1967: 81–82]. Этот вывод с точки зрения нашего подхода представляется вполне корректным, так как такого рода предложения не имеют никакого отношения ни к включению-1, ни к включению-2.

Есть, далее, все основания учесть и поправку В.Н. Мигирова, который, говоря о традиционно выделяемом сложноподчиненном предложении с придаточным следствия, вводимым союзом *так что*, подчеркнул: "Придаточное следствие не поясняет главного предложения, наоборот, главное поясняет придаточное..." [Мигиринов 1952: 12]. Наше понимание подчинения позволяет утверждать, что предложения рассматриваемого типа организованы по способу включения-2 и являются сложноподчиненными *п р и ч и н ы м и* с придаточным синсемантическим. Здесь вопрос, как заметил в свое время А.К. Федоров [Федоров 1982: 17], может быть поставлен только к придаточному предложению, и связующий элемент *так что* выступает в роли союзного слова, которое последовательно коррелирует с причинным союзом *так как*. Ср.: *Так как мы опоздали к автобусу, нам пришлось ехать электричкой – Мы опоздали к автобусу, так что нам пришлось ехать электричкой*.

Кроме этих интерпретационных уточнений, очевидно, потребуются и какие-то другие уточнения, которые могут существенным образом изменить облик ныне принятых классификаций сложноподчиненного предложения. Но это дело будущее. От будущего же, вероятно, можно ожидать, что оно даст нам обстоятельные (не скороспело-умозрительные!) ответы на целый ряд вопросов, автоматически возникающих в связи с обсуждаемой проблематикой: Чем оправдывается существование в русском языке параллельных образований с автосемантическими и синсемантическими придаточными? Почему на одних участках системы сложноподчиненного предложения конструкции с синсемантическими придаточными не только возможны, но и активны, тогда как на других участках их вообще нет? Как действуют (и действуют ли) принципы автосемантической и синсемантической организации придаточных в других языках (прежде всего в языках, не связанных генетическим родством с русским)? и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белошапкова В.А. 1967 – Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.
Валгина Н.С. 1991 – Синтаксис современного русского языка. М., 1991.
Василенко И.А. 1965 – К вопросу о союзных и бессоюзных предложениях в русском языке // Проблемы современной филологии. М., 1965.
Гаспаров Б.М. 1996 – Язык, память, образ. М., 1996.
Грамматика... 1954 – Грамматика русского языка. Т. II. Ч. 2. М., 1954.
Грамматика... 1980 – Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
Мамадианишвили М. 1992 – Как я понимаю философию. М., 1992.

- Мизирин В.Н.* 1952 – Относительные придаточные предложения // РЯШ, 1952. № 6.
- Пешиковский А.М.* 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Суровцев А.Н.* 1956 – К вопросу об "относительных" придаточных предложениях // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. XV: Факультет языка и литературы. Вып. 4. 1956.
- Федорова А.К.* 1982 – Спорные вопросы теории сложноподчиненного предложения. Курск, 1982.
- Формановская Н.И.* 1978 – Стилистика сложного предложения. М., 1978.
- Храковский В.С.* 1985 – Типы грамматических отношений и некоторые особенности функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.
- Черемисина М.И., Колосова Т.А.* 1987 – Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1987.
- Karcevskij S.* 1929 – Du dualisme asymétrique du signe linguistique // TCLP. V. 1, 1929.

© 1999 г. В.С. СИДОРЦ

**СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ
НЕОДНОСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ
С ДЕСЕМАНТИЗИРОВАННЫМ КОМПОНЕНТОМ
В СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТЕ**

В научной литературе данная проблема не получила должного освещения. Причины этого различны. Нет основательного исследования статуса неоднословных наименований действия с десемантизированным компонентом (в нашей терминологии – вербоидов) типа *вести деятельность*, *весці дзейнасць*, *вести діяльність* в каждом из современных восточнославянских языков. Отсутствует необходимый систематизированный лексикографический материал. Не разработана методика сопоставительного изучения вербоидов в близкородственных языках, а то, что получило определенное решение при исследовании других единиц, может быть использовано в самом общем, концептуальном плане.

Весьма содержательны теоретические положения по проблеме сопоставительного изучения языков словацкого ученого В. Барнета. Давая оценку используемым понятиям эквивалентности и сравнительной базы, он акцентирует внимание на втором, являющемся "ключевым, прелятивающим перенесению особенностей одного языка на другой" [Барнет 1983: 10]. Сравнительная база представляет "общий знаменатель, который позволяет более глубоко проникнуть в языковую материю одного сравниваемого языка посредством другого" [Там же: 10]. Исходя из алломорфизма языка В. Барнет выделяет типы межъязыковой эквивалентности: функционально-системный, узуальный и ситуативно-контекстуальный. Функционально-системная эквивалентность основывается на сопоставлении логико-грамматических объектов, узуальная – на сопоставлении лексико-семантических моделей, ситуативно-контекстуальная – на установлении соответствий в сфере речевого этикета.

К числу достаточно разработанных концепций относится обоснование функционального аспекта в сопоставительной лингвистике известного польского ученого С. Сятковского. Он акцентирует внимание на установлении и сопоставлении "в двух языках правил дистрибуции для способов формального выражения семантически (или функционально) тождественных единиц с учетом структурных, нормативных, контекстуально-ситуативных и узуально-стилистических характеристик" [Сятковский 1981:5]. На материале сопоставительного анализа глагольного управления в русском и польском языках устанавливаются определенные соответствия: межъязыковое тождество, полное различие и частичное тождество. Логическим следствием изученного материала являются введенные С. Сятковским понятия межъязыкового соответствия, поля соответствий, типов соответствий и др. Межъязыковое соответствие, например, вытекает из отношения семантической (или функциональной) эквивалентности между сопоставляемыми по определенному параметру объектами двух языков. Совокупность таких соответствий, объединенных общим объектом сопоставления в одном из языков, дает поле соответствий и т.п. [Сятковский 1981: 9–12].

Представляет интерес замечание С. Сятковского о том, что эквивалентные отношения между языками всегда различаются формально и семантически, т.е. они в основном асимметричны по своему характеру. В связи с этим желателен не столько унилатеральный (односторонний) подход, сколько билатеральный (двусторонний), при котором устраняется разделение языков на язык исходный и язык сопоставляемый [Сятковский 1976: 70–71]. Здесь же С. Сятковский подробно останавливается на узуально-стилистической характеристике тождеств, частичных тождеств, полных различий, подчеркивая, что по этому признаку необходимо учитывать ряд важных моментов. Во-первых, они вступают в отношения межъязыковых соответствий; во-вторых, они соответствуют друг другу по структуре, но не соответствуют узуально и стилистически; в-третьих, имеется их межъязыковое узуально-стилистическое соответствие, но отсутствует соответствие по структуре.

Теоретическое обоснование последования и практическое изучение различных коммуникативных эквивалентов слов представлено в работах по неславянским и славянским языкам [Левит 1968; Касьянова 1975; Сидорец 1984; Сідарэц 1983а и др.]. Наиболее аргументированное, на наш взгляд, теоретическое освещение проблемы коммуникативных эквивалентов слов, и прежде всего существительных, получило в работах В.М. Никитевича, особенно в его известном труде "Основы номинативной деривации" [Никитевич 1985], представляющей новый аспект исследования языковых единиц.

Приведенные концептуальные положения позволяют определить ориентиры в процессе изучения разнообразных фактов близкородственных языков, в том числе коммуникативных эквивалентов глаголов – вербоидов.

Анализируя вербоидные микросистемы в сопоставительном аспекте, следует учесть, что они неравноценны по средствам выражения классифицирующей части – десемантизированным глаголам, которые выступают в функции формантов, дериваторов современных восточнославянских вербоидов. Несколько мощнее в реализации тончайших смысловых нюансов действия русская микросистема, несколько слабее – белорусская и украинская, хотя в последнее время значительно усилилась тенденция к их взаимовыравниванию. Причины этого понятны. Несмотря на то что импульс, полученный от древнерусского периода, был в принципе одинаков для трех языков, условия дальнейшего исторического развития оказались благоприятными для становления, формирования русского литературного языка и неблагоприятными для белорусского и украинского, особенно с XVIII века, когда нарушилась связь с древней литературно-книжной традицией. Из всех современных славянских литературных языков наиболее последовательно, как отмечает акад. Н.И. Толстой, эту, по существу церковнославянскую, книжную традицию отражает русский язык, чему в немалой степени способствовало православие – носитель церковнославянской книжности, поддерживаемое русской государственностью. Влияние церковнославянского языка проявилось не только в обильном сохранении так называемых старославянизмов, но и в активизации различных звеньев русской языковой системы, в том числе и микросистемы вербоидов. Так, целый ряд глаголов, использующихся в функции десемантизированных компонентов, имеют старославянские черты: *возбуждать, возводить, воздавать, возлагать, исполнять, испытывать, претерпевать, обретать, совершать, создавать* и др. То же можно сказать и об именных компонентах: *жажда, клевета, надежда, наслаждение, нужда, обещание, отвращение, преграда, прелесть, соблазн* и др.

Определенное воздействие в относительно недавнее время оказали на русский язык и более развитые в тот период немецкий, французский и английский языки.

Всего (или почти всего) этого по понятным причинам не могли испытать белорусский и украинский литературные языки, которые в процессе становления ориентировались в основном на живую народно-языковую основу и на литературный русский язык.

Воздействие русского языка на белорусский и украинский в целом было поло-

жительным. Оно активизировало поиски в этих языках соответствующих эквивалентов, подвергающихся семантическим изменениям с учетом их системной специфики. Так, русские вербойды *подвергаться трибополимеризации, оказывать влияние, оказывать помощь* переводятся украинскими *знаватися трибopolімеризації (піддаватися трибopolімеризації), справляти вплив, надавати (подавати) допомогу*. Русские вербойды *приобретать популярность, осуществлять операцию, испытывать злость* переводятся белорусскими *набываць папулярнасць, здзяйсняць аперацыю, адчуваць злосьць*. Более того, в белорусском языке отражены некоторые прямые заимствования из русского литературного языка: *аказваць дапамогу, падваргаць крытыцы, падваргацца дэнаатурацыі*. Правда, в "Русско-белорусском словаре" десемантизированные глаголы *подвергать, подвергаться* рекомендуется переводить не столько глаголами *падваргаць, падваргацца*, сколько другими эквивалентами, естественнее отражающими белорусскую языковую систему [Русск.-блр. сл. 1982, II:88–89]. Это свидетельствует о том, что белорусский литературный язык накопил основательное количество средств для выражения различных вербальных характеристик и появилась возможность провести их "инвентаризацию", устранить то, что воспринимается искусственным, что недостаточно отражает национальную специфику языковой системы.

Становление различных стилей книжно-литературной речи активизировало вовлечение в деривационную сферу украинских и белорусских вербойдов значительного количества абстрактных предикатно-признаковых существительных, которые не только не "уступают" русским, но иногда и "превосходят" их, например, в плане выражения. Так, слову *обращение* в значении "характерная для товарного хозяйства форма обмена продуктов труда и иных объектов собственности посредством купли-продажи. Товарное обращение [Сл. русск. яз. 1982, II: 563] соответствуют более экономные *абарот* и *обіг*: *вводить в обращение = увводзіць у абарот = вводити в обіг*; словам *влияние, намерение – вплив, намер, вплив, намір*: *оказывать влияние, иметь намерение = аказваць (рабіць) уплыў, мець намер = справляти вплив, мати намір*.

Удачной является белорусская калька *ажыццяўляць* русского десемантизированного глагола *осуществлять*, потеснившая глагол *здзяйсняць*: *осуществлять контроль – ажыццяўляць кантроль, осуществлять руководство – ажыццяўляць кіраўніцтва, осуществлять синтез – ажыццяўляць сінтэз*. Четкое разграничение в употреблении *ажыццяўляць* и *здзяйсняць* провести весьма трудно. Не найдем пока ответа на этот вопрос и в современной белорусистике. Можно предположить, что использование компонента *ажыццяўляць* объясняется стремлением усилить интенсивность результативной характеристики действия.

В украинском языке, наряду с другими глаголами (*вчиняти, завдавати, знавати, призводити* и др.), продолжает специализироваться десемантизированный глагол *коїти (скоїти)*, который может соответствовать русскому *совершать*, если последний сочетается с предикатными существительными усиленной пейоративной коннотации: "На протязі цього місяця вони скоїли більше десяти пограбувань" (Радиопередача, 02.04.92) – "В течение этого месяца они совершили свыше десяти ограблений".

В целом к настоящему времени в белорусском и украинском литературных языках сформировались мощные микросистемы неоднословных наименований действия, которые активно развиваются на базе своих системных особенностей. Тем не менее между русским, белорусским и украинским языками существуют точки соприкосновения, обусловленные как близким родством, так и влиянием русского языка на белорусский и украинский. Естественно, в современных восточнославянских языках выделяются вербойды, характеризующиеся, по терминологии С. Сятковского, полным тождеством, что обычно снимает трудности при переводе с одного языка на другой. Среди них можно выделить вербойды, имеющие максимальную межъязыковую эквивалентность,

т.е. такие, которые совпадают по всем параметрам, включая материальный: *вести диалог, вести монтаж, вести переговоры, вести передачу, вселять веру, вселять гордость, давать волю, давать гарантию, давать наказ; весці дыялог, весці монтаж, весці перагаворы* (некоторые белорусские дикторы "внедряют" искусственное современное образование – *перамовы*), *весці перадачу, усяляць веру, усяляць гордасць, даваць волю, даваць гарантыю, даваць наказ; вести діалог, вести монтаж, вести переговоры, вести передачу, вселяти віру, вселяти гордість, давати волю, давати гарантію, давати наказ.*

Полные тождества могут иметь в материальном выражении определенные отличия: *вести борьбу, весці барацьбу, вести боротьбу; вести деятельность, весці дзейнасць, вести діяльність; вести строительство, весці будаўніцтва, вести будівництво; давать льготу, даваць ільготу, давати пільгу; давать толкование, даваць тлумачэнне, давати тлумачення; делать акцент, рабіць акцэнт, робити акцент; делать запрос, рабіць запыт, робити запит; делать намёк, рабіць намёк, робити натяк.*

Полные тождества, однако, не должны создавать иллюзию легкости перевода неоднословных наименований действия с одного языка на другой. Существует масса специфических нюансов, которые, отражая внутренние, глубинные свойства каждого из современных восточнославянских языков, вызывают значительные трудности при переводе с русского языка на украинский, с украинского языка на белорусский и т.д. Может возникнуть интерференция, блокирующая проявление национальной специфики вербодных микросистем и в результате снижающей культуру письменной и устной литературной речи.

Весьма разнообразны межъязыковые отношения в сфере частичных тождеств на структурно-системном уровне. Чаще всего это обнаруживается в характере родовой принадлежности именного компонента вербоида. Здесь могут быть различные комбинации: русскому существительному женского рода соответствуют белорусское и украинское существительные мужского рода, белорусскому существительному мужского рода – русское и украинское существительные женского рода, украинскому существительному женского рода – русское и белорусское существительные мужского рода и т.д. Например: *вести запись* (жен. р.) = *весці запіс* (муж. р.), *вести запис* (муж. р.); *вести разговор* (муж. р.) = *весці розмову* (жен. р.); *вести розмову* (жен. р.); *весці гандаль* (муж. р.) = *вести торговлю* (жен. р.), *вести торгівлю* (жен. р.); *весці гаспадарку* (жен. р.) = *вести хозяйство* (средн. р.), *вести господарство* (средн. р.); *давати відсіч* (жен. р.) = *давать отпор* (муж. р.), *даваць адпор* (муж. р.); *давать согласие* (средн. р.) = *даваць згоду* (жен. р.), *давати згоду* (жен. р.); *делать выговор* (муж. р.) = *рабіць вымову* (жен. р.), *робити догану* (жен. р.); *робити перерыв* (жен. р.) = *делать перерыв* (муж. р.), *рабіць перапынак* (муж. р.).

Структурно-системные межъязыковые несоответствия проявляются на синтаксическом уровне. Так, предикатные существительные, сочетаясь с десемантизированными компонентами *завдавати, набувати*, употребляются в украинском языке в род. пад., а в русском и белорусском, сочетаясь соответственно с компонентами *наносить, приобретать*, *наносіць, набуваєць*, имеют форму вин. пад.: *завдавати удару* = *наносить удар, наносіць удар; завдавати поразки* = *наносить поражение, наносіць паражэнне; завдавати шкоди* = *наносить вред, наносіць шкоду; набувати багатозначності* = *приобретать многозначность, набуваєць мнагазначнасць; набувати розмаху* = *приобретать размах, набуваєць размах*. Иногда в белорусском языке существительное также употребляется в род. пад.: *набуваєць моцы* = *обретать мощь, набувати моці*.

Белорусским и украинским вербоидам, созданным по типу *весці (вести) + да (до) +* + существительное в род. пад. соответствуют русские, созданные по типу *вести +*

+ к + существительное в дат. пад.: *весці да дэстабілізацыі, весті до дэстабілізаціі* = *вести к дестабилизации*; *весці да раззбраення, весті до роззброення* = *вести к разоружению*; *весці да скарачэння, весті до скорочення* = *вести к сокращению*.

Аналогичные этим структурно-системные несоответствия между вербойдами, образующимися в белорусском и украинском языках с помощью десемантизированных глаголов *прыводзіць, прыводзіць* (приводити), а в русском – глагола *приводить*: *прыводзіць к гібелі* = *прыводзіць да гібелі, прыводзіць до загібелі*; *прыводзіць к істощэнню* = *прыводзіць да змардавання, прыводзіць (прыводзіць) до вснажэння*; *прыводзіць к сокращэнню* = *прыводзіць да скарачэння, прыводзіць (прыводзіць) до скорочення*. Кстати, привлечение в украинском языке дериатора *прыводзіць* обусловлено стремлением интенсифицировать причинно-следственный, обычно отрицательный, результат, выраженный предикатным существительным.

Если же в русском языке вербойды включают в свой состав предлог *в*, то, кроме соответствий, в белорусском языке и особенно в украинском широко представлены различные по характеру несоответствия: *прыводзіць в рух* = *прыводзіць у рух* = *надавати руху* (*прыводзіць в рух*); *прыводзіць в ісполненне* = *выконваць, виконувати*; *прыводзіць в отчаянне*, *прыводзіць у адчай* = *доводзіць до відчаю* (до розпачу), *укідаць у відчай* (у розпач); *прыводзіць в парядок*, *прыводзіць у парадак*, *прыводзіць в парядок*; *прыводзіць в сознание* = *прыводзіць да памяці* (прытомнасці), *прыводзіць до пам'яті* (прытомності); *прыводзіць в уныние* = *выклікаць сум* (*смуток*) = *здавати суму* (*смуток*).

Сходные несоответствия и соответствия обнаруживаются в вербойдах с дериаторами *приходить, прыходзіць, приходити* + предложно-падежная форма существительного: *приходить к выводу* = *приходзіць да выніку* = *доходзіць до висновку, дійти висновку, приходити до висновку*; *приходить к мысли* = *приходзіць да думкі* = *доходзіць до думки, дійти думки, приходити до думки*; *приходить к согласию* = *приходзіць да згоды* = *дійти згоди, доходить до згоди, приходити до згоди*; *приходить в восхищение*, *приходзіць у захопленне* = *бути в захопленні, бути захопленним*; *приходить в движение*, *приходзіць у рух, приходити в рух*; *приходить в память* = *приходзіць до памяці, приходити до пам'яті*; *приходить в норму*, *приходзіць у норму* = *входити в норму, приходити в норму* (до норми); *приходить на память*, *приходзіць на пам'ять, приходити на пам'ять*.

Все рассмотренные выше образцы несоответствий на системно-структурном уровне являются лишь небольшой частью того, что заложено в современных восточнославянских неоднословных наименованиях действия с десемантизированным компонентом. Но и они подчеркивают тонкое своеобразие этих единиц в каждом из языков, несмотря на высокую степень генетической близости.

Следует также отметить, что далеко не все сопоставлявшиеся вербойды отличаются (или не отличаются) только структурно-системными чертами. Нами просто сделан акцент на этом признаке для последовательного изложения проблемы, а также с учетом той градации при сопоставительном исследовании, которую предложил упоминавшийся польский лингвист С. Сятковский. Многие из вербойдов отличаются на уровне функции, стиля, узуса. В последнем случае интересны, например, факты из украинского языка. Сочетания *бути в захопленні, бути захопленним* не соотносятся с русским и белорусским вербойдами *приходить в восхищение, прыходзіць у захопленне* не только структурно, но и узуально. Однако эти сочетания естественные, органичные выразители данной реалии в украинской речи. В принципе можно создать и вербойд *приходить в захоплення*, но он не вписывается в украинское повествование, неестествен, т.е. его не пропускает то, что не совсем удачно называется идиоматикой языка.

Воспринимаются несколько искусственными и украинские вербойды *приходити до висновку, приходити до згоди* и некоторые др., возникшие, видимо, в результате

украинско-русской интерференции. Не случайно в одном из русско-украинских словарей следующая деталь: на первом месте помещаются вербойды *доходити висновку*, *доходити згоди* (до згоди). Сочетание же *приходити до висновку* вообще исключено, а *приходити до згоди* помещается на втором месте [Русск.-укр. сл. 1980: 698].

Существенно дополнит раскрытие специфики вербойдов в каждом восточнославянском языке функциональный аспект сопоставления по деривационному признаку. При этом следует определять количество типовых групп вербойдов по дериватору – десемантизированному глаголу исходя из того, что типовая группа вербойдов – это совокупность вербойдов, созданных по одному деривационному типу [Сідарэц 1996: 119]; провести межъязыковое сопоставление этих групп с учетом контекстного употребления вербойдов. Последняя процедура позволит выяснить, существует ли функциональное несоответствие сопоставляемых групп. Если есть, на чем базируется.

К сожалению, осуществить всеобъемлющее межъязыковое сопоставление типовых групп вербойдов в настоящее время не представляется возможным, так как не определено количество этих групп в каждом восточнославянском языке. Тем не менее имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют наметить подходы к изучению поставленных вопросов и найти ответы на некоторые из них.

Межъязыковое сопоставление типовых групп показывает, что функциональные несоответствия между восточнославянскими языками в сфере неоднословного наименования действия значительны, особенно между русскими и украинскими вербойдами. Белорусские вербойды, сближаясь по ряду черт с теми и другими, занимают промежуточную зону.

Межъязыковую функциональную равноценность или неравноценность типовых групп вербойдов порождают десемантизированные глаголы, выступающие в роли формантов, дериваторов. К числу функционально равноценных можно отнести, например, типовые группы вербойдов, возглавляемые дериваторами *вести*, *весці*, *вести*: *вести агітацію* (*беседу, боротьбу, бригадирство, всеобуч, деятельность, диалог* и др.); *весці агітацію* (*гутарку, барацьбу, бригадирство, усенавуч, дзейнасць, дыялог*); *вести агітацію* (*розмову боротьбу, бригадирство, всеобуч, діяльність, діалог*). Понятно, говорить о полной равноценности типовых вербойдных групп даже в близкородственных языках нельзя. Так, в украинском языке отсутствуют вербойды, соответствующие белорусским и русским вербойдам *весці вярбоўку*, *весці даводку*, *вести вербовку*, *вести доводку* для обозначения специальных реалий. Можно, конечно, создать украинские неоднословные наименования *вести вербування*, *вести доведення*, но они воспринимаются искусственными с точки зрения зууса. Естественны здесь глаголы *вербувати*, *доводити*, которые способны выразить и специальные, и неспециальные значения.

Весьма своеобразны межъязыковые отношения по признаку функциональной равноценности-неравноценности между многочисленными по составу типовыми группами вербойдов, возглавляемыми в русском языке дериватором *делать*, а в белорусском и украинском языках *рабіць*, *робити* и их многочисленными синонимами. Обратим внимание на синонимию этих единиц как дериваторов вербойдов, так и полнозначных глаголов.

В "Словаре синонимов русского языка" под редакцией А.П. Евгеньевой к глаголу *делать* дается ряд синонимов, из которых выделим глагол *производить* (*произвести*), употребляющийся "в тех случаях, когда речь идет о регулярном изготовлении каких-либо изделий, машин, предметов, веществ и т.д." [Сл. синонимов русск. яз. 1970, I: 276]. Глаголы *делать*, *производить* находим в синонимическом ряду, возглавляемом специализированным глаголом (формантом, дериватором) *совершать* (*совершить*), который сочетается "с существительными, обозначающими действие, процесс, движение, отдельный акт и т.п.: осуществлять, исполнять то, что обозначено соответствующими существительными" [Сл. синонимов русск. яз. 1971, II: 456]. Иную трактовку, по сравнению с приведенной, получает глагол *производить*: он "употреб-

ляется по отношению к действию, обычно имеющему более конкретный, единичный характер" [Там же: 456].

Продолжим семантическую линию по глаголу *совершать*, которая в соответствии со словарной статьей переходит на глагол *осуществлять* (*осуществить*), обозначающий "1. Привести в исполнение какое-либо заранее намеченное, известное дело, действие, акт; 2. Превратить во что-л. реальное, привести в исполнение, провести в жизнь (план, замысел, намерение, мечту и т.д.)" [Сл. синонимов русск. яз. 1971, П: 80]. Из приводимых к нему синонимов выделим глаголы *выполнять* и *исполнять*, значение которых, если исходить из данных словарной статьи, совпадает с значением глагола *осуществлять*.

При объяснении семантики глагола *делать* используется глагол *создавать*, хотя в синонимический ряд, возглавляемый глаголом *делать*, он составителями словаря не включен. Значение глагола *создавать* раскрывается следующим образом: "1. Давать существование чему-либо, вызывать к жизни что-л. (какую-л. организацию, общественный институт и т.п.); 2. Творческим трудом вызывать к жизни, давать существование чему-л. (каким-л. материальным или духовным ценностям)" [Сл. синонимов русск. яз. 1971, П: 462]. В его синонимический ряд в числе других входит глагол *творить*, подчеркивающий "творческий момент в создании чего-либо" [Там же: 462], когда речь идет о возвышенном, "о создании духовных ценностей".

В словаре не разграничиваются глаголы полнозначные и глаголы специализированные. Термин "специализированные" закрепляется нами за теми глаголами, которые, сочетаясь с предикатно-признаковыми существительными, образуют вербойды. Может показаться, что такая терминологическая детализация излишня. Однако функционирование глаголов в качестве формантов, дериваторов вербойдов накладывает на них особый отпечаток [Сидарэц 1983б: 58–60]. Синонимия дериваторов в сфере вербойдов распространена значительно шире, чем за ее пределами. Причина такой синонимии заключается в том, что глаголы, употребляясь в функции дериваторов, в известной степени теряют индивидуальное лексическое значение, десемантизируются. В глаголе остается категориальное значение с редуцированными элементами индивидуального. Следовательно, чем слабее остатки индивидуального значения, тем больше возможностей для распространения синонимии между десемантизированными глаголами. Так, в словосочетаниях *проводит брата*, *делать шкаф*, *проводящий брата*, *рабиць шафу*, *проводити брата*, *робити шафу* полнозначные глаголы несинонимичны, но в сочетаниях с предикатными существительными они сближаются по значению: *проводит операцию* (*фотографирование, эксперимент*) – *делать операцию* (*фотографирование, эксперимент*); *проводящий операцию* (*фотографирование, эксперимент*) – *рабиць операцию* (*фотографирование, эксперимент*); *проводити операцию* (*фотографирование, эксперимент*) – *робити операцию* (*фотографирование, эксперимент*).

Исходя из этого, можно продолжить синонимический ряд специализированного глагола *делать* специализированными глаголами *выполнять*, *наносить*, *устраивать* и др., максимально редуцирующими индивидуальную лексическую сему. В русском языке, таким образом, проступает следующий основной синонимический ряд дериваторов, возглавляемый специализированным глаголом *делать*: *выполнять*, *исполнять*, *наносить*, *оказывать*, *осуществлять*, *причинять*, *подвергать*, *производить*, *совершать*, *создавать*, *справлять*, *творить*, *устраивать*, *учинять*, *чинить*.

В белорусском языке список дериваторов почти такой же: *рабіць*, *выконваць*, *напаўняць*, *наносіць*, *аказваць*, *ажыццяўляць*, *здзяйсняць*, *прычыняць*, *падвяргаць*, *ствараць*, *спраўляць*, *тварыць*, *устройваць*, *учыняць*, *чыніць*.

Самые заметные, "рельефные" несоответствия проявляются в отсутствии непосредственных белорусских выразителей семантики, обозначающейся в русском языке дериваторами *исполнять*, *производить*, *совершать*, а также в наличии двух

белорусских дериваторов *ажыццяўляць, здзяйсняць*, соотносящихся с русским *осуществлять*. В последнем случае два белорусских дериватора образуют вербойды, которые фиксируют денотативный участок, совпадающий с участком, выражающимся русскими вербойдами с одним денотатом. Однако некоторые нюансы в употреблении белорусских специализированных глаголов существуют и ждут своего решения.

Сложнее обстоит дело при передаче в белорусском языке процессуальных фактов, обозначающихся в русском языке вербойдами с компонентами *исполнять, производить, совершать*. Так, дериватор *исполнять* в "Русско-белорусском словаре" рекомендуется переводить белорусскими дериваторами *выконваць, напauняць* [Русск.-блр. сл. 1982, I: 330]. Разумеется, подобный перевод возможен, но отражает ли он тончайший коннотативный элемент – особый ореол возвышенности действия, заложенный в дериваторе *исполнять*? Ведь и по-русски можно употребить компоненты *выполнять, наполнять*. Перевод на белорусский язык вербойдов типа *исполнять арию, исполнять вальс, исполнять (сердце) надеждой* неоднословными номинациями *выконваць арыю (вальс), напauняць (сэрца) надзей* редуцирует эту характеристику способа действия, поэтому необходимы поиски в белорусском языке других средств, адекватно отражающих отмеченный элемент в семантической структуре компонента *исполнять*.

Специализированный глагол *производить* переводится глаголами *рабіць, праводзіць, выклікаць* и некот. др.: *производить опыт – рабіць (праводзіць) дослед, производить подсчет – рабіць падлік, производить ремонт – рабіць (выконваць) рамонт, производить впечатление – рабіць (выклікаць) уражанне* [Русск.-блр. сл. 1982, II: 231]. Специализированный глагол *совершать*, как свидетельствуют материалы нашей картотеки и "Русско-белорусский словарь", чаще всего также переводятся дериватором *рабіць*: *совершать вылазку – рабіць вылазку, совершать ошибку – рабіць памылку, совершать полёт – рабіць палёт, совершать прыжок – рабіць скачок*. Реже он переводится дериваторами *учыняць, здзяйсняць, ажыццяўляць* и некот. др.: *совершать зверства – учыняць (рабіць) зверствы, совершать ограбление – учыняць аграбленне, совершать восхождение – здзяйсняць (ажыццяўляць, рабіць) узыходжанне*.

Чем объяснить то, что в русском языке, имеющем специализированный глагол-дериватор *делать*, часто отдается предпочтение глаголу-дериватору *производить*? Прежде всего тем, что глагол *производить* отличается книжной стилиевой окраской от стилистически нейтрального глагола *делать*, причем этот характер окраски нередко имеет отпечаток делового стиля, поэтому многие вербойды реализуют специальные значения: *производить дознание (допрос, досмотр, инвентаризацию, перерасчет, плату* и т.д.). Кроме того, сочетаясь с дериватором *производить*, предикатные существительные создают вербойды, эксплицирующие более узкое, конкретное, актуальное по характеру действие: *производить запуск (монтаж, операцию, продукцию, расчистку, ремонт, реорганизацию* и др.).

Компонент *совершать*, подвергшись основательной специализации, вытесняет компонент *делать* тогда, когда необходимо выделить, подчеркнуть законченность действия. Чаще всего его употребление обусловлено предикатными существительными, характеризующимися усиленной отрицательной или положительной коннотацией: *совершать агрессию (глупость, кражу, нападение, подвиг, предательство, растрату* и др.). Дериватор *совершать* может сочетаться и с существительными умеренной коннотации, однако значимость вербойдного действия не ослабевает, так как обычно поддерживается контекстом: "25-летний англичанин Д. Эдамс готовится совершить в ближайшие месяцы пеший переход из Канады к Северному полюсу" (Изв., 04.04.1982); "31 июля 1944 г. Сент-Экзюпери вылетел с аэродрома на Корсике с заданием совершить полет и фотографирование над юго-западной частью Франции" (Изв., 23.05.1981).

В белорусском языке здесь в основном фигурирует компонент *рабіць*, иногда подключаются компоненты *учыняць*, *здзяйсняць*, из которых только *учыняць* может оказать конкуренцию компоненту *совершать* в эксплицировании отмеченных характеристик вербодного действия. Дериватор *рабіць*, как и русский *делать*, нейтрален по стилистической окраске, а компонент *здзяйсняць* имеет конкурента – дериватор *осуществлять*, который концентрирует внимание не столько на значимости действия, сколько на его результативности.

Из оставшихся членов рассматриваемого синонимического ряда весьма близки по функции дериваторы *наносить* и *наносіць*, *оказывать* и *аказваць*, *создавать* и *ствараць* и некот. др., хотя полное тождество отсутствует: *наносить рану* – *наносіць рану*, *наносить удар* – *наносіць удар*, *наносить обиду* – *крыўдзіць*, *наносить визит* – *рабіць (наносіць) візіт*; *оказывать поддержку* – *аказваць падтрымку*, *оказывать сопротивление* – *чыніць (аказваць) супраціўленне*; *создавать ажиотаж* – *ствараць ажыятаж*, *создавать препятствия* – *ствараць (рабіць, чыніць) перашкоды*.

Более отличаются, чем совпадают, по функции дериваторы *устраивать* – *устройваць*, *учинять* – *учыняць*, *чинить* – *чыніць*. При этом в русском языке чаще употребляется дериватор *устраивать*, реже – дериваторы *учинять*, *чинить*. В белорусском же языке наоборот – дериватор *устройваць* используется реже, а *учыняць* и *чыніць* – чаще: *устраивать иллюминацию* – *устройваць (наладжаваць) ілюмінацыю*, *устраивать скандал* – *учыняць (устройваць) скандал*, *устраивать свадьбу* – *спраўляць вяселле*; *учыняць допрос* – *учыняць допрос*, *учыняць облаву* – *устраивать облаву*, *учыняць диверсию* – *совершать диверсию*, *учыняць заботы* – *совершать убийства*; *чыніць праследаванні і ганенні* – *подвергать преследованиям и гонениям*, *чыніць расстрэл* – *подвергать расстрелу*.

Сближаются функционально по семе "создавать в процессе творческой деятельности... духовные ценности" [Глумач. сл. блр. мовы 1982: 488] дериваторы *твараць* и *творить*: *твараць дабро* – *творить добро*, *твараць натхненне* – *творить вдохновение*. Если же в русском языке дериватор *творить* сочетается с пейоративными по коннотации существительными, то в белорусском языке чаще используются компоненты *чыніць*, *рабіць* и некот. др.: *творить произвол* – *чыніць свавольства*, *творить безобразия* – *рабіць гадасці*, *творить расправу* = *учыняць расправу*.

Обобщим рассмотренные взаимоотношения белорусских и русских типовых групп вербодов, возглавляемых синонимичными дериваторами, следующей схемой.

В приведенной схеме отражены не все возможные функционально-семантические линии исследованных взаимоотношений. Основное ее назначение – подтвердить



мысль о различной степени межъязыковых несоответствий по функции практически всех типовых групп белорусских и русских вербоидов.

В украинском языке представлен следующий синонимический ряд дериваторов, возглавляемый специализированным глаголом *робити*: *виконувати, сповнювати, завдавати, надавати (подавати), здійснювати, піддавати, спричиняти (спричинювати), коїти, звершувати, створювати, справляти, творити, влаштовувати, учиняти, чинити*.

Не останавливаясь подробно на функционально-семантических свойствах украинских дериваторов, отметим, что специализированный глагол *робити* шире по сочетаемости с предикатными существительными, чем русский *делать*, и уже, чем белорусский *рабіць*: *робити монтаж, производить монтаж, рабіць мантаж; робити перелёт, совершать перелёт, рабіць пералёт; но: рабіць уражанне, производить впечатление, справляти враження; рабіць подзвіг, совершать подвиг, звершувати подвиг; зрабіць (учиниць) злочинства, совершить преступление, скоїти (вчинити) злочин*.

Функционально неравноценны дериваторы *сповнювати* и *исполнять*: *исполнять арию – виконувати арію, исполнять роль – виконувати роль, исполнять (сердце) гордостью – сповнювати (серце) гордістю, исполнять надеждой – сповнювати надії (надією)*.

Получивший в процессе развития основательную специализацию, украинский дериватор *завдавати* может соответствовать нескольким русским дериваторам: *завдавати болю – причинять боль, завдавати втрат – наносить потери, завдавати жаху – приводить в ужас, завдавати удару – наносить удар (подвергать удару)*.

Шире украинского *піддавати* по сочетаемости с предикатными существительными русский дериватор *подвергать*: *подвергать бомбардировке – піддавати бомбардуванню, подвергать допросу – брати на допит, подвергать критике – піддавати критиці, подвергать опасности – наражати на небезпеку, подвергать операции – робити операцію, подвергать сомнению – брати під сумнів, подвергать штрафу – накладати штраф*.

Не "покрывают" дериватор *совершать* дериваторы *коїти* и *звершувати*: первый сочетается с существительными, характеризующимися усиленной отрицательной коннотацией, второй – с существительными усиленной положительной коннотации: *совершить преступление – скоїти злочин, совершить ограбление – скоїти пограбування; совершить подвиг – звершити подвиг, совершить героизм – звершити героїзм*. В других случаях выступают дериваторы *учиняти, чинити, робити* и некот. др.: *совершать ошибку – робити помилку, совершать нападение – вчиняти напад, совершать революцию – здійснювати революцію*.

Близки по функциональной значимости типовые группы вербоидов, образующихся с помощью дериваторов *создавать* и *створювати*: *створювати загрозу – создавать угрозу, створювати можливість – создавать возможность, створювати перевагу – создавать преимущество*. Существуют между ними и расхождения: *создавать впечатление – справляти враження, создавать препятствия – чинити перешкоди*.

Почти функционально равноценны компоненты *творить* и *творити*, если сочетаются с существительными положительной коннотации: *творить вдохновение – творити натхнення, творить чудеса – творити чудеса*. Однако при отрицательной коннотации существительных русскому компоненту *творить* может соответствовать как компонент *творити*, так и другие украинские компоненты: *творить беззаконие – чинити беззаконня, творить расправу – чинити (учиняти) розправу, творить злодеяния – творити злодіяння*.

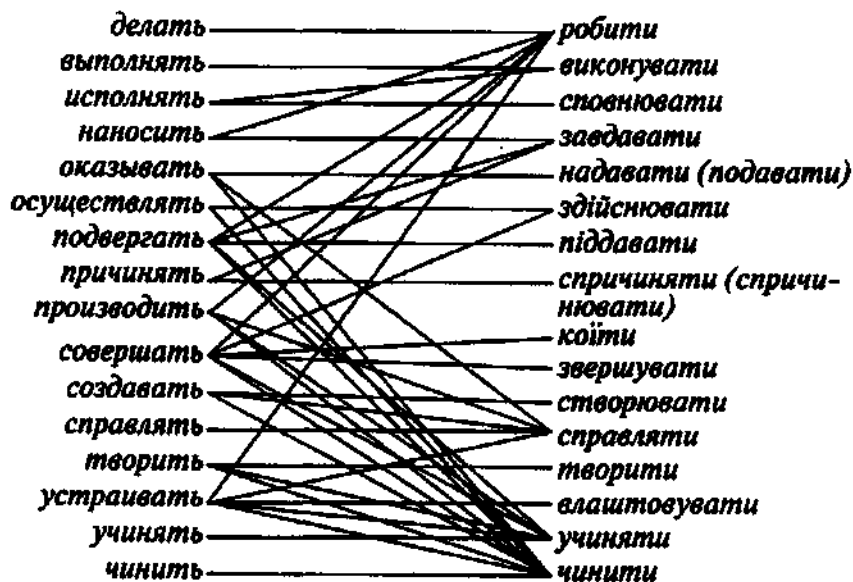
Значительно шире русского *справлять* украинский дериватор *справляти* по сочетаемости с различными предикатными существительными: *справляти враження – производить (создавать) впечатление, справляти вплив – оказывать влияние, справляти демпфуючу дію – оказывать демпфирующее действие, справляти новосілля – справлять новоселье, справляти (чинити) тиск – оказывать давление*.

Сближаются функционально украинская и русская типовые группы вербоидов, в

образовании, которых участвуют компоненты *влаштовувати* и *устроювати*: *влаштовувати зустріч* – *устроювати зустріч*, *влаштовувати концерт* – *устроювати концерт*, *влаштовувати прес-конференцію* – *устроювати прес-конференцію*. Если же существительные обладают пейоративной коннотацией, украинский компонент употребляется значительно реже русского: *устроювати замах* – *влаштовувати замах*, *устроювати скандал* – *учиняти скандал*, *устроювати допит* – *учиняти допит*, *устроювати заговор* – *учиняти змову*. Конечно, в русском языке также можно использовать дериватор *учинять*, но, имея яркую стилистическую окраску архаического оттенка, он сужал свое употребление. Привлечение его для образования вербондов значительно усиливает интенсивность результата того или иного действия. Компонент же *устроювати* более нейтрален и обычен в этом отношении, как, кстати говоря, и украинский дериватор *учиняти*, редуцировавший "налет" архаичности и расширивший границы своего употребления.

В отношении дериваторов *чинити*, *чинити* может создаться впечатление, что вербонды с такими дериваторами в русском и украинском языках не отличаются друг от друга: *чинити беззаконня* – *чинити беззаконня*, *чинити прозвол* – *чинити сваволю* (*свавільство*). Однако достаточно ограничиться простым сопоставлением материалов словарных статей в 17-томном "Словаре современного русского литературного языка" [ССРЛЯ, 17: 1032–1033] и в 11-томном "Словнику української мови" [Сл. укр. мови 1980: 325–326], чтобы заметить отличия вербондов с данными компонентами в русском и украинском языках. В русском языке произошло значительное сужение по сравнению с древнерусским периодом круга сочетаемости компонента *чинити* с предикатными существительными, что способствовало его деспециализации, как форманта вербондов и тенденции к их фразеологизации. Украинский язык в большинстве случаев сохранил древнерусские черты и на своей почве развил новые, связанные с функционированием в составе вербондов десемантизированного глагола *чинити*, и тем самым усилил его специализацию в качестве форманта: *чинити волю* – *диктувати* (*навязувати волю*), *чинити диверсійні акти* – *совершати* (*осуществляти*) *диверсійні акти*, *чинити опір* – *оказувати* *сопротивление*, *чинити намаз* – *совершати* *намаз*, *чинити помилку* – *совершати* *ошибку*, *чинити слідство* – *производити* *следствие*, *чинити суд* – *устроювати* (*совершати*) *суд*, *чинити* (*справляти*) *тиск* – *оказувати* *давление*.

В итоге вырисовывается следующая система функционально-семантических взаимоотношений русских и украинских вербондных дериваторов:



Не претендуя на полноту отражения всех возможных линий, данная схема демонстрирует своеобразие, сложность взаимоотношений русских и украинских десемантизированных глагольных компонентов и, следовательно, сложившуюся в результате длительного исторического развития современную функциональную и семантическую неравноценность типовых групп вербойдов.

Достаточно специфичны функционально-семантические взаимоотношения белорусских и украинских вербойдных дериваторов, хотя в целом у них больше точек соприкосновения, чем у каждого, отдельно взятого, в сопоставлении с набором дериваторов русского языка. Обратимся к следующей схеме:



Весьма близки функционально и семантически дериваторы *выконваць* – *виконувати*, *ствараць* – *створювати*. Дериваторы *учыняць* – *учиняти*, *чыніць* – *чинити*, которые весьма близки по функции, как и предшествующие пары, различаются тем, что в украинском языке они более употребительны, т.е. используются там, где в белорусском языке чаще выступают дериваторы *рабіць*, *падваргаць*, *аказваць*: *учиняти допит* – *рабіць допыт*, *падваргаць допыт*, *учыняць допыт*; *учиняти замах* – *рабіць замах*; *учиняти облаву* – *рабіць аблаву*; *чинити злочин* – *рабіць злачынства*, *чинити напади* – *рабіць напады*, *чинити опір* – *аказваць супраціўленне*.

К числу существенно отличающихся по функции относятся дериваторы *спраўляць* – *справляти*, *рабіць* – *звершувати*, *рабіць* – *коїти*. Так, хотя круг контактов с предикатными существительными у белорусского дериватора *спраўляць* несколько шире, чем у русского *справлять*, но значительно уже украинского *справляти*. Белорусские вербойды с этим компонентом подвержены фразеологизации: *спраўляць гонар*, *спраўляць крыуду*, *спраўляць піск*, *спраўляць плач*, *спраўляць фармальнасці*. На грани перехода во фразеологизмы и ряд украинских вербойдов с этим дериватором: *балачки справляти*, *брехні справляти*, *витрішки справляти*, *справляти мандри*, *справляти мовчанку* и др. Однако украинский компонент *справляти*, подвергшийся деривационной специализации, часто употребляется там, где в белорусском и русском языках используются дериваторы *аказваць*, *рабіць*, *оказывати*, *производити*, *создавати*: *справляти вплив* – *рабіць (аказваць) уплыў*, *оказывати вплив*; *справляти враження* – *рабіць уражанне*, *производити (создавати) впечатление* и др.

Не находит эксплицитного выражения в белорусском языке узкая деривационная семантика компонентов *звершувати*, *коїти*. Используемый в качестве смыслового

соответствия компонент *рабиць* может передать это значение только опираясь на контекст.

Близки функционально, но расходятся стилистически компоненты *сповнювати* и *напаўняць*: *сповнювати (серце) надією (радістю, тривогою) – напаўняць (сэрца) надзеяй (радасцю, трывогай)*. Дело в том, что по-украински тоже можно сказать *наповнювати (серце) надією (радістю, тривогою)*, но в таком случае ослабевает ореол возвышенности характеристики действия. В этом отношении украинский дериватор *сповнювати* частично сближается с русским *исполнять*, упомянуемым выше.

Белорусский дериватор *наносиць* имеет в принципе те же отличия от украинского *завдавати*, которые свойственны, как уже отмечалось, русскому дериватору *наносить*.

Ближе к белорусскому и русскому дериваторам *прычыняць, прычыняць* украинский *спричиняти (спричинювати)*: *прычыняць боль, прычыняць боль – спричиняти (спричинювати) біль; прычыняць шкоду, прычыняць вред – спричиняти (спричинювати) шкоду*. Однако в украинском языке этот дериватор имеет также сему, представленную в значении глагола *сприяти (саздзейнічаць, способствовать)*, чего нет в белорусском и русском дериваторах: *спричиняти (спричинювати) одужання – садзейнічаць выздарауленню, способствовать выздоровленню; спричиняти (спричинювати) розширення – садзейнічаць расшырэньню, способствовать расширению*.

Итак, материал, представляющий первую попытку исследования неоднословных номинаций в системно-функциональном сопоставительном аспекте, показывает, что между восточнославянскими вербоидами больше несовпадений, чем сходств. Эти несовпадения, однако, не достигают того, что С. Сятковский назвал **п о л н ы м и** **р а з л и ч и я м и**.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барнет В. 1983 – К проблеме языковой эквивалентности при сравнении // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими языками. М., 1983.
- Касьянова Л.Н. 1975 – Семантическая структура и особенности функционирования описательных глагольно-именных оборотов в предложении: Автореф. канд. дис. ..., М., 1975.
- Левит Э.Н. 1968 – К проблеме аналитического слова в современном французском языке. Минск, 1968.
- Никитевич В.М. 1985 – Основы номинативной деривации. Минск, 1985.
- Русск.-блр. сл. 1982 – Русско-белорусский словарь: В 2-х томах. Т. I–II. Минск, 1982.
- Русск.-укр. сл. 1980 – Русско-украинский словарь. Київ, 1980.
- Сидоренц В.С. 1984 – О неоднословном обозначении действия в современном русском языке // РЯШ. 1984. № 3.
- Сідарэц В.С. 1966 – Праблемы размежавання вербоіда і фразеалагізма // Весці АН Беларусі: Сер. гуманіт. навук. 1966. № 3.
- Сідарэц В.С. 1983а – Неаднаслоўныя дзеяслоўныя намінацыі як сродак рэалізацыі станавых значэнняў у сучасных усходнеславянскіх мовах // Беларуская лінгвістыка. Вып. 23. Минск, 1983.
- Сідарэц В.С. 1983б – Да пытання аб статусе неаднаслоўных дзеяслоўных намінантаў у сучасных усходнеславянскіх мовах // Беларуская мова. Межвед. зборнік. Вып. 11. Минск, 1983.
- Сл. русск. яз. 1982 – Словарь русского языка: В 4-х томах. Т. II. М., 1982.
- Сл. синонимов русск. яз. 1970 – Словарь синонимов русского языка: В 2-х томах. Т. I. Л., 1970.
- Сл. синонимов русск. яз. 1971 – Словарь синонимов русского языка: В 2-х томах. Т. II. Л., 1971.
- Сл. укр. мови 1980 – Словник української мови: В 11-ти томах. Т. II. Київ, 1980.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти томах. Т. 17. М.: Л., 1965.
- Сятковский С. 1976 – Основные принципы сопоставительного анализа языков (статья вторая) // Русский язык за рубежом. 1976. № 5.
- Сятковский С. 1981 – Основные принципы сопоставительного анализа языков // Методика преподавания русского языка за рубежом. М., 1981.
- Тлумач. сл. блр. мовы 1982 – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці тамах. Т. 5. Минск, 1983.

© 1999 г. Е.В. УРЫСОН

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ (ЛЕКСЕМЫ ОКРУГА И РАЙОН)*

В настоящее время общепринятым является положение о том, что каждый естественный язык по-своему членит мир, имеет свой специфичный способ его концептуализации. Языки различаются не только звуковыми, материальными оболочками смыслов и даже не этими смыслами как таковыми (т.е. значениями лексем¹ в грамме), но самым способом выделения значений, самым способом восприятия и осмысления мира. Как писал В. Гумбольдт, различные языки являются различными мировидениями, так что специфику каждого конкретного языка обуславливает "языковое сознание народа", на нем говорящего. Это особое мировидение, или, выражаясь современным языком, специфичная языковая картина мира, закреплена в грамматике, а именно, в семантически значимых грамматических категориях, и в лексической системе языка.

Языковая картина мира является объектом интенсивнейших лингвистических исследований (ср. [Wierzbicka 1992; Апресян 1995; НОСС 1997]). Во всех этих описаниях, однако, языковая картина мира предполагается устойчивой, стабильной. Я попытаюсь показать на одном небольшом примере, что национально-специфичное языковое сознание может быть подвержено изменениям, возможно, в той же степени, что и вся система языка².

Известно, что грамматика языка относительно устойчива – хотя она и меняется, но процесс этот идет достаточно медленно (ср., например, утрату двойственного числа существительных и развитие категории глагольного вида в истории русского языка). Лексическая система гораздо динамичнее. На протяжении жизни одного поколения какие-то слова становятся менее употребительными, уходят из литературного языка, какие-то – наоборот, приходят из сленга или жанров, возникают новые слова (ср. *бомж*, *обвальный*) и т.п. Насколько эти изменения затрагивают языковую картину мира? С этим вопросом тесно связан следующий: что происходит с картиной мира какого-либо языка при заимствовании иноязычной лексики?

Когда иноязычное слово заимствуется каким-либо языком, оно подвергается фонетическому и морфологическому усвоению. Однако в заимствуемом слове зафиксирован "кусочек" чужой (для заимствующего языка) картины мира³. Преобразуется ли

* Предлагаемая заметка представляет собой слегка переработанный доклад, прочитанный на конференции "Языки пространства" (Дубна, июнь 1997). В основе работы лежит написанная мною словарная статья синонимического ряда *Район, округа, окрестности* [НОСС 1997]. Пользуюсь случаем выразить благодарность О.Ю. Богуславской, И.Б. Левонтиной и, в особенности, Ю.Д. Апресяну за ценные критические замечания. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РГНФ (проект 96-04-98605) и РФФИ (проект 96-04-06437).

¹ В соответствии с терминологией Московской семантической школы я называю лексемой слово в одном из его (возможно, нескольких) значений.

² Возможность изменения языковой картины мира, правда, вне связи с лексическими заимствованиями, рассмотрена мною также в [Урысон 1998].

³ Я не рассматриваю здесь заимствование слов, представляющих собой обозначение новых реалий – такие слова вряд ли отражают языковой способ концептуализации мира. Так, в русский язык в разное время пришли слова *тетрадь*, *картофель*, *фламастер*, но эти заимствования не отразились сколько-нибудь значительно на языковой картине мира, зафиксированной в русском языке.

семантика заимствованного, чужого слова в соответствии со способом концептуализации, свойственным данному языку? Или же язык воспринимает чужой способ концептуализации, заимствует фрагмент иной модели мира?

Можно предположить, что возможны оба типа лексических заимствований. При этом не исключено, что одни языки предпочитают преобразовывать семантику чужого слова, так чтобы она более или менее соответствовала семантическому "раскрытию" данного языка. А другие языки в этом отношении не так устойчивы и могут заимствовать фрагменты чужой картины мира. Существование разных типов лексических заимствований – это гипотеза, которую нужно проверить. В предлагаемой работе мы продемонстрируем возможность второго типа заимствований. Существенно, что заимствование такого рода тем не менее должно быть поддержано лексической системой языка.

Объект нашего описания – слова *округа* и *район* в значениях, представленных, например, в высказываниях *У нас в округе (в районе) по вечерам опасно. Округа* – исконное слово, а *район* заимствовано из французского. Лексема *округа* не употребляется с одинаковой свободой во всех стилях речи. Нормально его употребление в двух противоположных регистрах – в поэтическом (поэтизированном) тексте и в разговорной речи. Ср. *Скоро осень, все изменится в округе* (И. Бродский); *Наступает в округе покой* (И. Бродский); и *Однажды вечером развесила я в округе объявления о том, что у нас на дому открывается детский сад* (Газета "Московские новости", 02.02.1992). Употребление слова лишь в некоторых, причем далеких друг от друга стилях речи, вообще говоря, свидетельствует о том, что данное слово уходит из языка. Действительно, логично предположить, что это слово когда-то употреблялось совершенно свободно, но теперь вытесняется другими словами, сохраняя свои позиции лишь в отдельных регистрах. Это предположение подтверждается тем, что в языке еще начала XX в. слово *округа* свободно употреблялось в нейтральном стиле; ср. *Говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого* (И. Бунин), *До революции жил в нашей округе оборотистый прасол Василий Егоров* (Полторацкий, МАС). Теперь подобные примеры ощущаются как (слегка) устаревшие.

Вместо слова *округа* теперь предпочитается лексема *район*; ср. *У нас в округе появился беглый каторжник – У нас в районе много хулиганов; В округе не было ни одной школы – Скажите, в вашем районе есть аптека?* Кажется бы, лексема *район* отличается от слова *округа* лишь стилистически: *округа* – слово уходящее, а *район*, наоборот, относительно новое⁴. Однако это не так. Рассмотрим данные лексемы подробнее.

В самом первом приближении обе лексемы обозначают не имеющую четких границ территорию, выделяемую относительно какого-либо объекта⁵. Однако объекты, относительно которых выделяются *район* и *округа* – совершенно разные.

Район выбирается относительно объекта, который говорящий выбирает в качестве ориентира, известного также и его собеседнику. Таким ориентиром может служить городской объект (улица, площадь и т.п.), населенный пункт или географический объект; ср. *Кажется, это маленький переулок в районе Волконки; Они мечтают о даче в районе Звенигорода; Группу искали в районе ледника Федченко*. К объекту, выделяемому в качестве такого ориентира, обычно предъявляются определенные требования. С одной стороны, он должен быть достаточно велик, а именно – сравним по размерам с территорией, о которой идет речь; поэтому сомнительно *В районе памятника Пушкину*. С другой стороны, этот ориентир должен быть достаточно ком-

⁴ Новизна слова *район* хорошо ощущается, в частности, благодаря его экспансии в сферу временных значений, ср. *Созволился в районе трех часов*.

⁵ Отметим, что в русском языке есть лексемы, обозначающие и четко очерченную территорию, ср., например, слова *район, область* в значении 'административная единица', а также слово *округ* (например, *Кунцевский район, Московская область, муниципальный округ*).

пактным; абсурдно *в районе Африки, *в районе Тихого океана. Выражения типа в районе Камчатки уместны лишь при "взгляде издали", когда соответствующая территория представляется как бы лишенной реальных размеров; Их судно терпит бедствие где-то в районе Камчатки.

Объект, относительно которого выделяется район, обычно представляется его центром; ср. Это случилось в районе Останкинской башни (трех вокзалов). Но это не обязательно: район может выделяться относительно неких объектов, его ограничивающих. Ср. Это где-то в районе между Зубовской и Смоленской. Существенно, что если район выделяется в пределах большого города, то в качестве его центра может выбираться место, где живет или просто находится в данный момент говорящий или тот, о ком идет речь. Ср. Будешь в нашем районе – заходи; У них в районе очень плохие магазины; Скажите, пожалуйста, вы этот район хорошо знаете?

Район может выделяться и безотносительно к какому-либо ориентиру – в этом случае он просто характеризуется общими признаками; ср. престижный район; Они живут в тихом зеленом районе и т.п.

А как выделяется округа? Она, в отличие от района, обязательно предполагает людей, постоянно живущих на данной территории (хотя она может быть и не заселена целиком). Эти люди связаны соседскими отношениями – они считают друг друга "своими", ощущают себя неким коллективом. Ср. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в торфяной? (Б. Пастернак). Люди, постоянно живущие в данной округе, считают своей и всю данную территорию, а потому они особым образом относятся ко всему, что на ней происходит. Естественно говорить у нас в округе, в нашей округе и плохо [?]в этой округе, хотя нормально в этом районе; ср. У нас в округе появились волки⁶. Тем самым, округа сближается с домом – она тоже составляет часть личной сферы людей, там живущих. Это главное отличие округи от района: слово округа употребляется не столько для обозначения территории как таковой, сколько для указания на то, что объект, там находящийся, входит в чью-то личную сферу. (Разумеется, в личную сферу можно включать и район, ср. у нас (у нее) в районе. Однако для этого нужно использовать специальные средства, например, конструкцию у меня (у нас, у нее,...). Но с помощью таких средств можно включить в личную сферу чуть ли не любой объект, ср. у нас в лесу, у них в столовой, у него в столе и т.п.)

Включенность округи в личную сферу людей, там живущих, проявляется в том, как мыслятся ее размеры. Они определяются относительно того человека, который считает ее своим личным пространством, и обычно не слишком велики; например, москвичи не считают своей округой всю Москву. При этом для людей, живущих в данной округе, расстояния внутри нее представляются близкими. Размеры района тоже относительно – они сопоставимы с размерами объекта – ориентира, относительно которого выделяется данная территория. Поэтому объективно район ледника Федченко больше, чем район Волхонки. Важно, что размеры района "не ориентированы на человека".

Есть еще одно отличие района от округи. Район представляется как часть другой, значительно большей территории. Ср. Район Волхонки сильно отличается от прилегающих к нему улиц. Округа, напротив, мыслится вне связи с окружающей территорией. Поэтому сомнительно [?]Наша округа сильно отличается от прилегающей к ней местности.

Отметим еще, что слово округа обычно употребляется, если речь идет о не слишком населенной, т.е. сельской местности; ср. Потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать (Б. Пастернак). Район, напротив, не

⁶ Отметим также неудачность [?]у меня в округе – в этом проявляется связь округи с коллективом.

предполагает никаких особенностей местности – эта лексема свободно употребляется применительно к любым местам. Правда, если район выделяется по общим признакам, его характеризующим, а именно – по характеру рельефа или объектов, там находящихся, то слово *район* приобретает стилистическую окраску – оно воспринимается как топографический термин. Ср. *В районе с такой застройкой вести бой нелегко, Местность в этом районе сильно заболочена*. Кроме того, округа обычно мыслится как "фон", на котором разворачиваются те или иные события. Нормально *в округе* (ср. *В округе произошли большие изменения*), но сомнительно *в округу, из округи* (ср. *Они приехали в нашу округу (уехали из нашей округи) всего год назад*).

Можно думать, что в слове *округа* зафиксированы некоторые черты русской языковой картины мира: это "общинность", и связанное с нею включение населенного пространства в личную сферу людей, там живущих. Кажется, что в западно-европейских языках подобного слова нет. "Личное" слово *округа* вытесняется "объективной", "холодной" лексемой *район*. Тем самым, данный фрагмент русской языковой картины мира в большой степени утрачивает свою специфичность, перестраиваясь, как то навязывает ему новая лексема *район*.

Я не буду останавливаться на внеязыковых причинах этой перестройки. Сейчас требуется хотя бы частично определить внутриязыковые факторы, благодаря которым новая лексема *район* так хорошо вписалась в лексику русского языка.

Дело в том, что способ выделения территории (не имеющей четких границ) относительно объекта-ориентира, принимаемого за ее центр, отнюдь не чужд русскому языку. Именно так устроена лексема *окрестности*. Правда, центр соответствующей территории – это не любой объект, а населенный пункт, причем обычно не слишком большой. Ср. *в окрестностях этой деревни, в окрестностях Узлича, В начале XIII века в окрестностях Москвы было много диких зверей*. Однако еще в XIX веке слово *окрестности* в форме единственного числа (*окрестность*) не обязательно предполагало населенный пункт: *окрестность* могла выделяться относительно наблюдателя, который видит местность вокруг себя. Ср. *Месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность* (Тургенев, пример из [Словаря Ушакова]). Тем самым, семантическая структура лексемы *район* оказывается очень близкой структуре слова *окрестности*.

Разобранный пример свидетельствует о том, что лексические заимствования могут в определенной степени изменять картину мира, закрепленную в данном языке, принося в нее элементы иного мировидения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. Т. I–II. М., 1995.
НОСС 1997 – Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Глашницкая, Т.В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. I / Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997.
Словарь Ушакова – Толковый словарь русского языка: В 4-х томах / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.
Урысон Е.В. 1998 – Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // ВЯ. 1998. № 2.
Wierzbicka A. 1992 – Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York, 1992.

© 1999 г. Г.И. БЕРЕСТНЕВ

**ОБРАЗЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
И ОБРАЗ МНОЖЕСТВЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ***

"Рассматривать язык не как средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть основа подлинного языкового исследования, от которого любое другое изучение языка, как бы основательно оно ни было, в сущности своей только уведит" [Гумбольдт 1985:377].

Наиболее яркой особенностью современной науки о языке является ее многоликость, простирающаяся, с одной стороны, из сложности, многомерности самого языка, а с другой стороны, из множественности точек зрения на него [Кубрякова 1994б:4]. При всем этом в ней отчетливо просматривается одно направление, которое, по-видимому, определит собой линию ее развития на ближайшие десятилетия. Речь идет о *когнитивном направлении*.

Три основные черты характеризуют когнитивизм в языкознании. П е р в а я связана с основным исходным допущением, на котором зиждутся все дальнейшие его построения: речь идет о том, что "языковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть структур человеческого сознания, мышления и познания" [Кибрик 1994:126]. При этом язык видится не единственным манифестантом сознания: признается, что оно также выражает себя в различных явлениях культуры – в мифах, обрядах и ритуалах, в произведениях искусства, в научных концепциях и т.д. [Руденко 1992: 27]. Это обстоятельство отмечается как принципиально значимое. «Языковая деятельность, – пишет В.З. Демьянков, – рассматривается как один из модусов "когниции", составляющей вершину айсберга, в основании которой лежат когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие предпосылки для последних» [Демьянков 1994: 22]. Однако именно язык занимает важнейшее место в ряду этих культурных феноменов, поскольку "языковые данные обеспечивают наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам и когнитивным механизмам" [Кубрякова 1994а: 41; см. также: Вайсгербер 1993: 116].

В т о р а я характерная черта когнитивизма в языкознании обнаруживает себя в своеобразии его объектов. Внешне это выражается в обращении языкознания к таким содержательным сущностям, которые ранее не входили в сферу его компетенции – к архетипам (в юнговском смысле), культурным концептам, концептуализированным областям и т.д. [Степанов 1991: 10]. Наибольший интерес представляет при этом базовый уровень языка – такой, на котором опыт человека претерпевает первоначальную категоризацию [Лакофф 1995: 167]¹. Отсюда простираются и внутренние,

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 98 – 06 – 80359.

¹ Ср. еще у Гумбольдта Российского: "Мы должны отыскать то средоточие, где язык и внешние проявления характера совпадают и откуда, как из единого источника, они направляются далее по своим различным путям. А таким источником явно может быть только сокровеннейшая глубина самого духа" [Гумбольдт 1984: 178].

сущностные черты своеобразия объектов, изучаемых когнитивным языкознанием. В частности, они более масштабны по сравнению с собственно языковыми квантами смысла. Шкала подобных "макроединиц" достаточно широка: начинается она полем значений отдельного слова, а заканчивается такими сверхсложными смысловыми конструкциями, как *концептуализированные области* [Степанов, Проскурин 1993: 14–17] и *картины мира* [Кубрякова 1991:7; Топоров 1992а: 161]. Кроме того, объекты когнитивной лингвистики имеют г л у б и н ы й характер – они скрыты за непосредственной языковой данностью, прямо не наблюдаются. Новые объекты языкознания имеют также о б р а з н у ю природу, но эта образность особого рода: она инвариантна по отношению ко всем частным видам образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных, эмоциональных) и лежит в основе моторных актов, организации познавательных процессов и вообще всей психической и культурной деятельности человека [Лакофф 1991; Руткевич 1991: 14]. Новые объекты языкознания относительно структурированы: с точки зрения их внутренней природы они гомогенны, диффузны уже постольку, поскольку являются образами; структурированы же они предстают при рассмотрении их с точки зрения дискретных содержательных систем – языка и сознания. И, наконец, самое главное: новые объекты как целые т р а н с ц е н д е н т ы языку и языковому сознанию. Большой своей частью принадлежат бессознательному, они не могут быть осмыслены рационально и как целые не могут быть обозначены языковыми средствами, поскольку не имеют собственных средств языкового выражения. Будучи реконструированными тем или иным способом, они либо описываются как совокупности признаков и характеристик, либо прямо представляются посредством моделей (естественных или искусственных), структурные и функциональные характеристики которых воссоздают сущностные стороны данного глобального образа².

Т р е т ь я характерная черта когнитивизма в языкознании обнаруживает себя в его целевых установках. Важнейшие из них – реконструкция базовых категорий языка и сознания и соответственно определение их структур [Лакофф 1995: 150].

Как же эти категории реконструируются в их структурном аспекте на основе языковых данных?³ Ближайший путь к этому открывают два фундаментальных всеобщих свойства языка. Первое – явление синонимии, определяемое в данном случае как *множественность средств выражения одного и того же содержания*. Второе – наличие у слова *внутренней формы*, которая, согласно А.А. Потебне, реализуется как способ выражения содержания [Потебня 1993: 124], или как способ номинации мыслимого объекта. Являясь указанием на некоторое уже известное представление, внутренняя форма слова раскрывает его отдельный признак, указывает на частную особенность представления о нем [Гумбольдт 1984: 103; Вайсгербер 1993: 102]. Полагаемые же во взаимную связь друг с другом, эти два свойства языка обнаруживают множественность "точек зрения" на конкретный ментальный объект, а по существу – множественность самих сторон этого объекта, как они видятся носителями данного языка.

Принципиально значимой оказывается здесь также возможная многоуровневая содержательная организация конкретной глубинной категории языка и сознания: некоторые из ее признаков могут иметь вариантный характер по отношению к еще более глубинному образному инварианту. Так, ещё А.А. Потебня заметил, что *скулость* носителями русского языка мыслится в ряде образов (камня, кости, пня, стянутости, сжатости), но все они восходят к единому представлению о твёрдости [Потебня 1993: 144; также Петлёва 1972]. Очевидно, что подобные инвариантные

² Как показали Ю.С. Степанов и С.Г. Проскурин, к числу таких моделей относятся, в частности, различные алфавитные системы, воссоздающие широкий комплекс представлений о действительности, характерных для той или иной культуры [Степанов, Проскурин 1993: 73 и далее].

³ Этот вопрос можно было бы сформулировать и иначе: как язык обнаруживает глубинные категории сознания?

представления ближе к базовым категориям языка и сознания, чем частные их репрезентанты.

В соответствии с этим, раскрывая обозначенную в заглавии работы тему, мы будем опираться на следующий ряд положений:

а) содержательные структуры языка являются формой проявления (или даже внешним способом существования) языкового сознания;

б) категориальные структуры языка и сознания суть особые глобальные образы (представления), а поэтому и их конституенты имеют образный характер;

в) установление всей совокупности образов, посредством которых *множественность* мыслится носителями русского языка, есть реконструкция в *н е ш н е й* (соотнесённой с языком) структуры категориального представления о множественности в русском языковом сознании;

г) конечная цель реконструкции представления о множественности в русском языковом сознании – установление *н в а р и а н т н ы х* образов, с которыми она связывается, а также установление собственной структуры этих инвариантов.

В русском языковом сознании идея *множественности*, "*умножения*" ориентирована на следующие образы:

а) *с и л а*.

Русск. (арх.) *бодрой* 'обильный, богатый, хороший (об урожае)' при русск. *бодрый* 'дюжий, здоровый, сильный' [Даль I: 138]; *большой* 'значительный по количеству, многочисленный' и 'значительный по силе, интенсивности, глубине' – *большой мороз, большой удовольствие*, также при существительных, характеризующих качество человека, имеет усилительный смысл: "в высокой степени, чрезвычайный" – *большой добряк, большой нахал* [МАС I]; *порато, порать* 'много' и 'сильно, очень, весьма, крепко, больно' [Даль III: 310–311], *поратый* 'бойкий, сильный, дюжий, усердный, ражий' [Даль III: 311], сюда же: *порной, порный* 'здоровый, крепкий, сильный, дюжий', *поровой человек* 'не старый, а в поре, во всей силе, середовой' [Даль III: 310]; *раже, ражо* 'много, обильно' – *ражий* 'крепкий, плотный, здоровый, сильный' [Даль IV: 12]; *рамяный* 'обильный' и 'сильный' [Даль IV: 58] при родственном *рамо* 'мощь, сила, могучая рука, власть' [Даль IV: 121]; русск. (тамбовск.) *резко* 'много, обильно' [Даль IV: 201], а *резкий* может обозначать интенсивность – ср.: *резкая боль; сила* 'множество, несчётное число, тьма, пропасть' – *ныне сила хлеба, сила снегу пало* [Даль IV: 184] и *сила* 'force'; *толикий* 'столький, столь многих, великий, сильный' [Даль IV: 411].

В этом же ряду, по-видимому, стоят следующие менее очевидные примеры: слова *разводить, развести* 'заняться выращиванием чего-л., уходом за животными, растениями, добываясь их роста, размножения' [МАС III: 592] выражают идею "умножения", а признак силы у слов с корнем *вод-, вед-* выражается в таких сочетаниях, как *дерево ведёт (свело, повело)* 'коробит, корчит, рвёт' [Даль I: 233], *ногу свело* 'стянуло, сжало или согнуло, скорчило' [МАС IV: 44]; слова *хватить, хватать* 'быть достаточным для кого-, чего-л.' [МАС IV: 595] выражают идею достаточного множества, однако *хватить* (при управлении *на что*) выражают значение 'оказаться в силах, в состоянии сделать что-л.; поступить как-л'. – *на это меня хватит, не испугаюсь* (Гаршин. Происшествие) [МАС IV: 595].

Пример, затрагивающий родственные отношения, выходящие за пределы русского и вообще славянского ареала, – русск. *обилие* 'множество, избыток, изобилие', 'богатство, довольство' [Даль II: 584] из прасл. **obilь* из **obvily*, откуда также ст.-слав. *извианк* 'изобилие', *възвнть*, 'прибыль', которым родственно, в частности, лат. *vis* 'сила' [Фасмер III: 100–101].

б) *б о л ь ш и е р а з м е р ы*.

Русск. *большой* 'значительный по количеству, многочисленный', *больше* – сравнительная степень наречия *много* 'в большом количестве, в значительной степени, не мало' [МАС II: 289], где *большой* 'значительный по величине, размерам' [МАС I: 166], 'великий, обширный, значительных размеров; пространный, объемистый, длинный, долгий, высокий' [Даль I: 113]; *не от велика* 'несколько, немного, маловато' [Даль I: 176] с отрицанием и в определяемом, и в определении, а *великий, велий* – 'превышающий обычную меру, сравнительно с другими обширный, большой' [Даль I: 175]; *выше* 'более по числу или количеству' из *выщий* 'большой, величайший, наибольший, высший по силе, величине, власти' [Даль I: 338], здесь же *вятка* (смоля.) 'толпа, куча или вренца, ватага' [Даль I: 338]; диал. *галямо, голямо* 'очень много' [СРНГ 6: 124], *голомя, голумя, голымя* 'много (о времени); долго, довольно долго' [СРНГ 6: 321–323], восходящие к прасл. **goleť*, который, как отмечают авторы ЭССЯ, представлял собой реликт и.-е. суперлатива 'очень большой, самый сильный' [ЭССЯ 6: 203]; диал. *громада* 'большое количество людей, толпа народа; сельская сходка, собрание жителей села, деревни, на котором разбираются общественные дела' [СРНГ 7: 149], непосредственно связанное с *громада* 'что-л. громадное по своим размерам; предмет, сооружение, масса очень больших размеров', *громадный* 'чрезвычайно большой по своим размерам, массе или объему, огромный' [МАС I: 349]; *добрый* (разг.) 'целый, полный, в полную меру (о количестве)' – *на вид ему было добрых пятьдесят пять* и 'большой, основательный, солидный' – *добрая краюха хлеба* [МАС I: 411]; *туча* 'огромное множество, пропасть, бездна (о подвижном, о толпе)' – *туча народу* [Даль IV: 445] и вместе с тем 'что-либо огромное, пухлое, тучное, громоздкое, объемистое и рыхлое, составное, сборное; куча' [Даль IV: 445]; *пышный* 'роскошный, обильный' и 'полный, вздутый или толстый, но притом легкий и рыхлый' [Даль III: 548].

Особого внимания заслуживает здесь также способность слова *большой* устойчиво функционировать как метаединица описания значения множественности, ср.: *много* 'в большом количестве, в значительной степени, не мало' [МАС II: 280].

в) сила нечистая и сила благая.

Русск. *до чёрта* 'очень много' и 'до крайней степени, очень сильно' [МАС IV: 669], ср. такие славянские параллели, как укр. *достобіса*, польск. *do diabła (i trochę)*, чеш. *po čertech* и т.п. В народном мифопоэтическом сознании основным атрибутом черта, беса, дьявола вообще представлялась сила, ср.: *много в чёрте силы, да воли ему нет*. Более того, сами эти сущности мыслились как воплощения силы, имеющей деструктивный характер, что обозначилось в постоянном и широко распространенном именовании их словом "сила" с определениями "нечистая", "черная" и т.п. Так, у Даля находим: *чёрт* 'черная сила' [Даль IV: 597], *бес* 'вражья сила', 'нечистая сила', 'черная, неключимая сила' [Даль I: 517].

Понимание черта, беса, дьявола как *силы* получило и непосредственное выражение в языке. В частности, еще одно значение русского выражения *до чёрта* – 'до крайней степени, очень сильно' – *устал до чёрта, до чёрта надоело* [МАС IV: 669], а *чертовский* (разг.) 'необычайный по силе, по степени проявления' [МАС IV: 670]. Это же значение имеет наречие *чертовски* 'очень, в высшей степени' – *чертовски хорошо, чертовски обаятельный человек*, ср. словац. *čertovsky* с тем же значением, польск. *diabło – diabło ładna kobieta, jestem diabło głodny, diabelnie i diabelny – była diabelnie ładna, miał diabelnie zdolności*.

Подобной же способностью развивать значение множественности обладает противоположная нечистой – светлая, благая сила. Ее носителями и воплощениями являются различные ангельские существа (один из чинов ангельских прямо называется *Силы* [Аверинцев 1991: 362]). Однако высшим носителем и распорядителем благой силы представляется сам Бог, ср.: *Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество* (Псалт. 20, 14); *Боже! Ты Бог мой, тебя*

от ранней зари ищущая; Тебя жаждет душа моя, но Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою... (Псалт. 62, 2 – 3). Высшая степень проявления благой силы, собственно, и есть Бог, ср.: "...эти божественные мудрецы многоименно славословят его то как Благо, Прекрасное, Премудрое..., то как Святое святых, Бога богов, Господа господствующих..., то как Премудрость, Разум, Слово, С и л у ... [Дионисий Ареопагит 1991: 20]. В этом отношении показательны также эпитеты Бога в русской языковой традиции: *Всевышний, Всемогущий, Крепкий, Крепкий* [Даль II: 206]. Признак силы в структуре представления о Боге и объясняет развитие значения множественности у производных прасл. **bogъ*: рус. *богатый* 'обильный, изобильный, избыточный, многий' [Даль I: 102], бел. *багата* 'много, обильно, щедро', укр. *багато* 'много', сербско-хорв. *богат* 'многий, обильный', словен. *bogat* 'обильный', польск. *bogaty* 'богатый, изобилующий', чеш. *bohately* 'обильный (об урожае)', словацк. *bohately* 'обильный, пышный, густой'.

г) неупорядоченное движение.

Русск. *варь* (ряз., тамб.) 'топья, куча, тма, множество' [Даль I: 166], где *варьма, варья* ряз. 'кишмя' [Даль I: 166], *варить* 'кипятить, приводить на огне в кипение' [Даль I: 165]; *кишетъ* 'копышиться, гомозиться, возиться кучею, толпою, кипеть, шевелиться в мелких частях своих' [Даль II: 112]; *юро* (арх.) 'ятва, стая, косяк, руно рыбы; стадо или залежка тюленей, моржей, белух, морского зверя' [Даль IV: 668], *юрюк* 'купа, кипа, куча; пук, связка, беремя; стая, стадо, косяк' [Даль IV: 668], связанные с *юрить* 'метаться, суетиться, соваться во все концы; кишеть, заботливо или играя толпиться, суетиться, толкаться туда и сюда' [Даль IV: 668].

д) неупорядоченные массивы.

Русск. *воз* (перен. разг.) 'большое количество, множество чего-л.' [МАС I: 196]; *гора* множество, большое количество чего-л., сложенного в кучу, нагроможденного, сваленного кучей' [МАС I: 331]; *груд* 'куча, груды; большое количество, множество чего-л., собранное на ограниченном пространстве; беспорядочное скопление людей или животных' [Деулинск: 128], *груда* 'насыпанная гора, курган; масса, большое количество чего-л., множество' [СРНГ 7:158–159], *груда* 'большое количество каких-л. предметов, сложенных, нагроможденных один на другой; куча' [МАС I: 351]; др.-рус. *копнѣти* 'собирать (людей, войско)' [Срезневский I: 1281], диал. *копнѣся* 'увеличиваться в числе, количестве (о живых существах)', связанные с *копа* диал. 'большое количество, множество' и 'большая куча сена, снопов, хлеба, копна' [СРНГ 14: 28]; *купа* 'груда, куча, ворох, кипа; группа, сбор, собрание вещей, предметов в одно место' [Даль II:219], *купина* 'соединение нескольких предметов' [Даль II:219]; *куча* (разг.) 'большое количество, множество', но также 'большое количество чего-л., обычно сыпучего, мелкого, наваленное, насыпанное в одном месте' [МАС II:156]; *навалом* (прост.) 'о наличии чего-л. в большом количестве, в избытке' [МАС II:330], которое также имеет значение разг. 'беспорядочной кучей' [МАС II:330], *навалить* 'небрежно, беспорядочной кучей набросать' [МАС II:329], *навал* 'груда, куча чего-л.' [МАС II:329]; *пук* 'сноп, связка, горсть, охапка (о стеблях, прутьях и пр.)' [Даль III:537], *пучить* 'выпялить, вздывать, вздывать или горбить, коробить' [Даль III:537].

е) массы.

Русск. *густо* 'много' – у него *денег густо* [Даль I:409], где *густой* 'плотный, частый, крутой; нередкий, неожиданный, нетонкий' – *густой лес, густая шерсть, густой кисель* [Даль I:409]; *жир* 'богатство, достаток, избыток, роскошь' [Даль I:542], *жирно будет* 'слишком хорошо, слишком много' [МАС I:486], *жирная вода* 'высокая, разлившаяся, половецкая' [Даль I:543], где реализуется идея массы, от *жир* 'тук из животных, сало' [Даль I:542]; *толсто будет* 'много, жирно, затейливо' [Даль IV:414], при таких родственных словах, как: *толща* 'объем вещества, тело, масса, что измеряется по трем протяжениям: длины, ширины и высоты (или глубины)' [Даль IV:413], *толстый*

‘в чем есть толща, вещественный объем, глубина, вышина; телесный, вещественный’ [Даль IV: 413]; *тучный* ‘обильный’ – *тучные луга* “травные, обильные” [Даль IV:441], а исходное *тук* ‘жир, сало, вязь’ [Даль IV:441];

ж) локальное единство.

Русск. *витать* ‘водиться, плодиться где’ [Даль I:207], *витать* ‘обитать, пребывать где-либо, постоянно или временно’ [Даль I:207] с вариантным значением жизни, бытия, ср.: *витаются* (стар.) ‘здороваться, желая друг другу жизни и здоровья’ [Даль I: 207], которым родственно лит. *vieta* ‘место’ [Фасмер I:321]; *вместе* ‘обще, сообща, вкпе, совокупно, нераздельно, безраздельно, заодно с кем или с чем, союзно, совместно, разом’ [Даль I:215], *вместенный, вместный* ‘общий, нераздельный’ – у нас *хлеб вместный* [Даль I:215] из формы местн. пад. ед. ч. *въ мѣстѣ* или формы местн. пад. множ. числа *въ мѣстѣхъ* [Фасмер I:328]; *общать, общить* ‘приобщать, соединять, смешивать; считать вместе, заодно’ – не *общи одного дела к другому, разбирай порознь* [Даль II:634], *общаться, общиться* ‘приобщаться, соединяться, быть заодно’ [Даль II:634], *обще* ‘вместе, вкпе, в товариществе, заодно, согласно, соединенно’ – *мы с ним обще торгуем* [Даль II:634] из прасл. **obъto* “то, что вокруг” [Фасмер III: 110]; *собирать, собрать* ‘сосредоточить в одном месте (много, многих)’ [МАС IV:171]; *толпа* ‘скопище, сборище, сходбище, толкотня, множество сошедшихся вместе людей’ [Даль IV:413], *толпить народ* ‘сгонять, теснить в кучу, в толпу’ [Даль IV: 413], прасл. **tьpa, *tьpa* родственны лит. *talpa* ‘емкость, объем’, латыш. *talpa* ‘помещение’ [Фасмер IV:74].

з) схватывание - удержание.

Русск. *берема* ‘охапка, сколько можно обнять руками; вязанка чего, в подъем человеку’ [Даль I:83], родственное словам *братъ* и *беру* [Фасмер I:155]; *объем* ‘охват, охапка, что можно обнести и охватить руками’ [Даль II: 607], но также ‘обым, обымка, объятие, объятие’ и ‘мера, размер, величина, пространство, обширность; окружность, пределы, обнимающие предмет’ [Даль II: 607]; *охаб(н)ка* ‘беремя, объем, охват, что можно охватить руками, унести, обнять’ – *дай охаб(н)ку дровец* [Даль II: 630], где *охапнуть* (вологодск. воронежск.) ‘обнять руками’ [Даль II:630]; *уйма* (вост.) ‘множество, пропасть, без числа, обширное, огромное пространство, простор’ [Даль IV:480], где *уять* ‘поять, схватить’ [Даль IV:480]; *хватить, хватать* ‘быть достаточным для кого-, чего-л.’ [МАС IV:595], где выражается идея достаточного множества, и в то же время *хватать* ‘брать или цапать, ловить, внезапно, быстро задерживать’ [Даль IV: 480]; *ятва* (новг.) *ятво* (волог.) ‘стая, косяк рыбы, руно, юрово; густой ход рыбы’, также ‘обильный залов’, а родственные им *ятие, ятва* ‘бранье, взятие; ловля, ловитва, емля, иманье’ – *идти на ятву* “на ловлю” [Даль IV: 682; ср., однако: Фасмер IV: 567].

и) усиление при объединении элементов во множество.

Русск. *кукобитъ* ‘копить, запасать, наживать (богатство)’ [Даль II: 213; СРНГ 16:38] при русск. двал. *кукать* ‘бить, колотить кого-л.’ [СРНГ 16:33], ‘бить кулаком’ [Даль II: 213], *куковьяка, куковка* (вор., костр.) ‘палица, долбня, кий’ [Даль II: 213], но вместе с тем и *кука* ‘кулак, сжатая ладонь’ [Даль II:213], *кукишка* (тверск.) ‘коса, косичка, пучок волос на затылке у церковника, особ. свернутая комком’ [Даль II:213], *кукситься* (псковск., тверск.) ‘усаживаться, гнездиться, ежась’ [Даль II:213]; *собирать, собрать* ‘сосредоточить в одном месте (много, многих)’ [МАС IV: 171]; здесь же выражения типа *сколачивать состояние, сколотить немалую сумму*.

к) утрата имеющейся бытийности.

Русск. *гибель* ‘множество, бездна, тьма, пропасть, несчетное количество’ [Даль I: 350], ‘несметное множество’ [МАС I: 308] – ...*чай, наехало в Москву народу гибель; ведь теперь дело праздничное...* (Н. Полевой. Клятва при гробе Господнем), но также ‘пропажа, потеря, трата, утрата, уничтожение, разрушение, конец, смерть’ [Даль I:

349], 'полное разрушение, прекращение существования (при катастрофе, бедствии, намеренном уничтожении и т.п.)' [МАС I: 307]; *пропасть* 'несметно много, несчетное число, огромное количество' [Даль III: 501], непосредственно соотносящееся с *пропаль* 'что-либо погибшее, пропавшее, нагодное' [Даль III: 501] и *пропадать, пропасть* 'гибнуть, погибать, уничтожаться' [Даль III: 501].

л) о б н о в л е н н а я б ы т и й н о с т ь .

Русск. *доставать* 'ставать, стать, доспорить' [Даль I: 478], *достаточно, достаточно* 'довольно, не мало, сколько нужно, досыта' [Даль I: 479], восходящие к *стать* 'измениться, принять иные свойства, качества' [Даль IV: 309], выражающему идею "обновленного существования", становления, ср.: *стало темно, больному стало полегче*, при их непосредственном родстве словам *ставаться, стать* 'случиться, сделаться, сбыться, состояться, приключиться' – *беда сталась; не может стать* (т.е. не может быть); *не того бы хотелось, да так стало* [Даль IV: 309]; сюда же: *стадо* 'много однородных животных вместе, вкуче; толпа, куча, скоп. животных' [Даль IV: 314; ср. Фасмер III: 743], *стая* 'стадо зверей, птиц, иногда руно рыбы' [Даль IV: 319] и *стая* (яросл.) 'несколько изб кучкой, в одной связи, под одной крышей, с общими сенями и переходами' [Даль IV: 319, ср. Фасмер III: 749]; *прибавлять* 'на(до)бавить, придать, приложить, прикинуть, увеличить количество чего-либо' [Даль III: 398], восходящее к *быть* [Фасмер I: 101], и родственные ему *бавить* 'продолжать, длить, должить, увеличивать, прибавлять' [Даль I: 35], *бава* 'довольство, достаток, обилие' [Даль I: 35], также: *прибывать* 'умножаться, увеличиваться, усиливаться, вырастать, прибавляться' [Даль III: 400], *прибыль* 'рост, увеличение, умножение, приращение или прибавка' [Даль III: 400].

м) м е р а , н о р м а .

Совр. русск. *количество* 'категория, характеризующая предметы и явления внешнего мира со стороны величины, объема, числа, степени развития' [МАС IV: 73] – от цслав. *количество*, связанное с рус. *коли, коль* 'если, когда, буде' [Даль II: 137], выражающим идею бытийности, но вместе с тем *коль* 'сколь, сколько, колико' [Даль II: 137], *колико* 'сколь, сколько, сколь много' [Даль II: 137], *коликий* 'сколь великий, сколь многий' – *коликий вред приносит праздность!* [Даль II: 137], (еще более отчетлива идея меры в польск. *kilka* 'несколько (в пределах первого десятка)', белорусск. *какая* 'какой (по величине)'; *толикий* 'столький, столь многий, великий сильный' [Даль IV: 411], *только* 'не более того' – *только стало на платье* "лишку нет" [Даль IV: 411], *тольный, толичный* 'лишь такой, лишь в том количестве, не более' [Даль IV: 411], связанные с *толико, толь, тольма* 'столь, столько; до такой степени, до того' [Даль IV: 411] и *утолять* 'укрощать, успокаивать, усмирять, утишать, умерять' [Даль IV: 521], в семантических структурах которых также прослеживается инвариантный признак меры.

Вместе с тем идея "мерного множества" выражается посредством указания на избыток, остаток, на то, что лежит вне самой этой меры, ср.: *лихва* 'избыток, излишек', *лиховье, лиховина* 'лишки, излишек' [Даль II: 257], образованное от *лихой* 'молодецкий, хватский, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухарский, смелый и решительный', но вместе с тем и 'злой, злобный, мстительный, лукавый' [Даль II: 257], т.е. с инвариантным значением "выделяющийся по степени, силе проявления"⁴, и родственные этим словам *лиш, лишь* 'лишек, избыток', *лише* 'свыше, более, сверх'

⁴ Ср.: "При наличии конверсных отношений (типа *давать* – *брать*, *покупать* – *продавать*) реконструкция предполагает постулирование такой семантемы для архетипа формально соответствующих слов, в которой противоположные признаки (выступающие в одной из реальных форм в первом значении, в другой – во втором значении, ему противоположном) нейтрализуются (конверсные значения *давать* – *брать* можно возвести к термину для обобщенного обмена, включающего и акт дачания, и акт взятия; ср. понятие нейтрализации в фонологии и морфологии) [Гамкрелидзе, Иванов 1984: xc – xc1].

[Даль II: 260], *лишки* 'остаток, избыток; что-либо не нужное в дело' [Даль II: 260], *лишний* 'излишний, избыточный, избывающий', 'большой против нужного, должного; превосходящий данную меру, вес, число', 'остающийся без употребления в избытке; ненужный' [Даль II: 260].

н) удовлетворенная потребность, "до предела".

Русск. *вдоволь*, *вдовола* 'вволю, сколько хочешь, доvoli, довольно, досыта, вдоволь, достаточно, много, обильно' [Даль I: 173], *доволи*, *довольно* 'достаточно, избыточно, немало, много' [Даль I: 448], *довольный* 'достаточный, обильный, изрядный', *доволина*, *доволенка* 'достаток, избыток, довол' — *он наделил сына с доволиной* [Даль I: 448], *вволю* 'вдоволь, довольно, сколько хочешь, достаточно, много, обильно, избыточно' [Даль I: 171], *воля* 'желание, стремление, хотенье, похоть, хоть, вожделение, вся нравственная половина человеческого духа' [Даль I: 238]; *вдосталь* (оренб.) 'достаточно, довольно, сколько нужно' [Даль I: 173], *досталь* 'остаток, остатки, последки' — *зима на достальях* [Даль I: 479]; *в досталь* 'вдосталь, совсем, вовсе, до конца, вконец, вкорень, водерень' [Даль I: 479]; *досыта* 'вволю, вдоволь, много' [Даль I: 481], *сытый* 'поевший вволю, утоливший голод свой, наевшийся, кого не позоывает на еду, кто не хочет есть' [Даль IV: 377], *сытой* 'вмеру обильный, полный. довольный' — *сытая вода* 'полная в корыте, самая высокая в берегах, без разлива или поёма' [Даль IV: 377], *сытеть* (волог.) 'прибывать, полнеть, не разливаясь еще за берега' (о воде) [Даль IV: 377].

Все эти образы, связываясь с единой идеей множественности, раскрывают совокупность сторон соответствующего категориального представления и таким путем описывают его. Очевидно при этом, что как целое данное бессознательному носителей русского языка. Тем не менее эта целостность, будучи реальной, сама заявляет о себе: обращение к одной структурной составляющей ведет к актуализации всего представления о множестве и, следовательно, к актуализации других элементов его структуры. Эти связи обнаруживаются как корреляция значений в семантических парадигмах приведенных слов или как отношения мотивации. Ср.:

а) корреляция значений множественности, больших размеров и силы.

Вяце 'более по числу или количеству' из *вляций* 'большой, величайший, наибольший, высший по силе, величине, власти' [Даль I: 338]; диал. *галлямо*, *голямо* 'очень много' [СРНГ 6: 124], *голомя*, *голумя*, *гольмя* 'много (о времени); долго, довольно долго' [СРНГ 6: 321–323], восходящие к прасл. **goleťь*, со значением 'очень большой, самый сильный' [ЭССЯ 6: 203];

б) корреляция значений множественности и больших размеров.

Бава 'довольство, достаток, обилие' [Даль I: 35], *прибавлять* 'на(до)бавить, при- дать, приложить, прикинуть, увеличить количество чего-либо' [Даль III: 398], *прибавляться* также 'увеличиваться, расти' [Даль III: 398];

в) корреляция значений множественности, и больших размеров и схватывания.

Уйма 'луга', 'дремучий, огромный лес', где актуален признак больших (пространственных) размеров [Даль IV: 480], образованное от *уять* 'пойть, схватить' [Даль IV: 480];

г) множественность, большие размеры, сила и бытийность.

Прибывать 'умножаться, увеличиваться, усиливаться, нарастать, прибавляться' [Даль III: 400] от *бывать*, *быть* 'существовать, обретаться, находиться где, присутствовать' [Даль I: 147].

Заметной чертой структурных компонентов категориального представления о множестве выступает их "неравноценность" в составе целого. Одни из этих компо-

нентов имеют больший вероятностный вес (более частотны) и связаны между собой более прочными системными связями, что на поверхностно-языковом уровне обнаруживается в наличии достаточно устойчивых (возможно, универсальных) корреляций между элементами семантических парадигм соответствующих слов. Другие – менее частотны, их системные связи имеют менее определенный характер и сами они, по-видимому, уникальны для русского языкового сознания. Так, с особой отчетливостью проступают связи между образами *силы*, *больших размеров* и *неупорядоченных массивов*, что уже само по себе говорит об их особой значимости в структуре целого. Гораздо менее отчетливы эти связи в отношении образов *меры*, *нормы* и *удовлетворенной потребности*.

Отмеченные особенности структурных компонентов категоривального представления о множественности значимы и еще в одном отношении. Они показывают, что *сами эти компоненты обладают неравной способностью к репрезентации смысла множественности на уровне языка и языкового сознания*. Достаточно очевидно, что лучше всего его передают образы больших размеров, неупорядоченных массивов и силы, а менее определенно он мыслится в связи с образами меры, нормы и удовлетворенной потребности.

Эта картина обретает дополнительную ясность при воссоздании ее на более высоких уровнях обобщения. Первый из этих уровней характеризуется возможным сведением конкретных признаков категоривального представления о множественности к их инвариантам. Вся совокупность его структурных характеристик описывается в этом случае следующими образными мотивами:

1. сила (вариантными являются образы *силы*, а также *силы нечистой* и *силы благой*);
2. большие размеры;
3. неупорядоченность, диффузность (вариантными являются образы *неупорядоченного движения*, *неупорядоченных массивов* и *массы*);
4. локальность;
5. объединяющее и удерживающее усилие (вариантными являются образы *схватывания–удержания* и *объединяющего усилия*);
6. отмеченная экзистенциальность (вариантными являются образы *утраты имеющейся бытийности* и *обновленной бытийности*);
7. мера: объективная – “норма” и субъективная – “удовлетворенная потребность”.

В этом случае *множество* в русском языковом сознании предстает как *нечто*, обладающее признаком силы, большое по размерам, неупорядоченное и неопределенное в своих составляющих; это нечто требует внешних усилий, для того чтобы стать реальностью; при этом оно перестает быть тем, чем оно было ранее, и обретает статус новой реальности; это нечто локально привязано, организуясь относительно определенного места; оно, наконец, мыслится как объективная или субъективная мера чего-либо.

Еще более строгий вид обретает структурная организация глубинного категоривального представления о множественности при описании его в терминах следующего уровня обобщения. В этом случае все образные репрезентанты множества сводятся к четырем классам:

- I. Факторы внутренние: сила, большие размеры, внутренняя неупорядоченность;
- II. Факторы внешние: объединяющее и удерживающее усилие;
- III. Характеристики экзистенциальные: бытийность, локальность;
- IV. Характеристики функциональные (роль представления о множестве в картине действительности): субъективная или объективная мера чего-либо.

С этой точки зрения множество – это *нечто*, возникающее под воздействием определенных внутренних факторов (сила, большие размеры, неупорядоченность) или же факторов внешних (объединяющее и удерживающее усилие), характеризующееся бытийностью и локальностью и занимающее конкретное место в картине мира носителей русского языка.

Попытаемся определить ранг каждого из этих образных классов (будем помнить, что все они включают в себя частные образные репрезентанты). *Функциональные характеристики* явно имеют вторичный характер по отношению к самому представлению о множественности, поскольку *идея множества как меры может возникнуть лишь после того, как сформировалось само представление о нем*. Не будучи связанными со знаниями о происхождении множества, образные признаки меры, нормы и удовлетворенной потребности не раскрывают собой и существа его самого. В терминах поля это отношение может быть охарактеризовано так: образы меры, нормы и удовлетворенной потребности составляют самую дальнюю периферию глубинного категориального представления о множественности.

Экзистенциальные характеристики (бытийность, локальность) также не раскрывают существа множества, хотя уже и ориентированы на него. Они составляют собой, с одной стороны, простое резюмирование его бытия, а с другой – указание на условие, при котором это бытие осуществляется. Вследствие этого образы бытийности и локальности должны быть отнесены к внутреннему уровню дальней периферии категориального представления о множественности.

Внешние и внутренние факты, образующие множество, на первый взгляд противопоставлены друг другу как равноценные. На самом деле это не совсем так. Под воздействием *внешнего фактора* во множество объединяются некие разрозненные, самостоятельные единицы, которые лишь после этого начинают мыслиться как целое. Принципиально значимой оказывается здесь процессуальная сторона явления, свидетельствующая о языковой оформленности мысли о таком множестве (соответствующие слова по преимуществу являются глаголами). И – отметим это особо – для образования такого множества оказываются необходимыми специальные внешние усилия.

Под воздействием же *внутренних факторов* множество “рождает себя само” в недрах целого, оставаясь при этом целым. Мысль о нем (т.е. его образ) находится в этом случае за пределами языка: она безразлична к категориально-грамматическому оформлению, одинаково легко входя в любые частеречные рамки. Наконец, множеству, возникшему под воздействием внутренних факторов, присущ собственный внутренний импульс силы, величина которого соразмерна самому множеству (чуть ниже мы рассмотрим этот момент более подробно).

Все это достаточно ясно говорит о том, что *внешние факторы* (образцы объединяющего и удерживающего усилия) составляют собой ближнюю к ядру периферию категориального представления о множественности, а *внутренние факторы* (сила, большие размеры, внутренняя диффузность, неупорядоченность) составляют его ядро.

Дальнейший анализ отношений между ядерными образными репрезентантами множества (образцами силы, больших размеров, внутренней неупорядоченности, диффузности) позволяет установить первичные элементы в структуре категориального представления о множестве, относящиеся, как кажется, к базовому уровню сознания.

Прежде всего об образном признаке *неупорядоченности, диффузности*. Он связан с представлением о размерной неопределенности множества и обусловлен им. В самом деле, множество – это лишь некая совокупность, величина которой строго не определена, поскольку не является значимой в принципе. Такой *без-размерностью* множества предопределяется его континуальность – текучесть, размытость границ между его элементами и, вследствие этого, его собственная внутренняя динамика.

Мысль о множестве в этом его аспекте – это постоянное, безостановочное блуждание между "более чем единицей" и "бесконечностью".

В данном отношении множеству противопоставляется *натуральное число*, которое, прежде всего, строго определено в своей величине. Определенность эта выражается также в дискретности элементов числа, отграниченности их друг от друга – т.е. в статусе *единицы* каждого из них. Уже число *два* рождается как соединение двух единиц. Ср. у Плотина: "Двоица занимает уже второе место, так как происходит и получает определенность от одного, сама же по себе без него не может иметь ни бытия, ни определенности" [Плотин 1994: 16]. Этот принцип лежит в основе "рождения" любого натурального числа: конкретные его составляющие – это единицы, которые входят в его состав, воссоздают его собой, имея, таким образом, определяющий характер [Плотин 1994: 16].

Представления об определенности числа в целом и в частных его составляющих обозначились также в культурной практике. Чтобы число "состоялось", т.е. обрело свою конкретность, каждый его элемент должен быть каким-то образом *от-мечен* и *по-мечен*. Отсюда *смета* 'примерный расчет, расценка, роспись вещам, припасам, доставке, ценам, работам на какое-либо дело, особ. на постройки' [Даль IV: 242], выражающее идею подсчета, образованное от *сметать, сметить* 'пере-(на-, по-)метить, класть метки' [Даль IV: 242] и *метить* 'помечать, класть метку, метки, знак' [Даль II: 371]; также *считать, счесть* 'определить число, количество чего' [Даль IV: 281], *честь* 'считать' [Даль IV: 599], которые находятся в отношении родства со словами *отчет* 'показание счетом расхода и прихода денег или припасов за известный срок' [Даль III: 759] и далее *отчетливый* 'такой, каждый элемент которого хорошо различается, четкий' [МАС II: 722] и *четкий* 'ясный, разборчивый' [Даль IV: 599]. Само слово *число* (согласно Фасмеру, из прасл. **čit-slo* [Фасмер IV: 368]) родственно последним примерам.

Именно указанные свойства числа – *о-определенность*, целостность и "единичность" его составляющих – делают его семантически, т.е. наделяют способностью к моделированию различных отношений между конкретными мыслимыми объектами, которые в этом случае *занимают позиции его элементов*. Так, *один* воссоздает представление о целостности, единстве⁵; *два* делает умопостигаемым на образном уровне взаимное дополнение и вместе с тем противопоставленность; *три* моделирует отношение равноправного гармоничного взаимодействия и т.д. [Топоров 1992б: 630; Топоров 1980: 22–23]. Эту семантическую чисел К.Г. Юнг находил весьма важной. "Простые числа, которыми мы пользуемся при счете, – писал он, – значат больше, чем мы думаем. Одновременно они являют собой мифологический элемент..." [Юнг 1991: 42]. В.В. Налимов и Ж.А. Дрогалкина занимают во взгляде на моделирующую функцию чисел еще более строгую позицию, прямо указывая, что "число само по себе является изначальным знаком – архетипом нашего бессознательного" [Налимов, Дрогалкина 1995: 224].

Все это позволяет нам сделать следующий вывод: *множество* как нечто континуальное, неопределенное в своей размерности тем не менее содержит внутри себя предпосылки структурной организации – предпосылки *числа*. Еще не являясь числом, множество этой своей особенностью ориентируется на него, внутренне готовясь стать им. В свою очередь *числа* могут рассматриваться как множества, имеющие о п р е д е л е н н у ю размерность и дискретные в своих составляющих. Выразительная и принципиально значимая, эта взаимная связь *числа* и *множества*, рассматриваемого с точки зрения его континуальности, может быть изображена посредством следующей формулы:

⁵ По всей видимости, именно эта семантика единицы была исходной. Отмечено, что в архаичных текстах *один* "означает, как правило, не столько первый элемент ряда в современном смысле, сколько целостность, единство" [Топоров 1992б: 630].

$$PI (Extens) \Leftrightarrow Numb,$$

где $PI (Extens)$ – множество в аспекте его протяженности, $Numb$ – число, а знак \Leftrightarrow обозначает взаимную их связь.

При всем этом протяженность множества непосредственно связана и с другим ядерным фактором – *величиной*. Уже неупорядоченные массивы, в связи с которыми мыслится множество, – это всегда нечто более или менее значительное по своим размерам, ср.: *воз, куча, грудa, гора (чего-либо)*. Вместе с тем большие размеры – это вполне независимый фактор, связываемый с самим образованием множества. Увеличение, рост видится первейшим реальным шагом к этому или по крайней мере необходимой предпосылкой. Так, Плотин, специально отмечая это обстоятельство, писал о своем трактате "О Числах" следующее: "[Да], именно, – всякое [явление становится] множественным, когда, бессильное оставаться в себе, разливается и растягивается в своем рассеянии; совершенно лишаясь при этом в [своем] растекании единого, [единства], оно становится таким множеством, в то время как [ибо] одна часть [уже] не единится с другой частью" [цит. по: Налимов, Дрогалина 1995: 46].

Эти замечания позволяют нам внести поправку в исходную формулу, изображающую глубинную структуру представления о множестве. Протяженность множества мы отобразим в сочетании с его большими размерами:

$$PI (Large \& Extens) \Leftrightarrow Numb,$$

где *Large* – "большой", а $\&$ – знак условного сочетания, единства факторов *Large* и *Extens*⁶.

Какое же место занимает в этой картине *сила* и какие дополнительные детали присутствуют в ней? Ответ на эти вопросы способен дать дальнейший анализ фактора больших размеров. Он связывается нами с идеей существования функций *Magn*. Высказанная более четверти века назад, эта идея оказалась чрезвычайно плодотворной для современной когнитивной лингвистики, поскольку ввела в поле зрения исследователей особые "виртуальные" смыслы, которые обнаруживают себя в о т н о ш е н и я х между лексическими значениями и которые позволяют воссоздать еще более глубинные, спонтанно возникающие содержательные сущности [Мельчук 1974: 78].

Вслед за Мельчуком мы будем считать функцией *Magn* постоянную зависимость между словами, описываемую равенством отношений $fX_1 : X_1 = fX_2 : X_2 = \dots = fX_n : X_n$ [Мельчук 1974: 78]. Сам он настаивает на том, что лексические функции вообще – это лишь показатели особых отношений, не имеющие собственного содержательного наполнения. «Позволяя себе говорить о ЛФ (лексических функциях. – Г.Б.) как о "смыслах", – пишет он, – мы существенно упрощаем изложение; необходимо только все время помнить об условности подобного словоупотребления» [Мельчук 1974: 79]. Однако в то же время он утверждает и смысловой характер лексических функций, говоря, что между функционально связанными словами "всегда имеет место одно и то же смысловое отношение" [Мельчук 1974: 78], а функция *Magn* прямо определяется им как «отвечающая смыслу "очень"» [Мельчук 1974: 78].

Конкретный фактический материал все-таки заставляет нас считать функцию *Magn* наполненной смыслом. Основанием для этого является то обстоятельство, что подобные функциональные отношения реально возникают прежде всего между словами, принадлежащими к одной части речи. Уже вследствие этого конкретные случаи такой функциональности оказываются *содержательными*, и эту содержательность задает именно категориально-грамматическая принадлежность соответствующих лек-

(5)

⁶ Необходимо четко осознавать, что на этом уровне представления знаний факторы протяженности и больших размеров существуют в нерасторжимом единстве друг с другом – как целостное, единое содержательное образование "протяженный-большой". Их раздельная репрезентация – лишь эффект, возникающий на уровне языкового сознания. Таким образом, – подчеркнем это еще раз – представление их как сочетания имеет у с л о в и ы й характер.

сических единиц. Еще одна деталь: функциональные отношения между такими парами слов, как *бежать* и *идти*, *горячий* и *теплый*, *весьма* и *чрезвычайно*, *неприятно* и *ненависть* имеют одну природу, но отнюдь не тождественны друг другу в категориально-семантическом отношении. Это говорит о том, что они лежат еще на уровне категориально-грамматических смыслов и, таким образом, имеют языковую характеристику. Тем не менее все они сводимы к единому содержательному же функциональному инварианту *Magn*, лежащему за пределами категориально-языковых рамок и, следовательно, находящемуся уже вне языка и принадлежащему глубинным уровням сознания.

В свете этой идея образ больших размеров обнаруживает свой функциональный характер: "большой А" – это всегда лишь больший относительно некоторого условного В, принятого в качестве эталона. И величина этого А задается функциональным признаком *Magn*, который является ее собственным глубинным фактором. Это отношение может быть обозначено следующей формулой:

$$Magn \rightarrow Large \& Extens),$$

где символ \rightarrow означает обуславливающий характер функции *Magn*.

Отмеченная функциональность представления о больших размерах весьма своеобразно проявляет себя в отношении представления о множестве. Множество как нечто большое вырастает из себя самого (ср. в приведенной цитате из Плотина: "Всякое [явление становится] множественным, когда, бессильное оставаться в себе, разливается и растягивается в своем рассеянии..."). Эту же мысль провозглашал Прокл: "Существует единое-в-себе, и всякое множество происходит от единого-в-себе" [Прокл 1993: 113]. Таким образом, эталоном при мысли о множестве является оно само в своем исходном, "сжатом" состоянии – явно не заданное, условное, но тем не менее предполагающееся. Иными словами, множество оказывается отмеченным функцией *Magn* по отношению к собственному исходному состоянию – $(A/A) Magn$, а в глубинной структуре представления о множестве отмечаются два объектных элемента А и функция *Magn*. В целом это представление обретает следующий вид:

$$PI((A/A) Magn \rightarrow (Large \& Extens)) \Leftrightarrow Numb,$$

где А – знак объектного образа множества в его исходном состоянии, а $(A/A) Magn$ – множество как функциональное *Magn* – отношение А к самому себе.

Именно глубинный функциональный признак (или смысловой элемент) *Magn*, отбрасывая рефлексии на различные уровни языковой системы, проявляет себя в категориальных или лексических значениях. Реализуясь в своих частных категориально-грамматических вариантах, он еще является невыраженным. Однако уже на уровне категориально-грамматической семантики он обретает плоть в таких наречиях степени, которые указывают на интенсивность протекания процесса или проявления признака (*дюже, зело, очень, порато, порать, сильно, страшно, чертовски* и т.п.). Характерно при этом, что отношение наречного сочетания к соответствующему прилагательному или глаголу все еще сохраняет функциональный характер и определяется функцией *Magn*, ср.: *очень яркий* = *яркий Magn / яркий*, *страшно горячий* = *горячий Magn / горячий*, *сильно торопиться* = *торопиться Magn / торопиться*, *очень любить* = *любить Magn / любить* и т.п. И окончательную определенность и независимость глубинный функциональный признак *Magn* обретает в семантике слов, которые так или иначе связаны с представлением о силе, например: *большой* 'значительный по силе, интенсивности, глубине' [МАС I: 107] – *большое удовольствие, большое чувство*; *воля* 'власть или сила, нравственная мощь, право, могущество' [Даль I: 238]; *глубокий* 'очень сильный, достигший значительной степени (о чувстве, состоянии и т.п.)' [МАС I: 317] – *глубокое отчаяние, глубокое разочарование*; *резкий* 'действующий, проявляющийся с большой силой, остротой' [МАС III: 699] – *резкий свет, резкая боль* и т.п.

Такая структурная организация ядра представления о множестве – наличие в его составе объектного элемента, функционального признака *Magn* (осмысляемого на понятийно-языковом уровне как значение силы) и образа больших размеров – определяет собой как само осмысление множества, так и функционирование слов с этим значением в языке.

Прежде всего, множества могут мыслиться как самостоятельные объекты – в теории множеств они и представлены практически как таковые⁷. В частности, Гёдель, занимая крайнюю позицию во взгляде на онтологический статус множеств, полагал, что "допущение таких объектов [классов и общих понятий] столь же законно, как и допущение физических тел, и имеются столь же веские основания верить в их существование" [цит. по: Френкель, Бар-Хиллел 1966: 414].

Кроме того, смыслы, отражающие ядерные конститuentы представления о множестве, активно взаимодействуют друг с другом в сознании носителей языка, зачастую связываясь в нерасторжимое целое. Это взаимодействие было отмечено В.Н. Топоровым при анализе и.-е. корня **jeu-* и его семантических производных. "Исходным и основным смыслом глагола, восходящего к и.-е. **jeu-*, – пишет он, – была идея умножения, количественного возрастания, усиления (т.е. то, что непосредственно выражено в обозначении жизненной силы, вечной молодости". "Но само смешение (или, точнее, связывание), – подчеркивает В.Н. Топоров далее, – представляет собой такое умножение состава целого, при котором оно укрепляется, усиливается, увеличивается" [Топоров 1989: 49].

Взаимодействие смыслов множественности, силы и больших размеров проявляется также в особой содержательной диффузности слов с соответствующими значениями и в особенностях их системных связей. Ср.: *Ибо от многой мудрости много скорби и умножающий знание умножает печаль* (Экклесиаст I: 18), где слово, выражающее значение множественности, обозначает интенсивность чувства и масштабность, значительность знания. Или: *В Полтавской баталии перед светлыми очами царскими князь [Тростянский] многою храбрость оказал* (Мельников-Печерский. Старые годы), где смысл интенсивности может быть выражен метафорически прежде всего посредством того или иного слова со значением больших размеров.

Наконец, глубинная связь смыслов множественности, больших размеров и силы обнаруживает себя в семантических структурах слов – как необходимо коррелирующие значения. Примеров, иллюстрирующих это отношение, чрезвычайно много; мы рассмотрим лишь один – семантическую структуру старославянского слова *вельми*. Наиболее частотным и исторически более ранним его значением было 'сильно, крепко'. Почти столь же значимым, а иногда и выходящим на передний план был смысл 'большие размеры'. Это слово, наконец, могло выражать и значение множественности [Ефимова 1989: 116–117].

Можно попытаться ответить на последний вопрос, касающийся глубинной природы функционального отношения *Magn* и, следовательно, базовой сущности самого представления о множестве (или хотя бы наметить вектор его решения). *Какая же сила заставляет человеческое сознание соотносить объективные образы "единого-в-себе" и его же самого в иной ипостаси – как множества?*

⁷ Осознавая нерешенность проблемы онтологического статуса множеств, мы придерживаемся во взгляде на нее позиции *концептуализма*, чему нас обязывает уже сам объект нашего исследования – глубинные ментальные репрезентации [Френкель, Бар-Хиллел 1966: 398]. Для этого, как нам кажется, есть и несколько дополнительных оснований. Прежде всего, сама символизация множеств и возможность совершать операции с ними предполагает, что они мыслятся как некие сущности. Более того, мы могли бы сказать, что множество является ментальным объектом уже постольку, поскольку оно мыслится ("идея суть объекта", – отмечают Лакофф и Джонсон, ссылаясь на М. Редди [Лакофф, Джонсон 1990: 393]). Наконец, рассматривать множества как самостоятельные объекты позволяют нам конкретные языковые факты: выражение "котов больше, чем собак" может быть понято лишь в том случае, если соответствующие множества мыслятся как независимые от "котовости" и "собаковости" объекты и поэтому допускают сравнение.

Думается, что ответ на этот вопрос способен дать обращение к принципу с и м м е т р и и - а с и м м е т р и и⁸. Являясь "раздвоением целого" и вместе с тем соединением чрезвычайно далеких друг от друга, разрозненных элементов, симметрия и асимметрия выступают основными организующими началами бытия. Еще Плотин специально отмечал принцип симметрично-асимметричных отношений как один из основополагающих. "Первыми, наивысшими родами сущего, – писал он, – должны быть признаны следующие – бытие (ум, или мышление), тождество и знаковость (или различие) [Плотин 1994: 15].

Наиболее фундаментальный в мироздании, этот принцип подчиняет себе абсолютно все его стороны. Он обнаруживает себя в проявлении разных законов и в теориях, которые их описывают; в строении макромира и мира элементарных частиц; в структуре физического пространства и магнитных полей; в распаде элементарных частиц и в делении живой клетки; в строении солнечных систем и в строении атома; в геометрической конфигурации кристаллов, молекул, клеток и в физиологическом строении всех живых организмов; в константах эстетического восприятия (в частности, в пропорции "золотого сечения") и в самом алгоритме их исчисления; в цикличности времени и в воспроизводимости особей одного и того же вида; в рабочих привычках пчел в улье и в организации материала художественного произведения (музыкального, живописного, архитектурного и т.д.) [Вейль 1968]. Этот же принцип лежит в основе устройства центральной нервной системы человека: общая физиологическая симметрия двух полушарий головного мозга сочетается с их функциональной асимметрией [Иванов 1978: 21]. Этот принцип проявляет себя и как архетипическая основа культурной деятельности человека. В частности, он прослеживается уже в самом древнем разделении племени на две половины [Иванов 1978: 86–87]. Он также воплощается в различных мифах: находясь между собой в отношении подобия, симметрии, близнецы в то же время оказываются противопоставленными друг другу по тем или иным признакам – по характеру культурной деятельности (направленной во благо или во вред), по полу, по связи с разными частями племени и т.д. [Иванов 1991: 174]. Этот принцип, наконец, прямо выражается в философских концепциях и моделях – таких, например, как первоначала мироздания *инь* и *ян* в древнекитайской традиции, числа *единица* и *двойка* у пифагорейцев и вообще у древнегреческих философов⁹, закон единства и борьбы противоположностей в диалектике, вообще дуализм в философии и религии.

В свете этого само собой напрашивается предположение, что принципу единства симметрии и асимметрии подчинена и организация сознания человека на его базовом уровне, т.е. характер представленности в нем ментальных объектов. Речь здесь, по-видимому, должна идти о рефлексивности сознания¹⁰. Внутреннее отношение симмет-

⁸ В данном случае мы понимаем симметрию как инвариантность глубинного представления относительно определенных преобразований в нем. Ср.: "В самом широком смысле слова симметрия подразумевает наличие в объектах и явлениях неизменного, инвариантного по отношению к некоторым преобразованиям" [Желудев 1983: 3].

⁹ "Так, понятие единства, тождества, равенства, причину единодушия, единочувствия, всецелости, то, из-за чего все вещи остаются самими собой, пифагорейцы называют Единицей; Единица эта присутствует во всем, что состоит из частей, она соединяет эти части и сообщает им единодушие, ибо причастна к первопричине. А понятие различия, неравенства, всего, что делимо, изменчиво и бывает то одним, то другим, они называют Двоицею" [Порфирий 1979: 458]. "И нельзя сказать, – добавляет Порфирий, – что эти понятия у пифагорейцев были, а у остальных философов отсутствовали, – мы видим, что и другие признают существование сил объединяющей и разъединяющей целое..." [Порфирий 1979: 459].

¹⁰ Попытки моделирования этой рефлексивности можно усмотреть в создании *палиндромов*: симметрично организованные в них стихи или фразы рождают непосредственное переживание отраженности мысленного образа в самом себе. Ср. у В. Хлебникова: "Кони, топот, инок. // Но не речь, а черен он" (Перевертень). Этот принцип, по всей видимости, лежит в основе самосознания человека, также возникающего как результат рефлексии. Поразительно точно об этом сказал С. Кьеркегор: "Человек есть дух. Но что же такое дух? Это Я. Но тогда – что же такое Я? Я – это отношение, относящее себя к самому себе..." [Кьеркегор 1990: 367]. Мысль о симметричности, двойственности человеческого самосознания также является одной из самых важных в творчестве А. Платонова [Дмитровская 1995: 43–44].

рий позволяет такому сознанию мыслить конкретный объект как тождество самому себе и, следовательно, как самостоятельную, конкретную сущность. Вместе с тем отношение асимметрии открывает в нем элементы отличия и заставляет рассматривать его уже как нечто иное.

Это пока что гипотеза. Однако уже здесь очевидно, что фактор асимметрии на базовом уровне также должен иметь глубинный, базовый характер. В картине симметрично-асимметричных отношений образа множественности *A* к самому себе как исходной единице фактором асимметрии оказывается функциональный признак *Magn*. Формула глубинной структуры представления о множестве обретает вид

$$PI ((asim. A / A) Magn \rightarrow (Large \& Extens)) \Leftrightarrow Numb.$$

За этой формулой стоит следующее содержание: ядро представления о множестве (т.е. его сущность) определяется на базовом уровне сознания асимметричным отношением образа некоторой объектной единицы *A* к самому себе, и фактором асимметрии является в этом случае функциональный образный признак *Magn*; на поверхностном, понятийно-языковом уровне эти отношения описываются корреляцией значения множества со значениями силы и больших размеров. Поскольку представление о числе само по себе имеет базовый, архетипический характер, дополнительной особенностью представления о множестве на всех его уровнях является соотношенность его с числом.

В заключение отметим возможные дополнительные обстоятельства, с которыми сопряжены исследования подобного рода и новые "выходы", которые ими открываются. Прежде всего подчеркнем, что они позволяют проследить структуру конкретного представления на разных уровнях его реализации – от непосредственно "подязыкового" до базового уровня функциональных отношений. Картина, которая здесь вырисовывается всякий раз, имеет прямое отношение к "наивной" картине мира, воспроизводящейся в лексике языка, или, в терминологии В. фон Гумбольдта, к картине "внутреннего бытия" народа, его духа. Ср.: "...язык есть орган внутреннего бытия, даже само это бытие, насколько оно шаг за шагом добывается внутренней ясности и внешнего воплощения" [Гумбольдт 1984: 47]. На этой основе возможны сопоставительные исследования, направленные на выявление универсальных структурных элементов в составе того или иного комплексного глубинного представления, или же уникальных элементов, определяющих своеобразие соответствующих языков. Очевидно, что наиболее яркие различия такого рода будут отмечены на ближайшем к языку уровне. Выход же на более глубокие уровни репрезентации семантического материала будет означать обращение к более общим категориям сознания, и базовый уровень отношений, скорее всего, поставит исследователя перед абсолютно универсальными категориями [Адресян 1993: 7–8]. Было бы интересно выяснить, однако, насколько совпадают общие (т.е. глубинные) категории в языковых сознаниях и языках, не являющихся родственными. Но на этот и на многие другие вопросы, касающиеся глубинной организации смысловых категорий, еще предстоит дать ответы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверинцев С.С. 1991 – Девять Чинув Ангельских // Мифы народов мира. Т. I. М., 1991.
Адресян Ю.Д. 1993 – Синонимия ментальных предикатов: группа *считать* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
Вайсгербер Й.Л. 1993 – Родной язык и формирование духа. М., 1993.
Вейль Г. 1968 – Симметрия. М., 1968.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I–II. Тбилиси, 1984.
Гумбольдт В. фон 1984 – Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Гумбольдт В. фон 1985 – Язык и философия культуры. М., 1985.
Дионисий Ареопagit 1991 – Божественные имена // Мистическое богословие. Киев, 1991.

- Дмитропская М.А.* 1995 – Проблема человеческого сознания в романе А. Платонова "Чевенгур" // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1995.
- Ефимова В.С.* 1989 – О значениях наречий *вельми*, *мъного* и *зѣло* в языке старославянских рукописей // *Этимология* 1986–1987. М., 1989.
- Желудев И.С.* 1983 – Симметрия и ее приложения. Изд. 2-е. М., 1983.
- Иванов Вяч.Вс.* 1978 – Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. Т. 1. М., 1978.
- Иванов Вяч.Вс.* – 1991 – Ближние мифы // Мифы народов мира. М., 1991.
- Кибрик А.Е.* 1994 – Когнитивные исследования по дискурсу // ВЯ. 1994. № 5.
- Кубрякова Е.С.* 1991 – Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М., 1991.
- Кубрякова Е.С.* 1994а – Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // ВЯ. 1994. № 4.
- Кубрякова Е.С.* 1994б – Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // ИАН СЛЯ. 1994. № 2.
- Кьеркегор С.А.* 1990 – Болезнь и смерть // Этическая мысль: научно-публицистические чтения 1990. М., 1990.
- Лакофф Дж.* 1991 – Языковые гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1991.
- Лакофф Дж., Джонсон М.* 1990 – Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.
- Мельчук И.А.* 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". Семантика. Синтаксис. М., 1974.
- Налимов В.В., Дрогалина Ж.А.* 1995 – Реальность нереального. Вероятностная модель бессознательного. М., 1995.
- Петлева И.П.* 1972 – О семантических истоках слов со значением "скупой" в русском языке // *Этимология* 1970. М., 1972.
- Платон* 1994 – Избранные трактаты. В 2-х т. Т. 1. М., 1994.
- Порфирий* 1979 – Жизнь Пифагора // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
- Потебня А.А.* 1993 – Мысль и язык. Киев, 1993.
- Прока* 1993 – Первоосновы теологии. Гимны. М., 1993.
- Руденко Д.И.* 1992 – Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // ВЯ. 1992. № 6.
- Руткевич А.М.* 1991 – Жизнь и воззрения К.Г. Юнга // К.Г. Юнг. Архетип и символ. М., 1991.
- Степанов Ю.С.* 1991 – Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991.
- Степанов Ю.С., Проскурин С.Г.* 1993 – Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.
- Топоров В.Н.* 1980 – О числовых моделях и архаичных текстах // Структура текста. М., 1980.
- Топоров В.Н.* 1989 – Из славянской языческой терминологии: индоевропейские истоки и тенденции развития // *Этимология* 1986–1987. М., 1989.
- Топоров В.Н.* 1992а – Модель мира // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992.
- Топоров В.Н.* 1992б – Числа // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992.
- Френкель А., Бар-Хиллел И.* 1966 – Основания теории множеств. М., 1966.
- Юнг К.Г.* 1991 – Архетип и символ. М., 1991.

© 1999 г. А.Л. ШИЛОВ

К СТРАТИФИКАЦИИ ДОРУССКОЙ ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ

Ранее мы уже говорили об особом интересе, который представляет топонимия Карелии в рамках вопроса происхождения субстратной топонимии Русского Севера в целом [Шилов 1998]. Было подчеркнуто, что, при множестве схожих черт, карельский топонимический материал явно является генетически более "чистым", содержит значительно большую долю топонимов, поддающихся надежной расшифровке. Соответственно выводы, полученные при анализе топонимии Карелии, могут использоваться при интерпретации данных для территорий былого обитания Чуди Заволочской и Мери (с более затемненной позднейшими неоднократными переработками и, вероятно, более многослойной топонимией¹).

Но и сама топонимия Карелии не свободна от "темных" элементов. Она есть, и в значительном количестве. Поэтому существенной представляется хотя бы приблизительная стратификация карельской топонимии. Начнем с краткого обзора состояния проблемы.

Прежде всего об освещенности топонимии Карелии (в современных административных границах) источниками, что важно в плане временной глубины контролируемых изменений форм топонимов, равно как и их устойчивости. С XII–XIII в. известны топонимы *Олонец*, *Свирь*, *Онего*, *Важаньский* (погост), ныне *Важины*, у *Вавдита*, ныне *Вавдиполь*, *Спирков* (погост), ныне *Спиркова Гора* [НПШ 1950; ДКУ 1976; СГГД 1813: № 3]. В XIV в. к ним добавляется несколько названий в бассейне Водлы: *Великий Остров*, *Гугмор-наволок*, *Водла*, *Гостилово наволок* (исходно у *Гостили*), *Пудога*; Обонежья: *Челмужи*, *Возрица* и др.; южной Карелии: *Шуя*, *Сямозеро*; северо-западного Приладожья: *Лаудикола*, *Погия*, *Кюрьежа*, *Кюлолакша*, *Куrolа* [ГВНП 1949: № 284; Зализняк 1995: НГБ №№ 2, 19, 130, 131, 248, 278, 403]. С середины XV в. до нас дошел ряд документов с топонимами Обонежья и юго-западного Беломорья [ГВНП 1949; Мат. 1941]; концу XV в. принадлежат писцовые книги и документы, описывающие поселения юга Карелии и отдельных участков Беломорья [Книга 1852; Книги 1930; Акты 1988]. Достаточно подробное описание остальной ее территории (в меньшей степени северо-западной части) относится уже ко второй половине XVI–XVII вв. [Книги 1930; Мат. Кольск. 1930; СГКЭ 1929; Харузин 1890; Акты 1990; Мат. ЕС 1972; Кар. XVII 1948; История 1987; Самоквасов 1909; КБЧ 1950]. Состояние топонимии, близкое нашему времени, отражено в [Каталог 1959; Шанько 1929; Бадюдин 1966; Жилинский 1919; Лоция 1913], различных "Списках

¹ В свете результатов исследований последних лет (в первую очередь связанных с работами А.К. Матвеева, И.И. Муллонен, О.В. Вострикова, Л.А. Субботиной) видна преждевременность дискуссии 60–70-х годов о происхождении субстратной топонимии Русского Севера, наиболее активными участниками которой были А.К. Матвеев и Б.А. Серебrenников. Хотя в ходе ее был выдвинут ряд плодотворных идей, топонимическая изученность Русского Севера явно не соответствовала уровню поднимаемых проблем. Похоже, однако, что ситуация повторяется уже на почве мерянской проблемы (статья [Альквист 1997], как отклик на [Матвеев 1996]).

населенных мест" (особо выделим [Сп. 1928], где приведены карельские варианты ойконимов) и современных топографических картах. Упомянув карты, укажем, что первая (поразительно подробная для своего времени) дошедшая до нас карта Карелии датируется 1728 г. [Клешнин 1958]. Отметим также "Планы генерального межевания" 1788 г. [Витов, Власова 1974; Витов 1962], ряд атласов [Атлас 1792; Шуберт 1840; Стрельбицкий 1890]. Ценные материалы содержатся в путевых заметках А. Кастрена, Э. Леннрота, Г.Р. Державина, С.В. Максимова, Н.Я. Озерецковского и др. Фронтальное обследование топонимии Карелии не завершено, хотя картотеки Ономастического архива Финляндии и ИЯЛИ КНЦ РАН (Петрозаводск) уже содержат огромное количество материала [Мамонтова 1995]. Выводы настоящей работы основаны на картотеке автора, где отражена топонимия Карелии в подробностях современной карты масштаба 1 : 200 000 (для гидронимов – 1 : 100 000) и, кроме того, известные автору названия порогов 48 карельских рек (около 600). Там где возможно, учтены ранние и параллельные формы названий.

Исследование карельской топонимии нерусского происхождения имеет давние традиции (прекрасный обзор: [Мамонтова 1995]). Упомянув имена Г.К. Грота, Д.П. Европеуса, А.Л. Погодина, Я. Калимы, П. Виртаранта, Д.В. Бубриха, А.И. Попова (список далеко не полон), отметим наиболее важные для нас работы [Nissilä 1967; Мамонтова 1982; 1991; Муллонен 1994; Лескинен 1965; 1967; Керт 1960], а также те, где проведено сплошное топонимическое обследование отдельных населенных пунктов или ограниченных районов [Громова 1974; Муллонен 1982; Суйсарь 1997]. Особо выделим работу по географическим терминам и их отражению в топонимии Карелии [ПФГЛ 1991].

* * *

Впервые выделение топонимических пластов в Карелии было осуществлено А. Глаголевой [Глаголева 1929]: русский; карельский (правильнее: прибалтийско-финский); саамский; древний, т.е. не этимологизируемый из данных известных языков. Впоследствии эта классификация не претерпела существенных изменений [Керт, Мамонтова 1982] (о некоторых "древнефинских" гипотезах скажем ниже) и зачастую некритично использовалась представителями других наук. Так, в [Косменко 1993; Косменко, Кочкуркина 1996] древний слой топонимов соотнесен с носителями культуры сетчатой керамики, а саамская топонимия – с населением, принадлежащим к ананьинскому кругу культур (ср. с [Седов 1974]). При этом в круг топонимов, определенных как древние на основании наличия у них "загадочных" топоформантов, попали топонимы самой различной языковой принадлежности. В то же время, как будет показано ниже, большинство соответствующих формантов имеет прибалтийско-финское или саамское происхождение.

Таким образом, ряд авторов постулирует наличие в Карелии дофинно-угорского топонимического субстрата (ДФС). Согласно Г.М. Керту и Н.Н. Мамонтовой он является неопределимым в языковом отношении и принадлежит пионерам заселения Карелии (и Кольского п-ва [Керт 1982]) – пришельцам с Северного Урала и Западной Сибири (этот вариант обозначим как УТС – уральский топонимический субстрат, имея в виду языки уральской семьи). Иные исследователи полагают, что саамам в Финноскандии предшествовали (являясь, наряду с "восточным", одним из компонентов их генезиса) палеоевропейцы – свидерцы и/или аренсбуржцы [Шумкин 1991; Напольских 1997]. Порой этот субстрат определяется как "волго-окский" [Косменко 1993] и трактуется в зависимости от того, какой смысл вкладывается в это понятие, имеются ли в виду племена финно-волжской языковой общности или, в духе идей работы [Серебрянников 1955], предшествовавшие финно-уграм индоевропейцы. Но в плане рассматриваемого вопроса это, в конечном счете, безразлично. Если неизвестным признается язык и неопределенной археологически этнокультурная и расовая принадлежность народа, его можно "привести" откуда угодно.

Предполагаемый ДФС никак не охарактеризован с фонетико-морфологической точки зрения. Единственным критерием соотношения топонимов с ДФС признается невозможность их этимологизации на основе данных известных языков. К таким топонимам в Карелии относят: *Выг, Илакса, Кестеньга, Сандал, Суна, Ужма, Ухта, Шижма, Шокша, Шомба, Шонга*. Среди кольских темных названий указывается *Кочкома*, частое и в Карелии. К ДФС относят также гидронимы с финалями *-с (-э, -ж, -и)* или *-са (-ша и т.д.), -кса, -ма, -та (-да)*. Надо сказать, что успехи исследований последних лет способствуют пересмотру подобных взглядов топонимистами, которые (в отличие от археологов) все реже привлекают идею о ДФС.

Я. Калима полагал мерянскими некоторые топонимы южной и средней Карелии [Kalima 1941; 1942]. В. Ниссиля допускал возможность присутствия в Обонежье летописной муромы, указывая на гидронимы *Муромля, Муромозеро* и под. [Nissilä 1967: 99]². А.И. Попов находил следы особого чудского диалекта в восточной Карелии [Попов 1958].

Итак, "спорные" топонимы Карелии характеризуются как дофинно-угорские, т.е. как уральские (УТС) или доиндоевропейские (ДФС), либо как чудские, муромские или мерянские, т.е. принадлежащие финно-уграм, не проживавшим в историческое время в Карелии.

Что можно сказать по этому поводу? Археологические данные [ФУС 1982; Финно-угры 1987; Поселения 1988; Спиридонов 1990; АК 1996] показывают, что заселение Карелии людьми началось, как минимум, с мезолита. Первыми насельниками здесь были, конечно, не уральцы и не индоевропейцы. В более поздние времена здесь наблюдается последовательный ряд археологических культур. Наиболее ранняя из них, надежно связываемая с финно-уграми³ (культура сетчатой или текстильной керамики [Напольских 1997]) датируется серединой II – серединой I тыс. до н.э. Что это были за финно-угры, пока доподлинно неизвестно. Древности Карелии, прямо связываемые с предками современных саамов, датируются I тыс. до н.э. К середине I тыс. н.э. относят появление прибалтийских финнов (предков карел и вепсов) на юге Карелии [АК 1996]. Согласно археологическим и лингвистическим данным расселение последних на большей части территории Карелии датируется временем не ранее начала II тыс. н.э. [Косменко 1993]. Таким образом, соотношение топонимических пластов с археологическими культурами Карелии может быть оправдано (с известной долей осторожности) лишь для времени, отстоящего от нас максимум на 2,5–3 тыс. лет. Для более ранних эпох такое сопоставление преждевременно.

Вернувшись к проблеме ДФС (и УТС), начнем с замечания общего, идеологического характера. Автор является противником поспешного зачисления какого-либо слоя топонимов в непознаваемые. Такой подход закрывает дорогу исследованиям, объявляя их заведомо бесперспективными. Хотя, может быть, признание "темных" названий принципиально неопределимыми все же лучше, чем объявление их санскритскими, как это делается с иными гидронимами Русского Севера – *Двина, Сухона, Кубена, Стрига* [Кузнецов 1991; Жарникова 1996]⁴.

Что же конкретно до топонимии Карелии, то явных доказательств наличия здесь ДФС мы пока не видим. Это не значит, что все топонимы Карелии нами или иными

² Но гораздо естественней выводить эти названия из карел. *pitgata*, вепс. *pitrt* "морозка".

³ В [Косменко 1993] с финно-уграми соотносится более поздняя группа археологических культур (ананьинская).

⁴ Соответствующая "гипотеза" попала и на страницы центральной прессы (В. Филиппов. Куда исчезли древяне и кривичи или почему вологодский говор не нуждается в переводе на санскрит // Известия. 18 апр. 1996). При этом санскритскими объявляются не только названия, действительно трудные для объяснения (*Индоманка*), но и ряд гидронимов, имеющих прозрачную этимологию. Например (ограничимся Карелией) проводятся такие сопоставления [Жарникова 1996: 121–125]: *Гангозеро* (ср. карел. *hanga* "развилка" или *hanhi* "гусь") – р. *Ганг* в Индии, *Камозеро* (саам. *kames* "темный" или *liant* "шаман") – санскр. *kaṃ* "вода, счастье", ручей *Сагарев* (карел., вепс. *zagaru* "выдра") – санскр. *saḡara* "море" (!?), р. *Сапа* (вепс. *sara* "приток") – санскр. *sapa* "вода, энергия, сила; наполненный".

авторами раскрыты. Но мы не видим топонимов с "безнадежным", не финно-угорским обликом, как не видим и гидроформантов, которые не поддавались бы объяснению на финно-угорской почве.

Рассматривая этот вопрос, не следует забывать о том, что топоосновы, как таковые, малопоказательны в плане поиска топонимических следов того или иного народа на территории с многослойной топонимией. А.И. Попов [Попов 1965: 150–151] вообще считал, что доступен для сколь-либо надежной интерпретации лишь субстрат. Субсубстрат, по его мнению, часто бывает настолько разрушен, что не поддается в целом опознанию. Более показательны заимствования [Матвеев 1995] и массовые топоформанты, если они могут быть надежно возведены к географическим терминам (как *-енгарь* в Устьянском регионе [Матвеев 1996]). В нашем конкретном случае следует считаться еще с одним обстоятельством. Можно было бы надеяться на выявление следов уральского топонимического субстрата (УТС), если, конечно, таковой наличествовал в Карелии. Основы же гипотетических ДФС-топонимов, коль скоро мы определили ДФС как принадлежащий доиндоевропейцам (не уральцам), неизбежно подверглись бы активной фонетической переработке в соответствии с нормами финно-угорских языков: последовательное осуществление гармонии гласных, изменение неприемлемых консонантных сочетаний в интервокальных позициях, оглушение консонантов и устранение их скопления в аналaute и т.д. Это сделало бы элемент ДФС заведомо не опознаваемыми как таковые. Они приобрели бы финно-угорский облик, даже не находя при этом приемлемой финно-угорской этимологии. Вспомним, хотя бы, изменения русских топонимов в карельском освоении, описанные Я.К. Гротом, П.С. Кеппенем, А.И. Поповым: *Заозерье – Sasserri*, *Заборье – Soapru*, *Дервь – Tervi*, *Горка – Korkku*, *Спиридонов наволоок – Pirdoi-niemi*. Опознать эти топонимы как изначально русские оказалось возможным лишь при сохранении параллельных русских вариантов или документов о ранних их формах. Приведем пример освоения русскими саамского топонима через карельское посредство (см. еще [Шилов 1993; 1996б]): *Муксалма* – о-в Соловецкого архипелага. По первому впечатлению название представляется сочетанием карел. *mukka* "изгиб, поворот" и *salmi* "пролив". Следовательно, остров получил, путем метонимического переноса, имя пролива, отделяющего его от Большого Соловецкого о-ва. Пролив действительно имеет сложный фарватер, что отражено в его русском названии *Железные Ворота*. Но свидетельства XV в. показывают, что название изначально принадлежало самому острову, а звучало как *Нуксари остров* (**Нукс-сари*, ср. с карел. *soari* "остров"), *Нуксы*. Происходит оно явно из саам. **Nuktš-suol: hukčš(A)* "лебедь", *suol* "остров".

Сказанное выше, таким образом, не равнозначно утверждению об отсутствии дофинно-угорского, точнее досаамского населения Карелии, а должно восприниматься в контексте нерешенности проблемы происхождения саамов как таковых. Отсутствие ДФС означает либо действительно его изначальное отсутствие, либо "стирание" древней топонимии пришельцами, либо, наконец (к чему мы склоняемся сами), освоение пришельцами (саамами) той лексики, на которой строилась эта топонимия. В последнем случае разделение исконного гипотетического ДФС и позднейшей, собственно саамской, топонимии принципиально невозможно. С одной стороны, это вывод отрицательный. С другой, он подсказывает путь к возможному решению проблемы происхождения саамов, проблемы чрезвычайно интересной и столь же трудной ввиду неоднозначных, противоречивых порой, показаний относительно саамского языка и антропологии саамов [Керт 1971; ПС 1991; ФУС 1982; Эрикссон 1974; Хайду 1985; Korhonen 1981; Ikonen E. 1980]. Мы имеем в виду, что данные топонимии Карелии и Кольского п-ва, трактуемые уже без оглядки на существование ДФС, могут помочь вычлениить те элементы лексики саамского языка, что были заимствованы саамами уже в Фенноскандии от их предшественников⁵. Тем самым какая-то часть этой

⁵ Ограничимся одним примером, показывающим, что этот путь перспективен: отсутствие саамского *njark* "мыс" в топонимии Заволочья (где саамская топонимия обильна) на фоне его активности в топонимии Кольского п-ва [Матвеев 1979].

лексики, для которой не найдено аналогий в известных языках [Керт 1971], может быть выделена для сравнения с известными элементами языков Европы или, как минимум, с топонимией соответствующих территорий⁶. В более широком плане речь может идти и о постановке подобной задачи для финно-угорской топонимии Северной Европы в целом (см. по этому поводу [Ariste 1971; Напольских 1990; 1997]).

Вместе с тем, мы наблюдаем определенные признаки топонимии чудской, т.е. принадлежавшей финно-уграм (не саамам), предшествовавшим в Карелии прибалтийским финнам. Здесь имеется определенная параллель с "мерянской" гипотезой Я. Калимы в смысле близости части карельской и мерянской топонимии. Но это свидетельствует не о присутствии здесь мерян, а лишь об архаичности ряда топонимов Карелии: многие топоносовы и некоторые топоформанты раскрываются с учетом изменений, характеризующих развитие современных прибалтийско-финских языков из прибалтийско-финского языка-основы (многими чертами еще достаточно близкого языкам древних вожских финнов). Тем самым можно говорить о былом проживании в Карелии финских племен, язык которых (назовем его чудским) был родственен языкам современных карел и вепсов. При этом он, видимо, не являлся их непосредственным предком: по современным воззрениям (см. [Муллонен 1994: 117–120]) формирование праприбалтийско-финской языковой общности привязано к более южным территориям. Предположительно можно связать создателей этой топонимии с носителями охотничье-рыболовецких культур (бескерамические поселения) Карелии конца I – начала II тыс. н.э. [АК 1996: 272 и сл.].

Косвенным признаком былого присутствия древней чуди в Карелии служат топонимы *Чудозеро*, *Чудаярви* оставленные очевидно саамами⁷, ср. с подобными топонимами Кольского п-ва и саам, *чуддэ* "враг". Другим свидетельством видится название о. *Вераш-Vierutsuaret* (оз. Селецкое), противопоставляемое названию соседнего о. *Святой*, ввиду карел. *vieraš* "не свой, чужой" (ср. с арханг. *вирачи* – о людях злых, неблагополучных, каком-то чужом народе [Попова 1996]). Вряд ли здесь могли подразумеваться карелы или саамы, издавна хорошо известные русским под именами *корела* и *лонь* соответственно. Скорее здесь представлена не собственно карельская, а чудская лексема (ср. *Верачагоща* в Белоруссии), отразившаяся и в названии р. *Ирста* (пр. Тарасйоки, пр. Шуи), вытекающей из оз. *Ирутъярви*. Название реки может быть истолковано как "Река чужаков" – *Vierasten-joki* (*Ирутъярви* < **Vierut-järvi*). Если так, то и название *Тарасйоки* (на которой расположено *Чудаярви*!) скорее происходит не из саам. *toares'* "поперечная" (по относительно положению пар Ирста–Тарасйоки или Тарасйоки–Шуя), но из саам. *toarra* "война, борьба, драка" или *Tarra* "Норвегия, Россия; чужая земля". Следовательно, в этой паре названий можно видеть противостояние саамов и чуди. Показательно, что дальше к северу – там, куда вел древний водно-волоковый путь с Ирсты в басс. Суны (отмеченный "путевым" оронимом *Матковара*), вновь встречаем *Чудозеро*.

Понимая, что при интерпретации темных топонимов должна соблюдаться крайняя осторожность, мы ограничили поиск чудских основ топонимов Карелии (о формантах предположительно чудского происхождения см. ниже) следующими критериями: топоносовы не находят разумного объяснения на прибалтийско-финской, саамской и русской почве; эволюция топоносовы, произведенная в соответствии с известными соотношениями между современным и древним финским консонантизмом [Хакулинен 1953], приводят к известной прибалтийско-финской лексической основе, активной, при-

⁶ Например, случайно ли созвучие названия гор *Бескиды* в Словакии (объясняемое из албанск. *hjeshtë* "горный лес, пастбище, склон, горный хребет"), укр. *бескид(ы)* "горы, скалы; крутизна", названий рек *Beska-Beska, Bieszcza* в басс. Вислы с саам. *peatskas, bäske* "крутой".

⁷ Русские топонимы с *Чуд-* в южной и восточной Карелии могли относиться к вепсам (на чем, в частности, настаивал Д.В. Бубрих [Бубрих 1947]).

том, в топонимии⁸; для соответствующих объектов семантика предлагаемой чудской этимологии должна подкрепляться личными наблюдениями или свидетельствами очевидцев о характере объекта.

Наиболее надежно чудская топонимия может быть выявлена в средней и северной Карелии. Во-первых, здесь трудно ожидать присутствия топонимов прибалтийско-финского происхождения, сохранивших архаичные черты, свойственные прибалтийско-финскому языку-основе (и, тем самым, сближающимися с топонимами чудского происхождения)⁹. Во-вторых, на указанной территории саамские и прибалтийско-финские топонимы легче опознаются, будучи в меньшей степени затемнены позднейшей переработкой в силу относительно позднего появления здесь как собственно карел, так и русских.

К чудским топонимам в Карелии (находящим, кстати, в большинстве своем, массовые аналоги в Заволочье) мы относим, например, следующие (об *Охта* см. специально ниже):

Ромбак из **romb-* "каменистый холм" при саам. *ruobre* "каменный холм", прибалт.-фин. *rom(m)e-* "неплодородная почва, скальное место";

Поньогоуба, Поньгома, Понги (*Киельская Понги на Салуе острове* [Книга 1852]) из **rang-* "верх, вершина; возвышенность"¹⁰; или же **rojŋ* "грудь, пазуха" (прибалт.-фин. *rovi*, саам. *ruŋŋ*);

Шуньга из **šunŋi* "летний"¹¹ при прибалт.-фин. *suvi*;

Топонимы, связанные с географическим термином *поча, потча* [Шилов 1997а]. Подобного рода примеры, похоже, свидетельствуют о прямых контактах славян с древней чудью;

Онши – п-в на Топозере (ср. соседний п-в *Нячякка* при саам. *n'uatšk'e* "затылок") из **ontsa* "лоб" при фин. *otsa*, карел. *očča*, ливвик. *očči*, вепс. *oc*, людик. *oss*, *očč(-i, -e)*, саам. *oats*, *vuotse*.

Предположительно можно рассматривать, как чудско-саамско-карельскую трилингву, варианты названия Вонгозера (в 1587 г. *Ванко озеро*, в 1597 – *Вонгера* [История 1987]) на р. Чеба басс. Суны [Лескинен 1967]: *Вонгозеро* (чудск. *(*v*)ong- "протока; узкое озеро" [Шилов 1998]) – *Салма* (карел. *salmi* "пролив") – *Лубоярви* (саам. *luobbal* "озеровидное расширение реки").

Чудскими являются, видимо, некоторые гидроформанты (см. ниже) и формант -*к(и)*. Он встречается в названиях островов (*Гальмук, Гельмюки, Калляк, Калляки, Кельяк, Кильяк, Кивдук, Кильдяк, Кобрак, Кобрако, Ламмакай, Лотоки, Камень Монак, Мунак, Муллюк, Мюкериккю, Пельяк, Робъяки, Ромбак(и), Танпараки, Як*) и явно восходит к **kiu*/**ki* "камень, скала; остров", ср. с прибалт.-фин. *kivi*, марийск. *kü(i)*, коми *ki* "камень", и с названием о. *Кий-Кю* близ устья Онеги.

⁸ Здесь мы опирались на опыт реконструкция чудских лексем, позволившей этимологизировать ряд темных русских заимствований географических терминов Заволочья [Шилов 1997а].

⁹ В южной Карелии такое возможно. Так, **išŋmä* "глухой лес", отразившееся в топонимах *Чужмозеро, Чужмукса* (*Чюжмукса*), *Чюзмель* (ныне *Systmä* в Финляндии) могло принадлежать как чудской, так и ранне-прибалтийско-финской лексике (ср. фин. *systmä*, карел. **šŋmä*, вепс. **šŋm-*, откуда русск. *сузем*) [Kalita 1919: 221; Шилов 1996а: 73–74]. См. также о топонимах типа *Гатчи* [Шилов 1995].

¹⁰ Ср. с общеуральским **räŋŋä* "вершина, край, голова" и саам. *ronn* "куча, насыпь", прибалт.-фин. *rää, reŋ, rä, rai*, мордовск. *re*, удмурт. *rit, riŋ*, коми-зыр. *ron, rop*, манс. *reŋ, räŋk, riŋG* "голова, вершина; конец" (к финно-угорскому источнику похоже восходит и русск. диал. *паны, панки* "курганы" [Шилов 1997б]). Сюда, возможно, относятся и марийск. *roŋgä* "гриб", которое М. Фасмер предлагал для объяснения гидронима *Поньга* в Костромской обл. (см., с примерами с территории Архангельской обл. [Матвеев 1993]).

¹¹ Имеющееся объяснение этого названия из саам. *šunŋŋ* "травяное болото" вступает в резкое противоречие с реалиями местности. "Летняя" же этимология находит подтверждение в парной оппозиции с близким ойконимом *Толвуа*: прибалт.-фин. *talvi*, саам. *tall'v* "зима".

Теперь перейдем к конкретным названиям, "приписанным" к ДФС, указав для них наиболее вероятную финно-угорскую этимологию. Подчеркнем, что не считаем свои сопоставления единственно возможными. Важнее показать, что обсуждаемые названия могут иметь предлагаемое происхождение, то есть приписывать их к ДФС нет нужды:

р. *Илокса (Илакса)*, ср. с названием р. *Илекса* – крупнейшего притока Водлы. Происходит из саам. *vīlle-liekse* "нижняя долина" или фин. *ylälaakso* "верховье реки";

р. *Кестеньга*, в документах XVI в. [Мат. 1941: 319–327; Акты 1988: 114] – *Кистенга*, в [Клешнин 1958] – *Кестинга*. Можно сравнить с саам. *kiesta* "заводь; укрытие", в топонимах также "подветренный берег" и чудским **enga* "река";

Кочкома – название трех рек. Напрашивается сопоставление с саам. *kuotskem* "орел", ср. с названием беломорского мыса *Кочкам наволок* (1591 г. [Мат. 1941]), ныне – мыс *Орлов*;

оз. *Сандал*, в 1563 г. – *Сандало*, *Солдал-озеро* [Книги 1930], в 1585 г. – озеро *Саньдо*, *Сандало* [Самоковасов 1909]. Основа *Санд-/Шанд-* нередка в топонимах Карелии: мыс *Шанда* у устья р. *Санда* на Сегозере; дер. *Сандалакша* в Кирьяжском погосте Водской пятины [Книга 1852]. Она может происходить из карел. *šuanta*, *šoando*, ливвик. *soanda*, людик. *suand*, *suond*, вепс. *sand* "добыча; приобретение, заготовка" или же саам. *šand^{2A}* "подножный корм". Такая семантика топонимов безусловно восходит к далеким временам, и неудивительно, что подобные топонимы встречаются и в землях Веси, Чуды Заволочской и Мери;

р. *Суна*, кар. *Suninjoki*, *Suunund'ogi*, фин. *Soimijoki* в верховьях, *Sunijoki* в нижнем течении [Lönnroth 1918]. В русских источниках (с 1563 г.) только *Суна*. Рассматривались этимологии из саам. *sunn* "нить, жила", *tjuni* "мелкий песок", саам. **soonte-* "прорезать" (имея в виду "прорезание" рекой в ее нижнем течении оз. Сундозера) [Nissilä 1967: 75–76; Керт, Мамонтова 1982; Муллонен 1997]. Географические реалии подсказывают возможность и такого решения: саам. *suoin²*, *suin²*, *swain²*, родит. множ. *suoini* "осока, тростник, трава";

Ужма. Это название должно быть, видимо, отделено от гидроформантов типа *-езьма* (см. ниже). Название *Ужма* принадлежало водопадному порогу у пос. Подужемье на р. Кемь, исчезнувшему в результате гидротехнических работ. Известно с середины XV в.: *подъ Ужмою юньдою; под Ужьма гарвами ловити* [ГВНП 1949: № 296, 322]. Ойконим *Подужемье* становится известен в середине XVI в., как и соответствующее карел. *Ustana* [Шаскольский 1973]. Определенно говорить о его происхождении трудно. Можно думать о переосмыслениях с участием др.-русск. **уэма*, *уэмень* "узость"¹², ср. с *Ustana* (калькой русск. *Подужемье* ожидалось бы *Ustanaala*). Привлекает и фин. *usta* "туман": фотографии [Григорьев 1956] и описания очевидцев XIX–XX вв. свидетельствуют о клубах водяной пыли, вздымавшейся над порогом¹³. Изначально же название могло быть саамским, например из *vuoss^Amas*, *vüssmus* "первый": вверх по течению р. Кемь Ужма была первым из трех больших порогов (еще Вуочаж и Юма), требующих обноса;

Ухта (3 реки), *Ухтица*, *Охта* (дважды), *Охтома* (дважды), *Бохта*, *Вохта*, *Вухтанъеги*. Элемент *охт/ухт* в северных гидронимах трактуют как "волоковая река", сравнивая с манс. *axt* "протока", хант. *охт*, *охгым* "волок" [Афанасьев 1979]. Карельский топонимический материал согласуется с этой трактовкой. Более того, если бы отсутствовала соответствующая топонимия Русского Севера и лексемы угорских языков, мы пришли бы к этому выводу лишь на основании данных топонимии Карелии

¹² Теснина Ужмы была самым узким местом Кемь [Григорьев 1956].

¹³ Фин. *usta* "туман" привлекалось и для объяснения латвийских топонимов *Ustā*, *Ustas ezers* [Rudzite 1968]. Правда, в карельском языке отмечен лишь вариант *иста*, *ибха*; но переход в *Ухма/Ужма* возможен на стадии заимствования русскими, ср. *Ижма* из *Иэьва* [Попов 1965].

(автор специально занимался вопросом маркировки топонимами древних водно-волоковых путей в Карелии). В самом деле, одна *Охта* (приток Пистайоки) лежит на пути из бассейна Ковды в бассейн Кема; другая *Охта* (приток Кема) служила путем из бассейна Кема в бассейн Тунгуды, а далее к югу (на притоки Выга) путь шел по р. *Бохта*; р. *Вохта* являлась одним из звеньев пути из бассейна Суны в бассейн Шуи; наконец, по *Вухтаньегги* из бассейна Шуи попадали в бассейн Ладожского озера (на р. Видлицу). Судя по всему, в Карелии носителями термина **ohta* (вариант **uhta* с сужением гласного) являлись финно-угры (не саамы), предшествующие прибалтийским финнам. Из современной лексики в качестве соответствия к **ohta* можно указать вепс. *joh̄t* "старлица" [ПФГЛ 1991] и ливвик. *jogut* "речка" [Макаров 1975], что выглядит уменьшительным к **joh̄t(u)*, ср. *Ухта*, фин. *Uhtua*, она же *Ухут* (уменьшительным к *jogi* "река" можно скорее ожидать *jovut* или *joguine*). Семантика же "река, ведущая на волок; путеводная река" подводит к фин. *joh̄taja* "вождь, вожак", *joh̄to-* "путеводный", *joh̄taa* "вести" (ср. с *Выг*);

Шижма. Очевидно из карел. **süzmä*, **šüzmä* "лесная глушь" (подробно: [Шилов 1996а: 73]);

Шокша – дер. на юго-западе Онежского озера. Наиболее вероятно происхождение названия из саам. *tšaktš(ʰ)*, *tjehts*, карел. *süksü* "осень", в топонимах "осенняя стоянка". Таково же, видимо, происхождение названия о. *Жижгин*, ранее *Жегжизня*, *Сокжин*, *Шокжин*, *Жогжин*, *Жегжично*, а впервые (1559 г.) – *Зогчин* [Акты 1988: 157];

р. *Шомба* (фин. *Sompajoki* [Lönnroth 1918]), оз. *Шомбозеро*, в 1728 г. *Шомбаярви* [Клешнин 1958], в 1591 г. *Самбо озеро*, в 1553 г. *Шомбо озеро* [Мат. 1941: 319–327]. Топонимы с подобными основами многочисленны в Карелии, Финляндии, на Кольском п-ве и Русском Севере [Шилов 1996а: 44–45]. Восходят они к прибалтийско-финской (и шире – финно-угорской) основе *samb-* "палка; столб; межевой камень", с которой связывается эпический образ Сампо [SKES: 962]. Семантика основы в топонимах дискуссионна. И.И. Муллонен [Муллонен 1993] полагает, что они маркировали границы родовой территории, будучи привязаны к водоразделам. Мы считаем более вероятной маркировку выхода на сухопутный участок водно-волокового пути. В иных случаях (названия островов, доминирующих возвышенностей) можно предполагать сакральное значение.

Шонга – приток Кепы. Есть еще *Шонгоостров* на Белом море, *Сонга* и *Сонгозеро* (в 1587 г. *Сонко озеро*, в 1597 г. *Шонга река* [История 1987]), р. *Сонгой*, на Кольском п-ве – дер. *Шонгуй* (саам. *Soanga* [Ikonen T. 1958]), много топонимов на *Sonka-* в Финляндии. Внешне созвучные топонимы могут происходить из разных источников: фин. *sonka*, карел. *šonka* "лосось", вепс. *šon̄g* "язь" (полагаются заимствованием из *сэмга* [SKES: 1070]), саам. *soaŋŋ* "задняя сторона" > фин. диал. *sonka* "угол, скрытое место"; облик же *Шонгоострова* наводит на мысль о саам. *teañG* "стоячий, кругой".

Выг – одна из главных рек Карелии. Финское его название *Uikujoki* [Lönnroth 1918], *Uikkujoki* [Леннрот 1985]; возможно эта форма возникла под влиянием фин. *uikki* "птица поганка, Podiceps". В русских документах название фиксируется с середины XV в.: *на море и въ Выгу; ловища на Выгу; в Выгу реки; на море на Выгу* [ГВНП 1949: №№ 286, 287, 291, 297].

Сопоставление русской и финской форм названий позволяет реконструировать исходное **Vuigk-f Vīgk-*, что чрезвычайно близко к саам. *vuoiGʰ*, *vuieškʰ*, *viejk*, *vuiškʰ(ʰ)*, *vui(i)k*, *vuiškʰ(ʰ)* "правый, правильный; прямой". Потенциально оба оттенка значения уместны в названии этой реки. Она действительно в обеих своих частях течет практически в одном направлении (Верхний Выг до Выгозера на северо-запад, Нижний Выг до моря – на север) и действительно прямо, без сколь-либо существенных изгибов, что для карельских рек встречается нечасто. Но, думается, и этот признак лег в основу названия. Оно скорее значило "правильный, удобный; прямой (путь)". Известно, какое огромное значение играла река Выг на протяжении всей истории: по ней (от Выгозера) пролегал самый короткий и удобный путь с Онежского озера на

Белое море. Этот путь описывался неоднократно в русских и яноземных [Филипов 1901] источниках, начиная с XVI в. Не потерял он значение и в настоящем, ибо именно по местам древних волоков и руслу Выга пролегла трасса Беломорканала. Освоен он был именно саамами, ибо как водораздельный участок между Повенецким заливом Онежского озера и Выгозером, так и течение Нижнего Выга, в частности почти все его бывшие пороги, маркированы (наряду с немногими карельскими) саамскими топонимами, в том числе и "путевыми". Возможен и другой путь в Беломорье: от восточного берега Онежского озера рекой Водла и далее, через ее правые притоки, волоком на притоки Верхнего Выга. Символично, что именно на Онежском озере близ устья Водлы и в устье Выга – на концевых участках пути "из Чуди в Лопь" – найдены группы петроглифов III–II тыс. до н.э. Понятие "путеводная река" может быть сопоставлено и с саам. *vigkei* "вождь, ведущий", *vigked* "вести, руководить", ср. с *Охта*.

* * *

Теперь о наиболее массовых гидроформантах Карелии, в том числе – относимых к ДФС.

Формант *-с(-ш, -ж, -э)* имеет велское или саамское происхождение [Ikonen T. 1958; Керт 1988; 1991; Муллонен 1991; 1994]. Варианты *-са, -жа, -ца, -ша* локализируются в южной и юго-восточной Карелии и обусловлены русской переработкой гидронимов в соответствии с грамматическим родом слова "река".

Из массы гидронимов на *-ц(а)* мы выделили небольшую группу, где формантом считаем *-лица/-лец* (*Миккелица, Ингулец, Чаблиц*)¹⁴. К этому нас побудило наличие названий типа *Лисья река* (северный рукав устья Свири), *Лисья губа* (выходит в Сегозеро двумя протоками), оз. *Лисье* (закрытый плес в устье Няжмы, имеющий два выхода в Белое море), приуроченных к протокам в устьях рек. К этому добавим названия порогов *Леполису* в боковой протоке р. Суна, *Лисья Голова* на Свири (у острова) и *Лисица* на Верхнем Выгу (с серией проток). Отсюда напрашивается сопоставление с фин. *lisä*, карел. *lizä* "добавка", фин. *joenlisä* "приток". Поскольку современной прибалтийско-финской географической номенклатуре Карелии термин *lisä* "приток, протока" не известен, его предположительно можно считать чудским.

Формант *-Vnga* отражает термин **engV* "приток; пролив, устье, межозерная протока", имеющий параллели в прибалтийско-финских, марийском¹⁵, мерянском [Матвеев 1996], коми, самодейских и юкагирском языке (а далее в тюркских языках). Формант зачастую сочетается с основами, раскрываемыми лишь из данных саамского языка, и можно полагать, что носители соответствующего языка (чудь) появились в Карелии не раньше саамов [Шилов 1998].

Происхождение форманта *-кса* объявлено еще А.И. Поповым, как результат русификации гидронимов, явивших прибалтийско-финскую форму типа $\langle \rangle$ -*ksenjogi*, где *-ksen* – показатель генитива существительных, оканчивающихся на *-s* [Попов 1965]. Соответствующие топонимы могли быть как прибалтийско-финскими (р. *Урокса*, вытекающая из *Уросозера*, ср. карел. *uog* "самец"), так и более ранними, и таких, пожалуй, больше¹⁶. В Карелии много гидронимов на *-кса*, имеющих саамское происхождение, но изменившихся в результате карельского, а затем русского

¹⁴ Мы, конечно не имеем в виду многочисленные ойконимы типа *Онтулица*, где *-ца* – русская добавка к карельскому или велскому названию с ойконимным *l*-овым суффиксом.

¹⁵ Мнение об уникальности марийск. *энгер* "речка, ручей" в кругу финно-угорских языков [Альквист 1997] несомненно. Не имеет аналогов в других языках (кроме мерянского) лишь финаль термина [Шилов 1998]. Отметим, что элемент *-р* в марийском слове трактовался как суффикс [Lehtisalo 1933: 235].

¹⁶ Топонимия Карелии дает множество примеров прибалтийско-финской модели освоения иноязычных названий: образование формы генитива т исходного топонима и добавление номенклатурного термина: р. *Софья* (*Софьянга*), в XVI–XVII в. *Сагоена, Софьян* [Мат. 1941; Харузин 1890] – фин. *Sohjanjoki* [Lönnroth 1918]; р. *Шуя* – карел. *Suojuind'ogi*, оз. *Сургу́ба, Сургу́бское* – карел. *Surguband'ürvi*.

освоения: оз. *Синемукса*, а поблизости порог *Синамус* на р. Видлица, исходно саам. **Sietmanes* "Младший" (рядом пор. *Пярзамус* – саам. "Старший"); р. *Ундукса* – через карел. **Unduksenjogi* из саам. **Vundas* – "песчаная"; р. *Кукса* (**Кукакса*), вытекающая из оз. *Кукас* – саам. "Длинное".

Формант *-нжа/-нза* представлен в названиях *Хабанзя*, *Челенза*, *Леменза*, *Илеменза*, *Гулиназа*, *Конданьза*, *Колонжа*, *Парманжа*, *Воренжа*, *Шигеренджа*. Его варианты мы видим в названиях *Дегенс*, *Тавинос*, *Ялнош* (с притоком *Яли*), *Арянукс* (**Арянукс* **Арянос*). К этому же форманту, по нашему мнению, восходит элемент *-нец/-ница* в гидронимах *Олонец*, *Сапеница*, *Войвонец*, пос. *Иломанец* [Книга 1852] (ныне *Иломантси* в Финляндии) и *Иломанча* – часть пос. Ладва¹⁷. И.И. Муллонен [Муллонен 1994: 120–121] указывает группу гидронимов на Белозерско-Онежском водоразделе: *Егинжа*, *Добинжа*, *Илинжа*, *Игинжа*, *Лобинжа*, *Оренжа*, *Салинжозеро*. Со ссылкой на М. Корхонена, она пишет, что в этих названиях сохранился древний прасаамский суффикс *-nže* (саам. *-š*) с деминутивной семантикой, весьма продуктивный в топонимии. Но в кильдинском диалекте кольских саамов и поныне существует суффикс *-inč*, *-enč*; он образует причастия действия и страдательные (*kondanč* "убитый"), а также отыменные уменьшительно-ласкательные формы [Ikonen Т. 1958; Керг 1988; Керг 1991]. Суффикс активен в образовании и собственно топонимов, и географических терминов: *валвенч* "глубокое русло реки", *варенч* "лесная горка", *вуайенч* "ручеек", *выденч* "отдельно стоящая горка", *орденч* "небольшая горная гряда", *луренч*, *лурнес* "обособленный озерный залив" [ГСК 1939].

Из приведенных примеров видно, что саамские названия с этим суффиксом осваивались русскими по-разному (в ряде случаев освоение шло через карельское или вепсское посредство), давая варианты *-енджа*, *-енжа* (*-анжа*), *-енза* (*-ензя*, *-инза*), *-енс*, *-инос*, и, наконец, *-енец*.

Формант *-ма* имеет, скорее всего, гетерогенное происхождение (о чем писал и А.И. Попов), отражая в одних случаях суффиксы отглагольных существительных, в других – конечный согласный топоосновы (в обоих случаях при утраченном детерминанте), в третьих – являясь результатом русского освоения исходно иной финали: *-бал-на* (из саам. *rajj*, прибалт.-фин. *pää*, *peä*, *pä* "голова; верх, исток") или *-ва* (из саам. *(v)mai*, прибалт.-фин. *oja* "река, ручей")¹⁸.

Формант *-дал-та*. Его происхождение также, очевидно, гетерогенно. В гидронимах типа *Волгуда*, *Тунгуда*, *Ламбуда*, *Чумбуда* он может отражать прибалт.-фин. уменьшительное *-ит* или саамский суффикс отыменных существительных *-vidit*, выступающие в чисто топонимобразовательных функциях (соответствующие модели хорошо известны). В отдельных случаях *-т* может принадлежать основе. Возможен и древний суффикс прилагательных **-eda*. Но многие из подобных гидронимов приурочены к южной и восточной Карелии, где фин. *joki*, кар. *jogi* "река" сменяется ливвиковским и людиковским *d'ogi*. Поэтому эти финали здесь могли возникнуть в результате переразложения дорусских гидронимов в русском употреблении [Лескинен 1965]: *Šuojuin-d'ogi* "Река Шуя" → *Šuond-ogi* → *Шонда*; *Alho-d'ogi* "Низинная река" → *Alhod-ogi* → *Алгота* (ручей) [Книги 1930]. Таким образом, в большинстве "загадочных" гидроформантов в целом нет ничего загадочного, хотя каждый конкретный случай требует индивидуального анализа.

¹⁷ *Войница* (река и поселок у ее впадения в оз. Верхн. Куйто) сюда не относится *Войница* (*Вонница* [Клешнин 1958], *Вуннисен* [Стрельбицкий 1890]) возникло из фин. **Vuonnisenjoki*, производного от ойконима *Vuonniinen* (видимо из саам. *vinn* > фин. *vinto* "фиорд", что отвечает реалиям местности). Не относится сюда и русское *Салменица* (дер. при истоке Шуи из Шотозера), являющееся переработкой карел. *Salmennisku* "начало пролива" (Шуя между Шотозером и Вагатозером называется *Salmi*).

¹⁸ Ср. об одних и тех же объектах в рамках одних и тех же документов: *деревня Валгоба... деревня ни Валгом озере; деревня на усть Яндемы речки... усть Яндобы* [Книги 1930].

Наибольшую сложность для интерпретации представляет формант *-ез(ь)ма* с вариантами *-ежма*, *-еишма*, *-есьма*, *-ожма* и под. Он распространен на огромных территориях Центральной и Северной России, и сама география ареала подталкивает к мысли о финно-угорском происхождении форманта, тем более, что этот топонимический тип имеет в основах соответствия в других, этимологизируемых (как финно-угорские) типах: *Пележма* – *Пеленьга*, *Кулежма* – *Кулома* [Матвеев 1969]. Однако, никакого определенного объяснения на соответствующей языковой почве формант не получил, несмотря на то, что сочетание *-sm(-zm, žm-)* не чуждо финно-волжским и саамскому языкам. Допускалось, что этот формант принадлежит древним, исчезнувшим языкам; так, В.В. Седов [Седов 1974] сопоставлял его с областью расселения неолитических льяловских племен. Е.М. Поспелов отметил малочисленность соответствующих топонимов в центральной России и указал, что в двусложных топонимах типа *Восьма*, *Кишма*, *Нозьма*, *Пешма* формантом является не *-езьма*, но *-ма* [Поспелов 1974].

В Карелии нами найдено 33 подобных топонима (28 принадлежат рекам). Многие из них действительно содержат не *-езьма*, но *-ма* (*Кузьма* < *Кузема*) или вовсе не содержат никакого форманта, совпадая с различными апеллятивами (*Лижма*, *Лужма*, *Пизьма*, *Нижма*, *Шожма*). Оставшихся "бесспорных" случаев всего 14: пороги – *Валазмо*, *Кинтезьма*; озера – *Кулежма*, *Килизьма*; дер. – *Куолисмаа* (*Кулизма* [Книга 1858]); реки – *Колежма* (*Кулежма* [Акты 1988: 82]), *Кулисмайоки*, *Куржма*, *Кутижма*, *Лундожма*, *Негежма*, *Нижжма* (*Негижма* [Книги 1930]), *Унежма* (дважды). Но и эти "бесспорные" случаи спорны. Обращает на себя внимание бедность набора топооснов (что наблюдается и на других территориях; так, все немногочисленные гидронимы этого типа на Кольском п-ве имеют аналоги в Карелии). Это заставляет задуматься, что и эти гидронимы не содержат форманта *-езьма*; ср., например, *Колежма* с саам. *koalašmeD* "увядать, темнеть (о ягеле)", *kalasmed* "леденеть, застывать".

Если же обсуждаемый формант действительно самостоятелен и имеет терминологическое значение, то мы видим лишь одну возможность объяснить его из лексики финно-угорских языков (обратив внимание, на то, что все подобные названия принадлежат малым рекам, за исключением окской Клязьмы), а именно как **aset* "место; место поселения"; о соответствующих терминах прибалтийско-финских, волжских и угорских языков см. [SKES]¹⁹.

И все-таки нельзя исключить варианта, что формант *-езьма*, является дофинноугорским (неиндоевропейским) наследием в топонимии Центра и Севера Европейской России. В таком случае отражением соответствующего термина видится лит. *viėštiuõ* "небольшая речка, ручей". Вопрос, безусловно, требует дальнейшей разработки.

* * *

В заключение отметим, что существует, все же, одно обстоятельство, не позволяющее безоговорочно отвергать возможность присутствия в Карелии УТС. Этим обстоятельством является наличие на севере Карелии значительного числа озер с названиями, содержащими *m*-овую финаль, иногда закрытую термином *järvi* или *озеро*: *Ельть*, *Кереть*, *Кават*, *Копатозеро*, *Копыт*, *Куопотти*, *Ланатто*, *Ланоть*, *Лютто*, *Ноумут*, *Нилуттиярви*, *Солотозеро*, *Палат*, *Томут*, *Хетто*. Естественно, это наводит на мысль о самодийско-угро-пермском *torltoŋ* "озеро"²⁰. В каждом конкретном случае можно подыскать этимологию, объясняющую эти *m*- на саамской или карельской почве (*Куйтто* ~ *Kuitti* из карел. *kuitti* "лодка" и т.п.; см. также о речном форманте *-mal/-da*), но при этом остается труднообъяснимой географическая локализация указанных лимнонимов. Можно было бы указать и другие потенциальные

¹⁹ Для центра России следует иметь в виду и марийск. *ušma, umša, ašma* "уста", в топонимах – "устье".

²⁰ А.К. Матвеев [Матвеев 1997б] настаивает на отсутствии на Русском Севере "m-овых" лимнонимов.

признаки УТС в Карелии. Так, название озера *Нангосламп* (р. Янгозерка) внешне сходно с названием р. *Нянгусяха* в Ямало-Ненецком АО, которое связывают с ненецк. *нянгу* "нижняя челюсть" [Матвеев 1997а: 88]. С другой стороны, оно объяснимо из саам. *nanuallas* "медведица". Так что разумнее этот вопрос отложить до завершения работы над этимологизацией основного массива топонимов Карелии.

Итак, на настоящий момент в топонимии Карелии достаточно определенно выделяются следующие пласты: саамский; чудской (архаичного прибалтийско-финского типа); прибалтийско-финский; русский. Приблизительная оценка доли каждого слоя видна из таблицы, где приведены результаты предварительного изучения некоторых групп топонимов.

Таблица

Разряд топонимов	Всего	Русские	Прибалтийско-финские	Саамские	Чудские	Не идентифицированы
Топонимы на А-	151	15	95	23	3	15
Топонимы на Б-	190	139	24	17	1	9
Названия порогов	598	279	196	98	2	23
Итого	939	433	315	138	6	47

Является ли чудской слой топонимии (возможно, в свою очередь, состоящий из нескольких разновременных слоев) адстратным или суперстратным по отношению к саамскому, определенно судить пока трудно. Наличие древнего уральского субстрата не доказано, хотя эта возможность не исключена. Выделить самостоятельный слой топонимии (даже если он и был частично заимствован позднейшим населением) дофинно-угорского (палеоевропейского) происхождения не представляется возможным. Вместе с тем, перспективным видится поиск доиндоевропейских топонимов Европы, сопоставимых с древнейшим слоем лексики современных саамских диалектов и соответствующей топонимией Карелии и сопредельных территорий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- АК 1996 – Археология Карелии. Петрозаводск, 1996.
 Акты 1988 – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.
 Акты 1990 – Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг. Л., 1990.
 Альквист А. 1997 – Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии // ВЯ. 1997. № 6.
 Атлас 1792 – Атлас Российской Империи, состоящий из 45 карт, изданный в граде Святого Петра 1792 года.
 Афанасьев А.П. 1979 – Исторические, географические и топонимические аспекты изучения древних водно-волоковых путей // Вопросы географии. Сб. № 110. М., 1979.
 Бадидин А.Г. 1966 – Сплавищу Карелии. Петрозаводск, 1966.
 Бубрих Д.В. 1947 – Происхождение карельского народа: повесть о союзнике и друге русского народа на Севере. Петрозаводск, 1947.
 Витов М.В. 1962 – Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII вв. М., 1962.
 Витов М.В., Власова И.В. 1974 – География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVIII веках. М., 1974.
 ГВНП 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С.Н. Валка. М.: Л., 1949.
 Глаголеви А. 1929 – Топонимика Обонежья // Бюлл. ЛОИКФУН. Вып. 2. Л., 1929.
 Григорьев С.В. 1956 – Водопады Карелии. Петрозаводск, 1956.
 Громова А.П. 1974 – Типы топонимических названий в падаком говоре карельского языка // Вопросы ономастики. № 8–9. Свердловск, 1974.

- ГСК 1939 – Географический словарь Кольского полуострова Ч I Л, 1939
- ДКУ 1976 – Древнерусские княжеские уставы XII–XV вв. / Изд подг Я.Н Шапов М, 1976
- Жарникова С 1996 – Древние тайны Русского Севера // Древность Арья Славяне М, 1996
- Жилинский А А 1919 – Крайний Север Европейской России. Архангельская губерния Пг, 1919
- Зализняк А А 1995 – Древневогородский диалект М, 1995
- История 1987 – История Карелии XVI–XVII вв в документах Петрозаводск, Йоенсуу, 1987
- Кар XVII 1948 – Карелия в XVII веке (сборник документов) / Сост Р Б Мюллер Петрозаводск, 1948
- Каталог 1959 – С В Григорьев Г Л Грицеевская Каталог озер Карелии [б м], 1959
- КБЧ – Книга Большому Чертежу М. Л., 1950
- Керт Г М 1960 – Некоторые саамские топонимические названия на территории Карельской АССР // ВЯ 1960 № 2
- Керт Г М 1971 – Саамский язык (кильдинский диалект) Л, 1971
- Керт Г М 1982 – Проблемы топонимики Кольского полуострова // Ономастика Европейского Севера СССР Мурманск 1982
- Керт Г М 1988 – Словообразование имен в саамском языке // ПФЯ Петрозаводск, 1988
- Керт Г М 1991 – Структурные типы саамской топонимики // ПФЯ Петрозаводск, 1991
- Керт Г М Мамонтова Н Н 1982 – Загадки карельской топонимики рассказ о географических названиях Карелии Петрозаводск, 1982
- Клещинин А 1958 – Ландкарта Олонецкого уезда, составленная Акимом Клещинным в 1728 г // В В Пименов Е М Эпштейн Русские исследователи Карелии (XVIII век) Петрозаводск, 1958
- Книга 1852 – Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины 7008 года // Временник МОИДР Кн 12, 1852
- Книги 1930 – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг Л, 1930
- Кокменко М Г 1993 – Археологические культуры периода бронзы – железного века в Карелии СПб 1993
- Кокменко М Г Кочуркина С И 1996 – Вопросы истории населения древней Карелии // АК 1996
- Кузнецов А В 1991 – Язык земли вологодской Архангельск, Вологда, 1991
- Лексикот 1985 – Путешествия Элиаса Леинрота Петрозаводск, 1985
- Леккинен В Т 1965 – Семантика карельской гидронимики и некоторые случаи адаптации ее русским языком на территории Карелии // Всесоюзная конференция по финно-угроведению Тезисы докладов и сообщений Сыктывкар 1965
- Леккинен В Т 1967 О некоторых саамских гидронимах Карелии // ПФЯ Л, 1967
- Лоция 1913 – [А Н Арский] Лоция Белого моря Ч I Пг, 1913
- Макарик Г М 1975 – Русско-карельский словарь. Петрозаводск, 1975
- Мамонтова Н Н 1982 Структурно-семантические типы микропонимии ливвиковского ареала КАССР Петрозаводск, 1982
- Мамонтова Н Н 1991 – О структурных типах карельской ойконимики (первичные и вторичные ойконимы) // ПФЯ Петрозаводск, 1991
- Мамонтова Н Н 1995 – Из истории изучения топонимики Карелии // Ономастика Карелии Петрозаводск 1995
- Мат 1941 – Материалы по истории Карелии XII–XVI в Петрозаводск, 1941
- Мат ЕС 1972 – Материалы по истории Европейского Севера СССР Северный археографический сборник Вып 2 Северные писцовые книги, сотницы и платежные XVI в Вологда, 1972
- Мат Кольск 1930 – Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI–XVII вв // Материалы комиссии экспедиционных исследований Вып 28 Серия северная Л, 1930
- Матвеев А К 1969 – Происхождение основных пластов субстратной топонимики Русского Севера // ВЯ 1969 № 5
- Матвеев А К 1979 – Древнее саамское население на территории Севера Восточно-Европейской равнины // К истории малых народностей Севера СССР Петрозаводск 1979
- Матвеев А К 1993 – Названия с основой *Коне* в топонимии Русского Севера // Этимология 1988–1990 М 1993
- Матвеев А К 1995 – Аппелятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов // ВЯ 1995 № 2
- Матвеев А К 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ 1996 № 1
- Матвеев А К 1997а – Географические названия Тюменского Севера Екатеринбург, 1997
- Матвеев А К 1997б – К лингвотипической идентификации финно-угорской субстратной топонимии // БСИ 1988–1996 М 1997
- Мулонен И И 1982 – Структурные типы микропонимов с Шелтозеро Карельской АССР // Ономастика Европейского Севера СССР Мурманск, 1982
- Мулонен И И 1991 – Вельские топоформанты // ПФЯ Петрозаводск, 1991

- Муллонен И И* 1993 – О святых топонимах и некоторых следах древних верований в велеской топонимии // Родные сердцу имена. Петрозаводск, 1993
- Муллонен И И* 1994 – Очерки велеской топонимии СПб, 1994
- Муллонен И И* 1997 – Истоки топонима Суна в контексте этноязыковой истории Обонежья // Традиционная культура финно угров и соседних народов Петрозаводск, 1997
- Напольских В В* 1990 – Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилеммы финно угорской предистории) // Исследования по этиогенезу и древней истории финноязычных народов Ижевск, 1990
- Напольских В В* 1997 – Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров // БСИ 1988–1996 М 1997
- НПЛ 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов М, Л, 1950
- Попов А И* 1958 – Прибалтийско-финские личные имена в новгородских берестяных грамотах // ПФЯ Петрозаводск 1958
- Попов А И* 1965 – Географические названия Введение в топонимику М Л 1965.
- Попова Э Ю* 1996 – Отэтнонимических образования в диалектной лексике Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика Екатеринбург, 1996
- Поселения 1988 – Поселения древней Карелии Петрозаводск, 1988
- Поспелов Е М* 1974 – Содержание топонимического атласа Центра // Вопросы географии Сб № 94 М 1974
- ПС 1991 – Происхождение саамов М, 1991
- ПФЛ 1991 – *Мамонтова Н Н, Муллонен И И* Прибалтийско финская географическая лексика Карелии Петрозаводск, 1991
- Самоквасов Д Я* 1909 – Архивный материал Новооткрытые документы поместно вотчинных учреждений Московского царства Т 2 М, 1905–1909
- СГД 1813 – Собрание государственных грамот и договоров хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел Ч 1 М, 1813
- СГКЭ 1929 – Сборник грамот коллегии экономии Т 2 Л, 1929
- Седов В В* 1974 – Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // Вопросы географии, Сб № 94 1974
- Серебрянников Б А* 1955 – Волго Окская топонимика на территории Европейской части СССР // ВЯ 1955 № 6
- СП 1928 – Список населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 г.) Петрозаводск 1928
- Спиридонов А М* 1990 – Заселение Челмужского погоста (по археологическим материалам X–XVI вв.) // Европейский Север история и современность Петрозаводск, 1990
- Стрельбицкий И А* 1890 – Специальная карта Европейской России 10 верст в дюйме / Под ред И А Стрельбицкого / Сост в 1870–1874 гг., изд в 1890 г
- Суйсарь* 1997 – Село Суйсарь история, быт, культура Петрозаводск, 1997
- Филипов А М* 1901 – Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник СПб 1901, Т 1 Кн 3
- Финно-угры 1987 – Финно угры и балты в эпоху средневековья М, 1987
- ФУС 1982 – Финно-угорский сборник М, 1982
- Хиду П* 1985 – Уральские языки и народы М, 1985
- Хакулинен Л* 1953 – Развитие и структура финского языка Ч 1 Фонетика и морфология М, 1953
- Харузин Н Н* 1890 – Русские лопари // Изв ОЛЕАЭ при Московском уни те Т 66 Тр этнограф отдела Кн 19 М 1890
- Шанько Д Ф* 1929 – Реки и леса Ленинградской области Л, 1929
- Шаскольский И П* 1973 – Финляндский источник по географии Северной России и Финляндии середины XVI в // История географических знаний и открытий на Севере Европы Л, 1973
- Шилов А Л* 1993 – По Суна плыли наши челны М, 1993
- Шилов А Л* 1995 – Гатчина // РР 1995 № 1
- Шилов А Л* 1996а – Чудские мотивы в древнерусской топонимии М, 1996
- Шилов А Л* 1996б – Топонимический заповедник // РР 1996 № 3, № 4
- Шилов А Л* 1997а – Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской Чуди // ВЯ 1997 № 6
- Шилов А Л* 1997б – Паны на Русском Севере // Материалы для изучения селений России (VI конференция Российская деревня история и современность Нижний Новгород, ноябрь 1997) М, 1997
- Шилов А Л* 1998 – Топонимия Карелии в аспекте проблем субстратной топонимии Русского Севера к происхождению гидроформанта *en(b)ga* // ВЯ 1998 № 3
- Шуберт Ф Ф* 1840 – Специальная карта Западной части Европейской России в 1/420000 долю / Под ред ген-лейт Шуберта 1826–1840

- Шумкин В.Я.* 1991 – Этногенез саамов (археологический аспект) // ПС 1991.
- Эрикссон А.В.* 1974 – О генетической структуре популяций лопарей // Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 1974.
- Ariste P.* 1971 – Die ältesten Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // СФУ. 1971, Т. 7, № 3.
- Itkonen E.* 1980 – Einige Gesichtspunkte zur Frühgeschichte der Lappen und des Lappischen // Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja. 1980, Bd. 76.
- Itkonen T.J.* 1958 – Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja. Osa 1, 2. Helsinki, 1958.
- Kalima J.* 1919 – Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.
- Kalima J.* 1941 – Äänisen tienoon paikannimiä // Virittäjä, 1941.
- Kalima J.* 1942 – Karjalaiset ja merjalaiset // Uusi Suomi. 1942, 19.7.
- Korhonen M.* 1981 – Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki, 1981.
- Lehtisalo T.* 1933 – Uralische Etymologien // MSFO. V. LXVII. Helsinki, 1933.
- Lönnroth O.* 1918 – Itä-Karjala ja Kuolanlapin kartta. Laatinut vuonna 1918.
- Nissilä V.* 1967 – Die Dorfnamen des alten jüdischen Gebiets. Helsinki, 1967.
- Rudzite M.* 1968 – Somugriskie hidronimi Latvijas PSR teritorija // Latviešu leksikas attīstība. Rīga, 1968.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa. 1–6. Helsinki, 1955–1978.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. 704 с., 16 с. вкл.

Второе издание энциклопедии "Русский язык" вышло в свет через 18 лет после первого, изданного под редакцией Ф.П. Филина [РЯ 1979]. В новом издании состав редколлегии существенно изменился. Попытаемся в рамках рецензии проанализировать то положительное, что появилось во втором издании благодаря "смене караула", и то негативное, что — можно полагать — все-таки осталось от первого издания либо возникло уже при переиздании; естественно, преимущественное внимание будет уделено той сфере, в которой рецензент считает себя более или менее компетентным, — а именно истории языка¹.

Как явствует из аннотации, помещенной на задней стороне обложки "в энциклопедии в популярной форме излагается все, что знает современная наука о русском языке". В самом деле — прекрасно изданный, набранный нетрадиционно крупным для энциклопедий шрифтом, снабженный множеством иллюстраций (в том числе и на цветных вклейках), подробными предметным и именным указателями, массивный том второго издания энциклопедии разительно отличается от гораздо более скромной книжки первого издания. Правда, большая часть статей, с необходимыми дополнениями и исправлениями, перенесена из одного издания в другое — однако это ничуть не умаляет их новизны и актуальности, но, напротив, создает весьма благоприятное впечатление преемственности. Особенно отраднo, что во втором издании сохранены статьи ушедших от нас ученых — С.Б. Бернштейна, Т.Г. Винокур, Л.П. Жуков-

ской, А.А. Реформатского, Н.И. Толстого, Д.Н. Шмелева: их научное наследие живо, а значит — и мы продолжаем оставаться их современниками. Высокий уровень издания обеспечивается активным авторским участием виднейших представителей современной отечественной лингвистики — Н.Д. Арутюновой, Л.В. Бондарко, Т.В. Булыгиной, Ж.Ж. Варбот, В.Г. Гака, Е.А. Земской, Л.Л. Касаткина, Р.Ф. Касаткиной, Л.П. Крысина, В.В. Лопатина, А.Н. Тихонова, И.С. Улуханова, Н.Ю. Шведовой, Е.Н. Ширяева и др., написавших для энциклопедии по нескольку, а иногда и по нескольку десятков статей, которые отражают новейшие достижения в сфере русистики и общей лингвистики. Весьма обогатило второе издание привлечение к широкому участию в нем Ю.С. Степанова — автора целого ряда проблемных и максимально информативных статей по общим вопросам языкознания. Впрочем, даже и спорадическое появление в числе авторов таких крупных ученых, как А.В. Бондарко, А.А. Зализняк, Т.М. Николаева, В.М. Солнцев и др., безусловно, украшает энциклопедию.

Не будучи специалистом по синхронной лингвистике, рецензент не решается подробно рассматривать содержательную сторону статей, касающихся теоретических проблем, тем более что некоторые из них написаны, кажется, все же в недостаточной "популярной форме", чтобы быть понятными филологу, не занимающемуся соответствующими вопросами профессионально. Хотелось бы, однако, отметить, что четкость и строгая структурированность изложения отличает многие статьи по словообразованию и морфологии (например, "Повелительное наклонение" В.Н. Белоусова, "Инфинитив", "Способы глагольного действия" И.С. Улуханова,

¹ В целях экономии места и ввиду тривиальности большинства высказываемых критических замечаний отсылки к литературе приводятся главным образом в случаях прямого цитирования.

“Род” Ю.А. Сафоновой, “Словообразование” В.В. Лопатина и И.С. Улуханова, “Частицы” М.Г. Шур) и ряду других проблем (в частности, “Разговорный язык” Е.А. Земской, “Риторика” Л.К. Граудиной, “Русистика” Н.Ю. Шведовой, “Семантика”, “Семиотика”, “Языкознание” Ю.С. Степанова, “Слова-предложения” М.В. Ляпон, “Толковые словари” А.С. Белоусовой, “Фигуры речи” Ю.М. Скребнева). Следует также приветствовать введение в некоторые статьи информации о происхождении терминов и об ученых (научных школах), которые первыми разработали тот или иной вопрос (см., например, написанные В.В. Лопатинные статьи “Морф”, “Морфема”, “Морфемика”, статью Т.В. Булыгиной и С.А. Крылова “Референт” или статью Б.С. Шварцкопфа “Тире”). С другой стороны, трудно одобрить как недостаток иллюстративного материала (например, в статье “Сценическая речь”, где перечень особенностей классического сценического произношения занимает меньше места, чем список театральных постановок с диалектными или иноязычными речевым фонем), так и его избыточность (особенно в статье “Канцеляризм”, где пример из текста занимает почти половину общего объема статьи).

Основное замечание, которое вызывают многие статьи и синхронного, и диахронного цикла, состоит в неучете новейшей (а иногда и классической, но по-прежнему актуальной) литературы вопроса, в особенности зарубежной (ср. [Дюрович 1980]). Так, например, в статье “Переходность – непереходность” самая поздняя библиографическая ссылка датируется 1984 г. (причем речь идет о первой публикации монографии А.В. Десницкой, написанной в 1946 г.), а из многочисленных исследований иностранных авторов отмечена лишь общая работа Д. Лайонза в русском переводе (1978). В статьях “Падение редуцированных” и “Редуцированные гласные” ничего не говорится о специально посвященных редуцированным классических трудах Б.М. Ляпунова и В.М. Маркова. В статье “Возвратные глаголы” указана единственная монография по этой теме – почти сорокалетней давности работа Н.А. Янко-Триницкой, но не учтена книга Э. Генюшене по типологии рефлексивов, вышедшая как по-русски (1983), так и по-английски (1987). В статьях о примыкании, согласовании и управлении нет сведений об опубликованном в 1995 г. капитальном труде П. Шмидта и В. Лефельдта “Kongruenz. Rektion. Adjunktion”. Хотя энциклопедия была сдана в набор 04.03.96, мы не находим

в ней и упоминаний о книге А.А. Зализняка “Древненовгородский диалект”, также изданной в 1995 г. Подобные примеры можно множить и множить. Не исключено, что отсутствие ссылок на иноязычную литературу продиктовано популярным характером энциклопедии, – однако, во-первых, такие ссылки все же встречаются в ряде статей, а во-вторых, авторы энциклопедии, рассчитанной, очевидно, прежде всего на молодого читателя-филолога, должны были бы принять во внимание тот факт, что лингвистическая молодежь конца 90-х не чужда знанию иностранных языков.

Иногда в энциклопедии наблюдаются случаи противоречий между статьями, причем по самым конкретным вопросам, как, например, в датировке “Этимологического словаря русского языка” под редакцией Н.М. Шанского: если в статье “Исторические словари” время его выхода (вып. 1–8) определяется 1960–1980 гг., то в статье “Этимологические словари” – 1963–1987 гг. (т. 1–2). Вопреки недвусмысленной рекомендации ортолога – склонять по женской парадигме фамилии типа *Джикия*, *Данелия*, *Жордания* (статья Л.П. Калакуцкой “Фамилии”) – в энциклопедии (как, впрочем, и в других изданиях) почему-то никогда не склоняется фамилия *Телия*. Порой разные статьи, напротив, дружно сообщают неверную информацию: так, и в статье “Исторические словари”, и в статье “Лексикография” желаемое выдано за действительное и к четырем томам “Словаря древнерусского языка”, вышедшим в 1988–1991 гг., добавлен находящийся пока еще только в печати том V, якобы изданный в 1994 г.; едва ли правомерно выделять в особое склонение (как это делается во многих статьях) парадигму основ на *ъ*, склонявшихся по консонантному типу.

Более существенное замечание, общее для большинства статей по современному русскому языку, связано с их принципиальной (и, на наш взгляд, принципиально неверной) установкой на строгую синхроничность. Думается, что в энциклопедии, посвященной не общим вопросам языкознания, не языковым категориям и явлениям как таковым, а конкретному языку, сведения о генезисе и развитии тех или иных явлений были бы далеко не лишними [ср., с одной стороны, статью М.А. Шелякина и В.Б. Силовой “Вид” или статью В.А. Плотниковой (Робинсон) “Прилагательное”, где необходимая историческая перспектива прослеживается, с другой – статью “Одушевленность – неодушевленность”, в которой эта категория

предстает как некая неизменная данность, или "Притяжательные прилагательные", где нет ни слова об исконной разветвленности прежде столь многочисленного разряда, от которой в современном языке сохранились заслуживающие хотя бы упоминания реликты типа *Ярославль, господень*]. Порой искусственное разделение на синхронную и диахронную приводит к появлению в значительной степени пересекающихся статей, которые в идеале должны были бы составлять единое целое, описывающее эволюцию феномена вплоть до его современного состояния ("Вокализм" и "Гласные", "Консонантизм" и "Согласные").

Частные замечания (если не говорить об опечатках) по той части энциклопедии, которую условно можно назвать "современной", таковы. Среди языков, использующих (или, по крайней мере, использовавших до самого последнего времени) кириллицу, не указан единственный иностранный неславянский – монгольский (статья "Алфавит"). В статье "Журналы лингвистические по русскому языку" не упомянуты "Известия по русскому языку и словесности", выходившие вместо "Известий ОРЯС" в 1928–1930 гг., и почему-то вообще не говорится о зарубежных изданиях, прежде всего о журнале "Russian linguistics". Трудно соотнести утверждение о том, что "по своей эмоциональной окрашенности О(бращение) близко к императиву и междометию и нередко употребляется вместе с ним (с чем? – В.К.)" (статья "Обращение"), с приведенными далее примерами, в которых нет никаких обращений: «Снег летит – гляди и слушай!», «Стойте – тотчас угадаю Горе сердца твоего». В статье "Окказионализмы" в качестве примера потенциального слова приведен глагол *джедть менствовать* (так!); хотелось бы думать, что его просторечный облик (вместо *джендть менствовать*) обусловлен только невнимательностью наборщика. Едва ли следовало полностью отказываться от изложения традиционной классификации придаточных предложений (в соответствующей статье). В статье "Топонимика" при перечислении лингвистических центров, в которых ведутся научные исследования в области топонимики, не назван Институт русского языка РАН; тем самым авторвольно или невольно проигнорировал топонимические работы сотрудников этого института О.Н. Трубачева и Г.П. Смолицкой (кстати, не указанные и в списке литературы). Неясно, о каком "Карловом университете в Польше" идет речь в статье "Частотные словари": не

имеется ли в виду пражский Карлов университет?

И совсем уж непонятны причины появления в энциклопедии "Русский язык", в статье "Языки народов России", следующего пассажа: "В годы т.н. развитого социализма под лозунгом равноправного развития языков народов СССР проводилась языковая политика, к-рая по существу вела к русификации..." (я далее в том же духе). Приведенные в статье статистические данные убедительно свидетельствуют о том, что подавляющее большинство народов России считали и считают родными свои языки, а отнюдь не русский, – т.е. мнимая "русификация" никоим образом не вела к утрате национальной идентичности. Напротив, "устойчивая тенденция к национальному возрождению", о которой с таким удовлетворением говорится в статье, за немногие годы, отделяющие нас от разрушения прежде единого государства, уже привела к закрытию русских школ, газет и театров, к низвержению памятников Пушкину, к осквернению могил русских солдат. Бездумное использование пропагандистского националистического жупела "русификации", призванного прикрыть бесчинства "национальных элит" и подготовить почву для дальнейшего распада России, не делает чести ни автору статьи, ни энциклопедии в целом.

Что касается диахронической части энциклопедии, то важнейшим положительным отличием второго издания от первого является существенное приращение статей по историко-культурной и источниковедческой проблематике. В первую очередь здесь следует назвать цикл статей Е.М. Верещагина об освоении библейских текстов на Руси и их значения для русского литературного языка – "Апостол", "Библия", "Евангелие", "Псалтырь". Эти обширные статьи включают необходимые сведения о происхождении указанных памятников культуры, об их составе, времени перевода на старославянский, гегр. церковнославянский и русский языки, о древнейших списках этих переводов, об их бытовании на Руси и – что особенно важно – об их роли в обогащении словарного состава русского языка: каждая статья содержит перечень слов, словосочетаний и фразеологизмов, восходящих к библейским книгам. Квалифицированно написаны статьи об отдельных памятниках древнерусской письменности, прежде всего древнейших, датируемых XI в., и некоторых более поздних ("Архангельское Евангелие" А.Г. Кравецкого, "Изборник Святослава 1073", "Изборник 1076" Г.С. Баранковой,

“Летописи”, “Остромирово Евангелие 1056–57” В.С. Голышенко). Удивляет, впрочем, почему среди статей о датированных текстах первого столетия русской книжности не фигурируют “Новгородские служебные мянеи”. Весьма полезную информацию предоставляет статья “Картотеки лексики русского языка”, рассказывающая о картотеках Словаря русского языка XI–XVII вв., Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.), Словаря русского языка XVIII века, Словаря русских народных говоров. Большой картотеке Словарного отдела, картотеке Словаря языка В.И. Ленина (очевидно, чрезвычайно интересной как для историко-лексикологических, так и для историко-грамматических исследований, но ныне, в духе времени, к сожалению, закрытой).

Менее удачны некоторые другие статьи по указанной проблематике – в частности, “Слово о полку Игореве”, из которой изумленный читатель узнаёт, что “исследователи 19 и 20 вв. объяснили темные места и исправили ошибки” (ах, если бы!), что “дискуссии 30–40-х гг. 20 в. ...разрушили аргументы скептиков” (как будто в 70–90-е гг. не появилась целая серия статей Р. Айцетмюллера, К. Троста и других немецких ученых, пытавшихся – не очень убедительно, но очень активно – приписать авторство “Слова” Н.М. Карамзину). Статья “Грамоты”, в которой центральное место занимает перечисление видов грамот (главным образом поздних), не дает никакой информации о древнейших грамотах (причем относят начало их распространения “в русском государстве” к X столетию, от которого до нас не дошло ни одной грамоты), о локальной принадлежности древнерусских грамот, наконец, содержит анахроничное положение об отражении в грамотах “взаимодействия местной живой народно-разг. речи с приказным письменным языком” (интересно, о каком “приказном языке” можно говорить применительно к Мстиславовой грамоте XII в.?). Статья “Памятники письменности русского языка 10–17 вв.”, включающая много верных рассуждений о “языковом стандарте”, “образцовых текстах”, “языковых установках” и т.д. – т.е. о материях, имеющих гораздо больше отношения к статье “История русского литературного языка”, – не сообщает, однако, ни о количестве дошедших до нас рукописей, ни об их хронологическом и территориальном распределении; отсутствует в ней и подробная жанровая классификация древних письменных источников, из которой читатель мог бы почерпнуть сведения о том, например, чем отличаются

служебные мянеи от четых, что такое кормиче, кондакари, трюнди или ирмологии, какие переводные хроники бытовали на Руси и т.д. Крайне скудны в статье данные об оригинальных древнерусских литературных текстах, ничего не говорится о значении записей писцов в рукописных книгах для истории живого языка. Нельзя не поразиться отсутствию даже упоминаний о Домострое, статейных списках, вестях-курантах, светской литературе XV–XVII вв. Возможно, эта неполнота обусловлена лимитом места, отведенного на статью; в таком случае остается только недоумевать, почему русской письменной культуре восьми столетий в энциклопедии “Русский язык” предоставлено всего четыре столбца – т.е. столько же, сколько “Бытийным предложениям” и “Речевому этикету”, и меньше, чем “Причастиям”. Наиболее странное впечатление в рассматриваемом цикле производит сверхкраткая и анонимная статья “Граффити”, почти без изменений перепечатанная из первого издания: помимо крайне лаконичных и неинформативных сведений о древнерусских надписях, она дает лишь две библиографические ссылки – на первую книгу С.А. Высоцкого (1966) и на недавнюю монографию Т.В. Рождественской (1992 – на самом деле 1991), но игнорирует последующие публикации Высоцкого и работы А.А. Медынцева.

Однако слабее всего разработаны в энциклопедии вопросы собственно истории языка. Неточные формулировки в этой области начинаются уже с предисловия. Так, оценка созданных Кириллом и Мефодием “особых знаков-букв для передачи звуков славянской речи” как первого шага “к научному осмыслению прародителя русского языка” (с. 3) может вызвать у несведущего читателя неверное представление о генетической преемственности старославянского (основанного, как известно, на одном из диалектов древнеболгарского языка) и русского языков. Утверждение, согласно которому “вопрос о языковой, или литературной, норме возник... не ранее последней трети 18 века” (с. 3), выводит за рамки нормализаторских дискуссий споры Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова. Признание “так называемой диглоссии” “фактом” (с. 4) упрощает и искажает далеко не однозначную трактовку этой проблемы в современной науке.

Различные недоразумения историко-лингвистического характера в статьях на общие и современные темы рассыпаны по всей книге. В частности, в статье “Аффикс” праславянский корень **sed-* дважды

приведен без указания долготы гласного. Статья о букве И напрасно соотносит выражение *ставить точки над и* с кириллической буквой “и десятеричное”: в действительности это калька франц. *mettre les points sur les “i”*. В статье “Метатеза” польские формы типа *gród* бесосновательно возводятся непосредственно к **gorđ* и отождествляются с неполногласием: на самом деле эти формы, как и восточнославянские, восходят к полногласным сочетаниям типа **gorəd- > *garod-*. Формы род. пад. из *пламя* (у Лермонтова), им. пад. *облак* (у Блока) в статье “Окказионализмы” отнесены к “поэтическим вольностям”, хотя склонение имен на -*мя* по образцу *поле* в литературном языке XIX в. вполне обычно и отражало, по словам Е.Ф. Будде [Будде 1901: 413], “живое произношение... в языке интеллигенции того времени”, а *масculinum облак*, еще совсем недавно использованный одним из современных поэтов и вызвавший целую пародию необразованного “смехача”, является исконной формой данного существительного (ср. у Даля: *бблак* м. *бблако* ср.). В той же статье объявлено окказиональным ударение *евнѹх* у Лермонтова – однако в XIX в. оно было нормативным (см. Даля, а также многочисленные примеры у Пушкина и других поэтов, как-то: *Меж ними ходит злой евух, У двери знака ждет евух, Пред ней лежит евух седой* в “Бахчисарайском фонтане”) и поддержавшись как греч. εὐνοῦχος, так и соответствиями в латинском, французском, немецком языках. Слово *дети* – отнюдь не “первоначально форма мн. ч. слова *дитя*”, как сказано в статье “Супплетивизм”, а *plurale tantum* жен. рода **i*-склонения (*дѣти*), в отличие от существительного сред. рода консонантного склонения *дѣтѣ*. Фамилия русских аристократов *Петрово-Соловово*, вопреки статье “Фамилии”, в обеих своих частях имела ударение не на последнем слоге, но произносилась *Петрѡво-Соловѡво*². Буква Э употребляется на письме не с XVI в., как утверждается в соответствующей статье, но по крайней мере со второй половины XIV в., ср.: Прѣвѣчне крѣпче сѣ эль. бѣ ѣдине властне (Сильвестровский сборник, 173в), саваофе преславне. эль. эль. эль. эль (там же, 173г; эль – передача др.-евр. ‘el “Бог”).

² В книге Б.О. Унбегауна [Unbegaun 1972: 173, 406] приведено именно это ударение, сохранившееся в памяти эмигрантов первой волны, но в русском переводе оно заменено аналогическим окончательным ударением [Унбегаун 1995: 139, 307, 348].

Конечно, такие огрехи в статьях по синхронному языкознанию вполне объяснимы. Более странно, что неспециалистам было доверено писать и некоторые статьи по истории языка, – это не могло не повлечь за собой досадных ошибок. Так, в статье “Двойственное число” отмечается, что слово *два* “в др.-рус. языке морфологически относилось к прилагательным”, – тогда как морфологически оно относилось к неличным местоимениям, ср.: *та дѣва, тѣ дѣвѣ* – *тою дѣвою* – *тѣма дѣвѣма* (кстати, слова от одного до четырех отнесены “к классу прилагательных” и в статье “Числительное”); форма *колени* возникла не из *колѣнѣ*, а из *колѣвѣ*. Статья “Древнерусский язык”, принадлежащая перу автора, который никогда не занимался древнерусским языком XI–XIV вв., содержит целый ряд неверных замечаний, недомолвок и оговорок: в частности, к числу восточнославянских черт относятся употребление [ч] не только на месте **č*, но и на месте **ki* перед **i* (*ночь, речи*), да и перечень этих восточнославянских признаков не следовало бы ограничивать полногласием, [ч], [ж] и отсутствием носовых, запрятав остальные особенности, столь важные именно для характеристики древнерусского языка, под безликим “и др.” (надо ли говорить, что характерные черты древневогдорского диалекта изложены в статье еще лаконичнее?). Указание на то, что в склонении на **i* “в именах муж. и жен. рода в конце основы мог выступать полумягкий согласный”, вынуждает предположить, что автору известны и примеры **i*-*masculina* с исконно мягким согласным в исходе основы. Разделение прилагательных на качественные и относительные не оставляет места для весьма многочисленных и разнообразных в древнерусском языке притяжательных прилагательных. Употребление терминов “краткая” и “полная” форма применительно к древнерусским прилагательным неисторично. Положение о том, что “по синтаксической роли личные местоимения были сходны с существительными, а неличные – с прилагательными”, не учитывает неличных местоимений, функционировавших как существительные (например, *кѣто, чѣто, никѣто, ничѣто, и, иже*). Утверждение, будто “названия чисел до четырех грамматически сближались с прилагательными”, не совсем верно: слова *одинѣ* и *дѣва*, как уже отмечалось, с морфологической точки зрения являлись местоимениями. Среди глагольных категорий не названо склонение,

хотя ниже, в связи с -л-причастиями, упоминается “условное” (т.е., в научной грамматике, сослагательное) наклонение. Противопоставление “неопределенной формы – инфинитива” и “неизменяемой формы – супинна” создает ложное впечатление “изменяемости” инфинитива, а перевод супинной конструкции *идаше цбрь погубить града* как “пришел царь погубить город” придает имперфекту *идаше* несвойственное ему значение совершенного вида.

Автор статьи “История русского литературного языка” – специалист преимущественно по XVIII в. – провозгласил “Поучение Владимира Мономаха” “образцом житийного жанра”, приписал древнерусскому языку такие лексические русско-старославянские (точнее – церковнославянские) параллели, как *говорить* и *реци*, *глаза* и *очи*, – хотя использование лексем *говорити* (в современном значении) и *глазь* – явление достаточно позднее. В той же статье встречаем следующую фразу (впрочем, не имеющую отношения к исторической грамматике): “Объединенные войска рус. княжеств под предводительством моск. князя Дмитрия Донского побеждают татаро-монг. войска в Куликовской битве (1380), тем самым уничтожается многовековое чужеземное иго на рус. земле” – но, к сожалению, татарское иго было свергнуто не “тем самым”, а лишь сто лет спустя. Основным недостатком разбираемой статьи является отсутствие упоминаний (за исключением последней позиции в списке литературы) о дискуссии, разгоревшейся в 80-е годы вокруг выдвинутой Б.А. Успенским теории диглоссии, существенно активизировавшей разработку проблем истории литературного языка (заметим при этом, что в компактной, но глубоко содержательной статье Л.Л. Касаткина “Церковнославянский язык” именно в связи с диглоссией дана отсылка к статье “История русского литературного языка”; ср. также лаконичную, но точную характеристику данного вопроса в статье Ю.С. Степанова “Язык художественной литературы”).

Но “что страннее, что непонятнее всего” – как могут неквалифицированные статьи и грубые ошибки выходить из-под пера, казалось бы, специалистов? Первая из таких статей – “Аорист” – начинается утверждением о том, что аорист обозначал действие, мыслившееся как “краткий, полностью закончившийся акт”; тут же приходят в голову хрестоматийные примеры типа: *написахъ же еу(з)лие се*. Замечательно, что в первом издании эн-

циклопедии в статье “Аорист”, написанной другим автором, не было речи о “краткости”; впрочем, при сопоставлении двух статей трудно отделаться от мысли, что автор текста во втором издании, не имея другого источника информации об аористе, порой просто переписывал предшественника, стараясь, однако, несколько разбавить его текст своими вкраплениями, ср.: “Аорист... – простая грамматическая форма прошедшего времени. Унаследованная из праиндоевропейского языка, некогда была свойственна всем слав. языкам, в т.ч. древнерусскому. Утрачена всеми восточнослав. языками... А. обозначал действие, совершенное в прошлом и мыслившееся как целиком законченный акт” (1-е изд.) – “Аорист... – простая (неаналитическая) грамматическая форма прошедшего времени древних славянских языков, и в т.ч. древнерусского, унаследованная из праславянского языка... и впоследствии утраченная всеми восточнославянскими языками. А. обозначал прошедшее действие, целиком завершённое в прошлом (!) и мыслившееся как краткий, полностью закончившийся акт” (2-е изд.). К числу инфинитивов на согласный напрасно отнесен глагол *идти*: такого глагола в древнерусском языке не было, и соответствующая форма выглядела как *ити* (< *eitei). Если появление формы 3-го л. мн. ч. простого аориста *идѣ* (вместо *идѣ*) в первом издании можно объяснить опечаткой наборщика, перепутавшего два юса, то повторение этой ошибки во втором издании (*несѣ* вместо *несѣ*) уже едва ли объясняется так просто. Однако автор статьи во втором издании не ограничился чужими ошибками и внес в парадигмы еще и такие фиктивные формы сигматического старого аориста, как *нѣсете* вместо *нѣсте* во 2-м л. мн. ч. и 3-м л. дв. ч. и *нѣсета* вместо *нѣста* во 2-м л. дв. ч. Трудно безоговорочно согласиться с решительным заявлением о том, что “в др.-рус. языке формы простого А. не зафиксированы”: если говорить о языке восточнославянских рукописей, то в них формы простого аориста, перенесенные из южнославянских протографов, встречаются неоднократно, ср., например, в Захаринском паремейнике 1271 г.: и погнаша же югоуптѣне и вънидоу в слѣдъ ихъ. 9–10; идѣахоу три дѣя. въ поустыня. и не вѣрѣтоу воды да быша пили. 10 в–г; и придоу въ климѣ... и сташа тоу при водахъ. вѣдвигоу же сѣ ѿ клима. и придоу въ вѣсь 116 (Исх. 14, 23; 15, 22, 27;

16, 1). Напротив, хотелось бы увидеть примеры старого сигматического аориста от глагола *нести*, якобы представленные в древнерусском языке наряду с аналогичными формами глагола *речи*: если старый аорист типа *рѣхъ, рѣша* (а также *бѣша* – от *бѣчи*) действительно наблюдается в памятниках, то формы типа *нѣсѣ, нѣхъ, нѣша* нам до сих пор не попадались.

Несколько странных датировок обнаруживается в статье “Кыриллица”: непонятно, почему “постепенное приобретение” буквой *ѣ* звукового значения [ʲа] и [ʲя] связывается с рукописями XII в., “пропуск букв Ъ, Ь” и “взаимная мена букв Ъ – О и Ь – Е” – с рукописями XIII в., а “мена букв Ъ – Е или Ъ – И” – со среднерусскими рукописями XIV в., – как если бы, например, в Изборнике 1076 г. и многих других рукописях XI в. не было написаний *ѡвленѣм, часа* и т.п., в источниках XII в. – многочисленных свидетельств падения редуцированных, в древнейших новгородских и смоленских грамотах – смешения *ѣ* и *е*, а в новгородских берестяных грамотах с XII в. и галицко-волыньских памятниках с XIII в. – отражения перехода [é] > [и]. В той же статье “взаимная мена букв Ц – Ч” напрасно ассоциируется только с новгородскими рукописями: известно, что цоканье зафиксировано в смоленских и тверских источниках.

В специальной статье о цоканье, почти без изменений перенесенной из первого издания во второе, также содержится ряд неверных положений. Не говоря уже о том, что сведение всех типов цоканья к произношению либо [цʲ], либо [ц], либо [чʲ] упрощает ситуацию в современных говорах, а утверждение о том, будто бы “Ц(оканье) никогда не было широко распространенной диалектной чертой”, игнорирует примеры смешения *ц* и *ч* в рукописях, написанных на обширных территориях Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской земель, – нельзя не оценить самым негативным образом предпринятые автором попытки объяснить генезис этого явления. Условиями, облегчившими его возникновение, автор считает “происхождение *ц* и *ч* из одной фонемы” и “отсутствие в языке слов и форм, к-рые противопоставлялись бы друг другу фонемами *ц* и *ч*”. Эти постулаты нетрудно оспорить: во-первых, *ч* восходит не только к **k*, но и к **tj* и **kt*; во-вторых, смешение шипящих и свистящих, также

имеющих общие источники, охватывает значительно более узкий ареал, чем цоканье; в-третьих, формы, противопоставленные фонемами [цʲ] и [чʲ], причем перед разными гласными, на самом деле весьма многочисленны, ср.: *овьца* – *овьча* “ягненок”, *коньца* (род. пад.) – *коньча* (аорист), *моучениче* (зв. ф. от *моученица*) – *моучениче* (зв. ф. от *моученикъ* и притяж. прил. сред. рода), *отроци* (мн. ч. сущ.) – *отрочи* (мн. ч. притяж. прил.), *дѣвица*, *дѣвицѣ*, *дѣвици*, *дѣвицоу*, *дѣвиць* и другие формы сущ. жен. рода – *дѣвица*, *дѣвицѣ*, *дѣвици*, *дѣвицоу*, *дѣвиць* и т.п. формы притяж. прил. Видимо, автору лучше было бы привести иные “гипотезы о происхождении Ц(оканья)”, которые он не считал нужным хотя бы кратко изложить.

Следует заметить, впрочем, что другие энциклопедические статьи историко-грамматического содержания редко демонстрируют более двух ошибок, а иногда даже и вовсе свободны от ошибок. В статье “Вокализм”, помимо странного высказывания о том, что в древнерусском языке до середины X в. были фонемы *q* и *e*, “на письме обозначавшиеся буквами *ж* и *ѡ*” (желательно было бы уточнить, на чьем письме – древнерусском до середины X в.?), приведена лишь одна неправильная форма – *путь* вместо *пѣтъ* (разумеется, мы не говорим о трактовке дискуссионных вопросов, таких, как смягчение полумягких). В статье “Звательная форма” вокатив *братия* – от **ja*-основного существительного *братия* – приведен среди форм “с древнейшими основами на *o*, *ij*, *ɣ*”, а форма ед. ч. мягкого варианта **a*-склонения *дѣвици* (вообще не звательная, а либо дат.-мест. ед. ч., либо им.-вин.-зв. дв. ч.), судя по всему, приписана **i*-основам. В статье “Звуковые законы” первая палатализация заднеязычных напрасно отнесена к древнейшей эпохе истории русского языка – это изменение праславянского периода. Приходится разубедить автора статьи “Имперфект”: формы имперфекта “в церковно-книжных памятниках”, а также в летописях “широко употреблялись” не до XIV–XV вв., а до тех пор, пока эти памятники создавались и переписывались, – т.е. до XVII–XVIII вв.; фонема (а) после мягких согласных обозначалась на письме не только посредством *ѡ* (*несѡхъ*), но и с помощью *ѡ* (*несѡхъ*); среди реликтов имперфекта в современном языке, наряду с выраженем *еле можаху*, следовало бы при-

вести и гораздо более частотное *ничтоже сумняшеся*.

Обобщающая статья “История русского языка” содержит несколько весьма спорных утверждений. Так, после обнаружения сотен берестяных грамот никак нельзя говорить о “скудости письменных источников”, которая “затрудняет достаточно полное выявление диалектных особенностей др.-рус. языка”, — по крайней мере в отношении древне-новгородского диалекта эти особенности выявлены теперь со значительной полнотой, и датировка его формирования второй половиной XII — первой половиной XIII в. по меньшей мере удивительна. Впрочем, трудно было бы ожидать глубины и основательности от статьи, в которой список литературы не включает ни трехтомной “Русской исторической грамматики” В.Р. Кипарского, ни двухтомной “Истории русского языка” А.В. Исаченко, ни работ А.А. Зализняка и Г.А. Хабургаева.

Название города *Вологда*, вопреки весьма устаревшей этимологии, приведенной в статье “Неполногласие”, не имеет ничего общего с *влагой* — как и другие севернорусские топонимы, это финноугризм. Форма *брьвьно* отнюдь не является исконной для *брьно*, как утверждается в статье “Падение редуцированных”, но обе они восходят к *брьвно* (с различной рефлексацией сочетания *-ьр-*). Положение об “исключительном” использовании *-л-* причастий для образования сложных форм времени и условного (*sic!*) наклонения (статья “Перфект”) нуждается в коррективе: в действительности они употреблялись и в адъективной функции (ср. *пошьль, пришьль*); в той же статье неверно цитируется хрестоматийная Мстиславова грамота: вместо *дъ даль роукою свою* должно быть *а дъ даль роукою свою*.

Весьма емкую и информативную статью “Праславянский язык”, думается, все же не следовало перепечатывать из первого издания энциклопедии без какого бы то ни было редактирования, поскольку в нее, к сожалению, вкрались несколько неточностей: так, лаконичное перечисление в одном ряду основ на *-s, -ni, -l, -g, -ŭ, -i, -o, -ā* как “различавшихся набором флексий” наталкивается на тот факт, что консонантные основы и основа на *-ŭ*, входившие в одно склонение, флексиями не различались; праславянский язык знал не “только именные прилагательные, к-рые изменялись по типу основ на *-ŭ* и на *-l*” (над *-a* — явно вследствие опечатки — поставлен знак краткости), но и адъективы на **-i-* и **-u-*; глагол

**besĕdovati* в обоих изданиях напечатан с *e* после *s*, что, по-видимому, исключает версию об опечатке; наконец, в списке литературы, приложенном к статье, почему-то не указана пятитомная “Сравнительная грамматика славянских языков” А. Вайана.

Теоретическая информация и толкования примеров, представленные в статье “Преждебудущее время” и сводящие значение этой формы к “будущему действию, к-рое завершится раньше другого будущего действия”, совершенно не согласуются с семантикой причастия прош. вр. на *-л-*, составившего ее знаменательную часть. Как убедительно доказал Г.А. Хабургаев, для данной конструкции характерно прежде всего значение прошлого действия, обнаруживаемого в будущем (см. [Горшкова, Хабургаев 1997: 315–319]), — значение, которое позволяет признать обоснованным и весьма удачным определение ее в большинстве употреблений как “предположительного наклонения” [Зализняк 1995: 118, 159]. При чтении статьи “Стяжение гласных” создается впечатление, будто бы в русском языке это явление ограничено лишь современными говорами, так как автор не отметил исторические явления стяжения, например, в формах местоименных прилагательных.

В целом изложение проблем истории языка в энциклопедии нельзя признать вполне удовлетворительным.

Существеннейшим, фундаментальным — и крайне огорчительным — отличием второго издания энциклопедии от первого является принципиальный отказ от персональных, объясняемый в предисловии (с. 5) стремлением избежать дублирования информации и наличием справочных изданий, в которых содержатся биографические и научные данные о лингвистах прошлого и настоящего. С обоими аргументами согласиться трудно. Дублирование информации наблюдается в рецензируемой книге столь часто, что иногда даже возникает подозрение об отсутствии должного редакторского контроля (ср., например, буквалыные совпадения абзацев в статьях “Азбука” и “Буква”, постоянное повторение одних и тех же положений во многих статьях исторического цикла, как-то: “Вокализм”, “Древнерусский язык”, “История русского языка”, “Консонантизм”, “Падение редуцированных”, “Редуцированные гласные” и др.). Кроме того, утверждение о том, что информация об ученых содержится в статьях о соответствующих научных школах (с. 5), отчасти верно лишь применительно к

тем учёным, которые создавали школы либо принадлежали к ним, но никак не может быть отнесено к таким корифеям нашей науки, которые предпочитали работать в одиночестве и сами были больше чем школой, — А.Х. Востокову, Ф.И. Буслаеву, А.И. Соболевскому и др. Да и сведения о лингвистах, входивших в ту или иную школу (или просто условно “приписанных” к ней), в статьях об этих школах слишком кратки, чтобы можно было всерьез говорить о “дублировании информации” (см., например, голое перечисление фамилий А.С. Будиловича, М.А. Колосова, Б.М. Ляпунова в статье “Харьковская лингвистическая школа”); из статьи “Акцентология” никоим образом не следует, что одним из создателей русской исторической акцентологии был Л.Л. Васильев. Что же касается ссылки на другие издания, то прекрасный справочник М.Г. Булахова, изданный в Минске более 20 лет назад, давно стал библиографической редкостью (я, естественно, на 20 лет устарел), а справочник “Кто есть кто в современной русистике” (М., 1994), при всем стремлении к полноте, сообщает много полезного, в частности, о хобби современных русистов или о научной продукции авторов двух-трех статей в периферийных сборниках и зарубежных методистов русского языка, но игнорирует деятельность таких, например, ученых, как В.А. Белошапкова, Л.В. Бондарко, Д. Ворт, В.М. Мокяенко, Г. Хютль-Фольтер.

Особенно концептивно изложено в энциклопедия развитие и современное состояние зарубежной русистики. В статье “Русистика за рубежом” не упомянуты ни ценнейшие и полезнейшие труды польских ученых — обратные словари к “Материалам для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского и “Словарю языка Пушкина” (не говорится о них и в статье “Обратные словари”), ни пражская “Русская грамматика” (1979), ни фундаментальные многотомные “*Wörterbuch der russischen Gewässeramen*” М. Фасмера и основанный им же “*Russisches geographisches Namenbuch*”. Абзац об американской русистике сводит интересы наших коллег из США к синхронии — хотя названные среди них Р. Якобсон, Г. Лант, А. Тимберлейк, Д. Ворт и не названные Х. Бирнбаум, У. Шмальстиг, К. ван Схоневелд, Э. Клеиня и другие ученые внесли весьма важный вклад прежде всего в историческое изучение русского языка. Среди имен зарубежных русистов, бедро перечисленных в статье, мы не находим ни болгарского исследователя Д.С. Станишевой, ни немцев Б. Панцера,

Х. Ротэ, Р. Эккерта, Х. Кайперта, В. Лефельдта, ни венгра И.Х. Тота, ни французов Ж. Леписье, М. Феррана, Р. Комте, М. Гиро-Вебер, ни норвежцев Г. Хетсо, А. Граннеса, Я.-И. Бьёрнфлатена, ни шведов С. Густавссона и Л. Стенсланда, ни датчанина П. Дурст-Андерсена, ни финнов К. Лиукконена и Х. Томмолы, ни вообще кого бы то ни было из австрийских, нидерландских и бельгийских русистов (напомним хотя бы об ученом с мировым именем, венском профессоре Г. Хютль-Фольтер, о лучшем зарубежном исследователе новгородских берестяных грамот голландце В. Вермеере, его соотечественнике, крупном текстологе В. Федере и известном своими нередко спорными работами по медиевистике бельгийце Ф. Томсоне); просто неприлично, что известный датский славист Адольф Стендер-Петерсен назван — видимо, по аналогии со шведским писателем Августом Стриндбергом — А. Стриндером-Петерсеном (эта ошибка перенесена и в именной указатель).

Подробную информацию об идеях и трудах выдающихся русистов, вероятно, призвано заменить визуальное знакомство с ними благодаря помещению на страницах энциклопедии многочисленных портретов ученых — что отчасти продолжает традиции первого издания и, разумеется, заслуживает всяческого одобрения. Обращает, однако, на себя внимание то обстоятельство, что в книге не нашлось места для портретов Востокова, Буслаева, Соболевского, Будде, Щепкина, Карского, Ляпунова, Истрина, Чернышева, Каринского, Ильинского, Пешковского, Истриной, Селищева, Обнорского, Булаховского, Ларина...

Плачевная ситуация с персоналиями во втором издании энциклопедии, лишаящая молодое поколение русистов сведений (в том числе и библиографических) об ученых, которые составляют гордость отечественной науки, и о лучших зарубежных славистах, находит естественное продолжение в “Аннотированном именном указателе” к книге. В идеале указатель содержит фамилию, имя (и отчество) ученого, даты жизни и название страны, где он работал или работает. На практике, однако, мы встречаем ошибки и пробелы по всем этим позициям. Крайние случаи — это неправильное воспроизведение фамилии, имени, отчества, неверная идентификация того или иного лица и, наконец, неучет исследователей, упомянутых в тексте. Так, В.В. Бородич представлена в указателе как “Бородин”, латвийский методист Борис Федорович Иифантьев — как “Иифантьева Б.Ф.”, О.Г. Порохова — как “Пороховая”,

Р. де Соссюр – как “Соссюор” (и потому помещен по алфавиту раньше Фердинанда де Соссюра), Э.А. Штейнфельдт – без конечного *m* (так, впрочем, и в тексте двух статей), нидерландский славист Йос Схакен – как “Шекен” (так и в тексте статьи), Владислав Маркович Иллич-Свитыч превращен в “Вл.”, т.е. “Владимира”, Игнатий Викентьевич Ягич – в “Викторовича”. Следовало бы догадаться, что Анна Зиновьевна Розенфельд (р. 1910) никак не может быть отождествлена с А. Розенфельдом, который, согласно статье “Изборник Святослава 1073”, “в 1899 первым дал законченное описание языка рукописи”. В рецензируемую энциклопедию перекочевало из “Лингвистического энциклопедического словаря” объединение двух тезок А.В. Поповых – индоевропеиста, ученика А.А. Потебни, и монголоведа: Попов, упоминаемый в статье “Харьковская лингвистическая школа”, действительно скончался в 1880 г., но родился не в 1808 (т.е. на 27 лет раньше своего учителя), а в 1855. Фигурирующий в двух статьях автор одной из первых русских грамматик Генрих Вильгельм Лудольф (1655–1712) заменен в указателе его дядей, немецким ориенталистом Иовом Лудольфом [Unbegaun 1959: xiii–xiv] (причем в тексте статей фамилия “нашего” Лудольфа снабжается инициалом И.). Не может не удивлять отсутствие в указателе многих имен, отмеченных в тексте энциклопедии, например, Е. Дограмаджиевой (статья “Палеославистика”), А.Ф. Журавлева, А.Б. Пеньковского, Т.М. Судник, С.М. Толстой и др. (“Этнолингвистика”).

Еще чаще, однако, составителю указателя не удавалось раскрыть инициалы – по причине “недостатка справочной литературы” (с. 691). Между тем работы большинства перечисляемых далее ученых есть в каталоге РГБ, да и любой мало-мальски начитанный славист мог бы сообщить имена Моше Альтбауэра, Эмилии Благовой, Радослава Вечерки, Зои Гауптовой, Карла Гутшмидта, Пауля Дильса, Бернарда Комри, Станислава Кохмана, Этторе Ло Гатто, Никиты Александровича Мещерского, Казимежа и Лешека Мошиньских, Василия Васильевича Нимчука, Лянды Садник, Патрика Серно, Марии Александровны Соколовой, Капитолины Ивановны Ходовой, Андерса Шеберга, Игоря Шевченко, Райнера Эккерта, не говоря уже о всемирно известном философе Мартине Хайдеггере.

Труднее, конечно, установить год рождения здравствующих и даты жизни покойных исследователей, особенно зарубежных. Многие из ныне работающих

русистов, однако, включены в справочник “Кто есть кто в современной русистике” – например, У. Биргегорд, Б. Комри, П. Серно, о некоторых можно было бы навести справки в академических институтах или вузах. На двадцать лет указатель “состарил” американского слависта М. Флайера. Кончина Г.А. Хабургаева датирована 1993 г., тогда как в действительности его не стало в 1991. Гораздо хуже, однако, что только годы рождения приводятся для ученых, ушедших от нас до сдачи энциклопедии в набор, – В.Р. Кипарского, И.Б. Кузьминой, А.С. Львова, Ф.В. Мареша, Й. Хамма.

Даже определение стран, где работали или работают зафиксированные в указателе ученые, вызвало ряд затруднений и недоразумений, которые, думается, легко могли бы разрешить авторы соответствующих статей. Так, из указателя никак не явствует, что А. Достал и Ф.В. Мареш последние 30 лет своей жизни, после 1968 г., работали не в Чехии, а соответственно в США и Австрии, что научная деятельность А.В. Исаченко, наоборот, протекала не только в США и Австрии, но прежде всего там, где он прожил большую часть жизни, – в Чехословакии, что Марио Капальдо – это один из крупнейших итальянских медиевистов, что В.Р. Кипарский – глава финской славистики, а не путешественник из Финляндии в “Зап. Берлин и др.”, что К. Мошиньский и Л. Мошиньский – знаменитые польские слависты, а Р. Айцетмюллер, Л. Садник и Р. Эккерт – немецкие, что В.В. Нимчук живет на Украине, Ж. Триумф – во Франции. Неупоминание страны пребывания способно навести читателя на мысль о том, что мифреальский и парижский профессор Igor Mel'čuk все еще остается нашим соотечественником, тогда как эксплицитное указание на Россию в сведениях об авторе этих строк – единственном из всех русских, советских, российских исследователей удостоившемся такой чести – кажется уже просто необъяснимым.

Поскольку составитель указателя и Редакция заранее поблагодарили читателей “за все замечания и поправки и особенно за сведения, которые восполнят имеющиеся в указателе пробелы” (с. 691), что побуждает надеяться на возможность исправления ошибок и восполнения пробелов в будущем, мы рассматриваем приведенные замечания к указателю как посильный вклад в третье издание энциклопедии. Однако следует подчеркнуть, что и перечисленных, и не перечисленных ошибок и пробелов могло бы вообще не быть, если бы “Ан-

нотированный именной указатель” был заранее направлен на просмотр и редактирование в русистические и славистические институты и на кафедры ведущих вузов.

Впрочем, предварительный сторонний взгляд был бы отнюдь не лишним для всей энциклопедии – между тем в книге нет сведений даже о титульных рецензентах. К сожалению, келейность подготовки издания никоим образом не могла способствовать устранению отмеченных недостатков. Речь вовсе не идет о “ловле блох” – хотя, конечно, лучше не “чесаться”, а вылечиться от них. Дело в другом: энциклопедия “Русский язык” – это лицо современной отечественной русистики, и не хотелось бы видеть на этом лице ни следов затянувшейся юношеской незрелости, ни признаков рамолитического разложения. Слишком высок уровень большинства статей по синхронной и теоретической лингвистике, по источниковедению и культурно-исторической тематике, чтобы безропотно наблюдать, как на страницы энциклопедии проникают невежество и халтура – которые,

сместе уверять, отнюдь не определяют облик современной исторической русистики”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Будде Е.Ф. 1901 – Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала XIX века // ЖМНП. 1901. Ч. 333.
- Дюрлович Л. 1980 – // R.Ling. 1980. V. 5. Рец.: Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
- Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. 1997 – Историческая грамматика русского языка. 2-е изд., испр. М., 1997.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- РЯ 1979 – Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
- Унбеггаун Б.-О. 1995 – Русские фамилии / Пер. с англ.; общ. ред. и послесл. Б.А. Успенского. 2-е изд., испр. М., 1995.
- Unbegaun B.O. 1959 – Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica, Oxonii A.D. MDCXCVI. Oxford, 1959.
- Unbegaun B.O. 1972 – Russian surnames. Oxford, 1972.

В.Б. Крысько

Большой толковый словарь русского языка. СПб.: “Норинт”, 1998. 1536 с.

Институт лингвистических исследований Российской академии наук выпустил Большой толковый словарь русского языка (БТС-98). Составитель и главный редактор С.А. Кузнецов. Уже беглое знакомство с этим словарем свидетельствует о том, что перед нами – яркое произведение русской лексикографии.

Этот словарь полнее других (в частности, при свонк 446,42 уч.-изд. листах, он в три раза объемнее известного одностомного толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, который имеет в издании 1997 – 145,7 уч.-изд.л.). Полнота ощущается не только в доведении словника до 130000 слов, но и в усилении информативности словарных статей.

Новизна и общеизвестность, актуальность и жизненная необходимость принятых в словарь слов сразу обращают на себя внимание. Научность словаря сочетается с его доступностью и открытостью для читателя малоподготовленного и не искусственного в словарном деле. Ясность и четкость трактовки слов удачно уживаются со стремлением к сжатости и краткости.

Впервые в отечественной лексикографической традиции в толковом словаре нашлось место для разговорно-окрашенного и сниженного лексического пласта действи-

тельно активных и всем известных слов (многие из которых, увы, не служат украшением нашей речи, однако не могут продолжать оставаться без внимания со стороны ведущих словарей). Наконец появился словарь, который отказался от неграмотной пометы “просторечие”. Если в теоретической русистике возникло недоразумение – недопустимая двусмысленность этого термина (1. – сниженность, разговорность и 2. – неграмотность, сигнал необразованности), то тащить эту несуразность в словарь, где нет возможности при каждой поставленной помете “прост.” извиняться за ее применение, практически невозможно. За один этот отказ от такого просторечия данный словарь должен быть особо отмечен.

Основное достоинство БТС-98 в том, что он богаче и точнее других. В нем есть все (гиперболично, конечно). Это заметно отличает его от аналогичных словарей. Проблема семантизации и омонимии решена в основном правильно.

Рецензия на словарь необыкновенно

* Рецензия написана в период стажировки автора в Упсальском университете, субсидированной Шведским фондом интернационализации высшего образования и исследований (STINT).

сложна. Она требует такой же громадной работы, которую проделали составители. Но даже отдельные дискуссионные моменты, частные замечания и предложения могут оказаться полезными при совершенствовании словаря. Ведь безукоризненно готовым он практически никогда не бывает.

Дискуссионные моменты можно подразделить на два вида. Одни являются типичными для большинства словарей, другие характерны главным образом для обсуждаемого словаря. Построение словника, омонимия, размежевание семем в регулярном и частном применении (проблема так называемых оттенков значения), разграничение словообразования и формоизменения (например, решение вопроса, когда уменьшительности обретают свою, отличающуюся от прототипа слейцифуку и когда нет) — все эти и им подобные проблемы постоянно приходится решать составителям словарей. К чести авторов БТС-98, они очень квалифицированно находят нужные решения в самых сложных случаях.

Точность толкования зависит от принятия во внимание парадигматических отношений, насколько полно учтено отличие от синонимов, соответствующая позиция среди когипонимов, правильность отнесенности к гиперониму. Всегда ли это гарантировано в словаре?

Когда омонимичность возникает из полисемии, никаким "взвешиванием", никакими дополнительными псевдокритериями нельзя подтвердить, состоялся или нет семантический отрыв вторичного значения от первичного. Большой шум вокруг распада многозначности в 50–60-е гг. привел не столько к повышению бдительности по поводу фиксации омонимов, сколько к неоправданному увеличению числа омонимов в словниках и, в конечном счете, к порче словарей. Данный словарь во многом остается верным мизизму слова, однако, в отдельных случаях предпочитает омонимичную подачу слов, не имеющую должного основания.

Когда БТС-98 разбивает на омонимы такие слова, как *досадить, жаба, клепать, залив, заломить, просветить, замолчать, сальность* и т.п., это не встречает поддержки. С удовлетворением можно, однако, заметить, что омонимический "зуд" не типичен для БТС-98.

Толкование некоторых слов трудно принять безоговорочно: *жлоб* — это и скряга, *места не столь отдаленные* — не только ссылка, но и туалет, *жопа* (*перен.*) — скорее ролля, человек упустивший шанс, чем "скверный, отвратительный человек", *мудак* — это скорее дурак, ничтожество, чем

"нудный, докучливый (?) неудачник". Пометой *нецензурное* словарь не пользуется. И напрасно.

Не лишней была бы дополнительная редакция по метонимичному словоупотреблению. Так, например, словарь не дает для *окна* значения "оконное стекло" (мальчишки разбили окно на втором этаже), "оконная рама" (после двери покрашу окно), "подоконник" (цветы стоят на окне, поставить что-л. на окно, снять что-то с окна); для *кино* — "сеанс" (после кино пойдем в дискотеку), для *телефона* значение "телефонный разговор": это не для телефона, обсудим при встрече; "телефонный звонок": *Ира, телефон!* = телефон звонит.

Избыточность сообщаемых в словаре сведений — извечная лексикографическая проблема, очень тонкая и с трудом находящая правильные решение. Необходимы ли при *кулебяке* признак "продолговатый", при глаголе *возникать* — вмешиваться, "высказывать недовольство, несогласие" (?) (разве недовольство здесь обязательно?)? *Алтарь* толкуется с позиций православной церкви. Следовало бы учесть и католическую (принять во внимание нецелесообразность упоминания и к о н о с т а с а). Борода *бородача* необязательно должна быть большой (92 с.). Ходить *пешком под столом* (830 с.) нелепо заканчивается "о не помнящем себя ребенке" *Жетон* бывает не только металлический, но и пластмассовый. Признак материала, из которого он изготовлен, излишен. *Лансердак* объясняется как шюртук польских и галицийских евреев. Это этимология, и для раскрытия семантики она не обязательна. *Забрнуть* в армию не дается, зато приводится исторический комментарий 1874 г.

Другое дело, когда не д о д а ч а информации бедит семантическую картину. Для слова *негры* момент эксплуатируемости можно было бы добавить; *перелопатить* (*перен.*) означает еще проработать большой материал (в БТС есть только конкретное значение). *Европеец* (в дополнение к приведенному) следовало бы дать как "идеализированное, представление о человеке высшей цивилизации": Иванов — е в р о п е е ц, человек культурный и тонкий. Покритиковать он сумеет достойно и тактично. Это деревня (человек) лезет спорить с е в р о п е й ц а м и, которые мыслят совсем иными, не нашими категориями. *Азиат* — дополнительное употребление символизирует отрицательные качества отсталых людей: Куда нам, а з и а т а м, соваться на эту международную выставку! Часто задают

вопрос: что русские больше европейцы, чем а з и а т ы, или наоборот?

Некоторые толкования нуждаются в уточнении. *Кудыкать* – это не обязательно и а в я з ч и в о спрашивать: Куда? В некоторых деревнях считалось, что вопрос: *Куда?* принесли неудачу. Поэтому он был нежелателен, и на него отвечали "Ну з а - к у д ы к а л! (или нечего кудыкать!) – Теперь пути не будет. Бранное употребление слова *козел* следовало бы дать под самостоятельной цифрой. "Упорствующая глупость", вызывающая раздражение как основной признак ругательства *козел*, неправильна. В словарной статье *сидеть* в пункте третьем говорится "находиться в каком-л. месте в каких-л. ц е л я х (!) обычно длительное время" и приводится наряду с другими пример: В ноге сидит осколок (о старом ранении). Спрашивается, с какой ц е л ь ю? Не лучше ли было это поместить в восьмом пункте "быть скрыто расположенным (вместо спрятанным)"?

Нет для слова *деревня перен.* невежда. К слову *принципиальный* следовало бы добавить 4. разг. упрямый, несговорчивый, чинящий препятствия. В статье *пиратский* нет примера "пиратское издание".

Проскочить дается с тремя разговорными значениями без фиксации еще одного: "попасть куда-л. в нужный момент, вовремя" (но без всякой хитрости, которая упоминается в пункте 3): Он проскочил в доктора (наук), когда это было легко; со своим заявлением на путевку он успел проскочить до ликвидации санатория; до перерыва еще были билеты, и он успел проскочить. Оказаться *удачливым* совсем не связано с уловками и изворотливостью. Слово *самка* о женщине всегда отрицательно и навязывать ему значение "семьянинка" нельзя. Производное значение *песни* (*долгая, старая, лебединая песня, тянуть одну и ту же песню*) целесообразнее дать самостоятельной семемой, а не включать во второй пункт *песни птиц* (*соловьиная песня, песня жаворонка*).

Вульгаризм *програть* толкуется: 1. – потратить, 2. – проиграть. Разве это не упустить, пропустить, не учесть, не заметить? Нет употребительного управления *настрять* на кого-л. что-л.

Наряд воен. это не только "задание, работа, выполняемая военнослужащими", но и "дисциплинарная мера, легкое наказание солдат": дать, получить наряд вне очереди.

Дополнительное значение слова *огарок* объясняется как "заморыш" (?), тогда как это "хулиган" (см. Словарь Ушакова).

Словоупотребление собирательного существительного со значением единичности не всегда учитывается: *пьянь, шоферня, матросня*, в то время как для слова *шпана* это упоминается.

Следовало бы уточнить для слов *дядя, тетя*, что они применяются детьми в сочетании с разговорным вариантом личного имени: *дядя Коля, тетя Надя*, когда имеются в виду неродственники.

БТС-98 не всегда учитывает модификацию семантики в результате сокращения словосочетания и поглощения словом значения соседствующих компонентов: *возраст* – не только количество прожитых лет, а и "продвинутый" возраст: *он уже в возрасте; с возрастом здоровье не становится лучше; голос: певческий, хороший голос; голоса нет, а на сцену лезет; у нее и голос, и музыкальность, и игра; органы – госбезопасности: форма (хорошая, подобающая): быть в форме; поддерживать форму, не терять форму; Союз: СССР; Штаты: США.* В статье *анализ* (в мед. сфере) требуется метонимическое уточнение "определенное количество того, что подлежит анализу": *принести, сдать, поставить в установленное место, снотать, передать с кем-л. свои анализы.* Процесс (произведение) анализа и его результат словарем учтены.

Отрадно, что не выделенное в самостоятельное значение компенсируется типовым его употреблением. Именно в этом направлении представляется, например, возможность учитывать случаи, когда обозначение отдельных органов и частей тела или функций с подразумеваемым состоянием болезни без словесного обозначения этого свойства просто дается как пример с возможным попутным комментарием: *Бабушка вполне здорова, если бы не глаза. С чем он лежит в больнице, что у него? – Печень.* Вполне понятно, что на автономное значение в полисемии подобные явления претендовать не могут.

В БТС-98 нет эвфемистических буквенных сокращений (произносимых не по правилам орфоэпии): *бэ, гэ, жэ, хэ, рэ.*

В отдельных случаях порядок расположения сведений словарной статьи мог бы быть уточнен. Например, при слове *ух* выделено в конец выражение *по уши* (1. глубоко, 2. сильно), тогда как *По уши* в долгах неожиданно попало в конец пункта второго.

В статье *язык* во втором значении предполагается о р г а н речи, а примеры приводятся: *Длинные языки; злые языки; на язык остер.*

Крестный отец, посаженный отец выходят за пределы толкования пункта первого (мужчина по отношению к своим детям).

Почему *конь (еще) не валялся* не попало за ромб, а упоминается в основной части статьи?

Фразеологизмы распределены не по отдельным значениям (в случае полисемии), а под ромбом в конце статьи. Целесообразность этого зачастую сомнительна, особенно когда положение осложнено регистровыми пометами или их недодачей. Последнее, к сожалению, типично.

Разговорность фразеологизмов словарем очень часто не отмечается. Это становится упущением особенно тогда, когда окраска основного слова/значения расходится с окраской идиом: *С заком (с лишним, с лишком)* нужно было бы дать как *разговорное*: А "Ехать километров 30, да *так* – десять" – как *нар. разг.* В словаре это представлено. Например, *гайка*, слово нейтральное, имеет разговорные фразеологизмы: *гайка слаба, завинчивать гайки*, а словарь эту помету пропускает. Однако *свой в доску, под метлу, сидеть мешком* (об одежде), *поставить на место кого-л.* пометы все же имеют.

Устарелость фразеологизмов требует большей решительности, чем это обнаружено в словаре. *Бить баклуши* очень активно во фразеологических работах (с легкой руки В.В. Виноградова) и совершенно не употребительно в современном языке. *Наше вам с кисточкой!* хотя и не столь древне, но непопулярно сейчас безусловно.

БТС-98 явно недооценивает возможную семантическую природу ряда слов в роли обращения. Не зафиксированы хамские: *Мужчина! Выход вон в ту дверь. // Женщина! Куда вы лезете?* В отличие от других языков, в русском допустимо анонимное обращение к незнакомому: *Мальчик, где здесь метро? // Девочка, на каком этаже 79 квартира? // Ребята! Папаша! Дедуля!* Как это отразить в словаре? БТС-98 чаще, чем дозволено, уходит от этого. Допустимо ли простонародное обращение к незнакомому старшему по возрасту: *Отец!* считать сниженным?

Обсуждаемый словарь не сумел полностью избавиться от традиционной необоснованной пометы *ласк.* для ряда диминутивов: *Ольховые шишечки; ограда в шишечках. Вязка, узор шишечками* – Кто кого здесь ласкает? Ласкательными считаются *лопатка, бумажный мешочек, мерочка,*

гвоздик, бровнышко, лужок. Неплохо было бы от этого лексикографического анахронизма отказаться (что и делается в словаре со словами *молоточек, виштик, клеточка* и др.).

Рыбки хочешь? Это не ласка, а вежливость, предупредительность, внимание к людям. Еще примеры из этой области: *Золотушка* скорее *ирон.* или *язвнт.*, чем *ласкат.*; почему *шагочек усилит?*; почему *ружьишко пренебр.*, тем более с примером: *"Взять бы ружьишко и махнуть в лес"?*

Некоторые частеречные характеристики, предлагаемые словарем, вызывают возражение: фильм – *сила!* в значении междометия (?); *пофигу* – нареч. и в функции сказ. (?) разве в сказуемом это перестает быть наречием?; разве *боком к окну, боком к выходу* – *боком* употреблено в значении предлога?; *прикол!* (здорово!) в зн. междометия (?); *ченуха!* в зн. междометия (?); *извиняюсь* в зн. междометия (?); *отвали!* в зн. межд. и т.д. и т.д. От подчеркнуто эмоционального применения оценочного существительного или глагола превращения его в междометие, по крайней мере в упомянутых случаях, не происходит. Есть же разница в словоупотреблениях типа: *боже мой!, вот черт!, елки-палки!*, с одной стороны, и "это все – *мура, мусть, словоблуд, стёб*", с другой, хотя бы в степени знаменательности. Позволятельна ли такая "революция" в грамматике, да еще втиснутая в словарь?

Упущением БТС-98 является недоучет асимметричных форм с отрицанием, когда их соответствия без отрицания не применяются: *Он надрывался целый день и не присел ни разу; он не просыхает* (постоянно пьян); *нельзя оторваться от этой книги; из Парижа она не вылезает* и т.п.

Принятое сочетание гнездового принципа подачи производных с вынесением их в словник вполне приемлемо. Только всегда ли оно достаточно согласовано друг с другом?

Учет коммуникативных клише в БТС-98 мог бы быть полнее. Отсутствуют стереотипные фразы угрозы и предупреждения: *Учи! Так и знай! Я тебя сделаю! Смотри у меня! Молчи уж! Сиди уж (и не рыпайся)! И не чирикай!* Особенно трудно подавать в словаре клише, состоящие из полужнаменательных и служебных слов: *Я тебе! Ну давай!* (до свидания!); отсутствуют военные команды: *Шагом марш! Запевай! Левою, левою! Оправиться, покурить! Налево! Направо!*; фраза милиционера задержанному:

Пройдемте!; стереотипы: *Хорошо сидим!* (за столом); *Поехали!* (выпьем еще!); *Извините!* (предваряющее следующее за ним неприятное высказывание); *Отдыхай!* (вон!).

Разграничение сниженности на аксиологической и регистровой шкале – вопрос очень сложный и тонкий. Его решение в словаре иногда спорно. По нашему мнению *беспредел*, *обвал*, *гадюшник*, *гэуеушник*, *жид*, *хохол*, *какая* имеют скорее оценочную, чем стилистическую сниженность.

До сих пор говорилось о дискуссионных положениях БТС-98, являющихся нашим общим злом словарного дела. Это тонкости, решение которых часто оборачивается ошибками, просчетами и может считаться своеобразным, лексикографическим "профзаболеванием". Кроме этого данный словарь грешит еще следующим. В отличие от своих предшественников, он включает довольно обширный сниженный слой, правда, останавливаясь перед самой окаянной дюжиной неприличных слов, и квалифицирует его завышенно, легализуя неприличное и даже нецензурное.

Принятые стилистические пометы в принципе выражений не вызывают, но то, как они интерпретируются, не всегда убедительно.

Почему помета *нар.-поэт* отнесена в Предисловии к книжной форме современного языка? (15 с.). Почему *жарг.* связывается только с мимикрией условного языка социальных групп? (15 с.).

Трудно согласиться с тем, что *бабка* разг.-сниж. Это слово многозначно. В одном из значений оно нейтрально: *бабка у него была француженка*, в другом – разговорно: *бабка – простая пожилая женщина: Ну что ты, бабка, со своими мешками здесь расселась!* Это употребление уже разг.-сниж., *Обязала голову несколькими платками как деревенская бабка!* Сниженность при этом можно было бы не подчеркивать. Например, если *Наше вам!* считается *фам.*, то почему *свой в доску* дано без пометы?

Нелитературность слова *волос* в ед. ч. (вместо литературной формы во мн.ч.) не отмечается. Употребление *Волос у меня черный, густой* считается разговорным, тогда как оно простонародно!

Странно в отдельных случаях нарушение принятого в словаре местоположения регистровых помет. Вместо практикуемого во всем корпусе помещения их после толкуемого слова, неожиданно и совсем немотивированно вводится для вариантов в

заголовочного слова (см. § 40, с. 15) пре-позитивное приведение помет: *устар. воинская повинность*; разг. *идзло*; *устар цыганы*. Это – ошибка и при том более серьезная, чем кажется составителям, потому что она вводит читателя в заблуждение. Так, после *цыгане* идет *устар.*, а относится эта помета должна не к ним, а к следующему за этим словом *цыганы*; аналогично недоразумение с выражениями *знать толк* и *знать прок* – то, что простонародность должна относиться к *проку*, трудно понять из-за запутывающего расположения пометы.

Двойная помета *груб.-вульг.* едва ли оправдана. *Груб* – это то, что связано с табуированными понятиями, т.е. то, что при соблюдении приличий, как правило, заменяется эвфемизмом, а выражения *вульг.* – это намеренное предпочтение сильно сниженного и нелитературного для тех денотатов, которые в норме имеют вполне нейтральные названия, с целью бравады или по незнанию. Помета *фам.* практически не получила четкой идентификации. Применяется она довольно редко и маловразумительно.

Русисты идут на поводу у неграмотности (по-видимому, по вполне понятной причине учета потенциального перехода единицы из низшего слоя в нейтральный). Этот весьма сомнительный взгляд пагубно отражается на культуре речи. "Нормализаторского" подхода русисты остерегаются, и, на наш взгляд, совершенно необоснованно. К чему приводит попустительство в педагогике (ср. Б. Спок) общеизвестно.

Конечно, ни один словарь не в силах остановить засорение, огрубление, эстетическую деградацию языка. Надеяться на успех такой оздоровительной деятельности наивно, но проходить мимо этого нельзя. Если русский читатель, на худой конец, как-нибудь сам разберется или его все равно не переубедить (есть такой предрассудок – "Моя речь всегда правильна"), то колеблющегося и сомневающегося можно все-таки наставить на путь истинный. А думают ли составители словаря о его резонансе за границей? Ведь иностранцы будут его основными читателями. Нуждающиеся в осуждения и запрете воспримут недостаточно знающие русский язык как разрешение и дозволенность благодаря неоправданной толерантности к тому, что находится "на дне" лексики.

Как бы словари ни ошибались, к ним существует доверительное отношение, от них ждут совета, рекомендации, разъяснения. Их общественная роль инструктивна.

Такова традиция, и не следует ее нарушать. Читатель хочет знать, как выразиться правильно, что считается нормой, образцом. Как бы трудно в отдельных случаях ни было давать рекомендации, уклоняться от них непозволительно. Употребительность, как известно, сама по себе далеко не достаточна для принятия слова нормой. Распространенность ошибки – это объект для обсуждения и отнюдь не для признания. Упадок общей культуры и языковой в частности – это национальное бедствие, равнодушным быть к которому нельзя. Когда полыхает лесной пожар или происходит наводнение, нельзя оставаться наблюдателем, надо спасать положенные всеми силами. Когда язык низвергается в нечистоты, надо действовать, использовать школу, средства массовой информации, бить тревогу, а не сидеть сложа руки, да еще не кому-нибудь, а русским подыгрывать растленному языку. Куда дальше, если БТС-98 модное междометие – *блин!* – вместо его осуждения характеризует это вполне невнято. Для слов, где была бы целесообразна помета *нецензурное*, словарь позволяет себе нечто легализующее. Это наиболее уязвимо для осуждаемого произведения, с чем никак нельзя примириться.

Проблема неправильностей осталась открытой для словаря: одни он фиксирует (*езжай! кто крайний? пацан*), другие – нет (*ложить, прийти с армии* (вместо из), *километр, шбфер, свекла*). Конечно, существуют для этого специальные словари трудностей и неправильностей, но хотя бы части относящегося к этому материалу общий (к тому же "Большой") словарь миновать не должен. Особенно досадно, когда неграмотность благосклонно переводится составителями в разряд разговорности.

Нет, например, осуждения неуместных манерных мелиоративных замен: *он сейчас отдыхает* (спит), *купается* (моется, не о ребенке), *мой Вовочка виноград не кушает* (не ест, не любит).

Эталонность нашего языка формировалась на севере, порча ползет с юга: *кто крайний?* (в болгарском языке, например, *край* значит конец); *пацан, соскучиться за маму* и т.п. Словарь к этому глуше, чем следует.

БТС-98 продолжает традицию оставлять междометия, частицы, модальные слова без стилистических помет. Хорошо ли это?

В заключение несколько слов о пропусках БТС-98. В то время, как некоторые раритеты он подбирает (слова ограничи-

тельного употребления: *панькаться* (нянчиться), *такать* (звукоподр.), *малоежка*, *прыщ* (агрессивный, человек маленького роста), *шмакодавка* (маленького роста); *челюскинец* (недотепя, козел отпущения?), более известные номинации остаются за его пределами. В БТС-98 нет: *абзац* (все, конец!), *аид* (еврей), *армяшка* презр. (кавказец, южанин), *гости* (менструация), *принять на грудь* (выпить спиртного), *восемь девок – один я, зеленые* (доллары), *итальяшка, кацо* (грузин), *лимита* (сброд, подонки), *в малине* (о мужчине среди женщин, напр., на фотографии), *метр с кепкой* (маленького роста), *музыкалка, мусор* (жарг. миллионер), *мухач* (боксер), *накрутиться* (завиться), *немочка, немчик, немчура, обвал* (кризис), *очуждение* (остранение Шкловского, Брехта), *прюдиизм, дай пять!*, *покупать ребенку одежду на рост, на ушах стоять* (очень стараться), *феня, ходя* (уст. китаец), *художка, "черемуха"* (газ), *черняшка* (черный хлеб), *сейчас шнурки поглажу!* (и не подумаю!), *шнурки в стакане* (родители дома), *япошка*.

Отличительной чертой развития лексики в наше время является быстрота ее модернизации. Словарь не может поспевать за изменениями, происходящими в жизни. В этом его жанровая обреченность – он всегда вынужден отставать. Учет неологизмов данным словарем очень удачен, хотя и не лишен некоторых просчетов. Не попали в словарь: *отовый телефон, пейджер, ноутбук, обменник, новые русские, евроремонт, картридж, шкафы-купе, памперсы*.

И, наконец, еще несколько частных замечаний. Технических погрешностей, с удовлетворением можно отметить, совсем мало. В отдельных случаях (особенно в словарных статьях с богатым фактическим материалом) составители забывают ставить регистровые пометы (см. *ходить* 6., 9., 17).

Нумерацию семем целесообразно помещать более жирным кеглем. Команды и другие побудительные клише лучше давать с восклицательным знаком. О родной тетке – "Тетя Нина Ивановна" (с. 1321) звучит как-то странно; "Дать кому-л. урок – вымыть пол в комнате" (с. 1397) неудачно. *Губа, гауптвахта, лучше солдат.*, чем просто *разг.* Ко 2. пункту слова *нам* не лишне бы добавить примеры: *Не наш человек, сразу видно. // В окопе кто-то есть. – Наши!* В словарную статью *закатить* можно было бы добавить к третьему значению пример

закатить выговор, три наряда вне очереди (воен.); в статью сколько – темпоральные употребления: "Во сколько начало? Со скольких и до скольких работает почта?". Словарную статью где нужно дать с отступом – она сливается с предыдущей. Ленинградского метро уже больше нет. Нужен ли этот историзм? Положить в госпиталь на (?) хирургическое отделение (с. 905). С прибабахом кто-нибудь (с. 969) – не лучше ли (о ком-либо)? На 657 опечатка: Мало кто теперь курит носогрейку [написано кушит].

Следует отметить, что повышенное внимание БТС-98 к лексическим единицам,

располагающимся "ниже стилистического нуля", является его основным новшеством и заслуживает всяческого одобрения. Жаль только, что нетрадиционный словарный материал интерпретируется в целом ряде случаев недостаточно и неточно.

Наконец, тираж 10 000 для обсуждаемого словаря ничтожно мал. Вне сомнения потребуются переиздания. Было бы очень желательно, чтобы в результате дополнительной редакции обнаруженные мелкие недочеты были устранены. Это сделает такой хороший словарь еще более ценным.

В.Д. Девкин

Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Складневской. СПб.: "Фолио-Пресс", 1998. 700 с.

В лингвистической парадигме конца XX века лексикографии принадлежит особое место. Только за один 1998 год почти одновременно вышло 3 новых толковых словаря, выполненных в рамках лингвистических институтов РАН: рецензируемый словарь, "Русский толковый словарь" В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной, "Толковый словарь иноязычных слов" Л.П. Крыкина.

Бурное развитие лексикографии в последнее десятилетие обусловлено и необходимостью зафиксировать и осмыслить те активные процессы в лексике, которые отражают социальные изменения в жизни нашего общества, смену культурологических ценностей и ориентиров, и новыми тенденциями в гуманитарном знании – снятием идеологических запретов, создавшим возможность объективного отражения языковой реальности.

Темпы и активность процессов языка, с одной стороны, и потребность в осмыслении их с позиций новой ментальности современного человека, новой "языковой картины мира" – с другой, вызвали к жизни целые серии фундаментальных исследований [Ю.Н. Караулов, А.Н. Баранов, В.Г. Костомаров, Г.Н. Складневская, Н.А. Купина, В.А. Козырев, В.Д. Черняк; "Русский язык конца XX столетия" (М., 1996) и др.], отражающих языковые изменения эпохи. Сложилась и лексикографическая традиция фиксации и осмысления новых явлений в лексике – словари новых слов и значений, отражающих языковые изменения в пределах разных хронологических отрезков: одного года, одного десятилетия, трех

десятилетий¹. К числу хронологически ограниченных, но уже ретроспективно, можно отнести и оригинальный по замыслу "Толковый словарь языка со времени" [Мокиенко, Никитина 1998].

Особое место принадлежит рецензируемому словарю. "Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения" (далее – Словарь XX в.) – подлинно новаторский лексикографический труд, замечательный по замыслу и высокопрофессиональный по исполнению. Как и в любой отрасли знания (а в лексикографии, насчитывающей много веков своего развития, тем более) создание нового типа исследования, новых принципов и методов анализа – особенно значимое для науки событие. Словарь XX в. и обладает этими свойствами.

Основанный на традиции академических словарей, он использует и те принципы и приемы лексикографической практики, которые уже получили апробацию в словарях предшествующих десятилетий, прежде всего в словарях неологических: это и выбор лексикографического объекта описания, отражающего процесс изменений, и сами принципы словарного описания. Если в словарях инноваций были представлены способы описания новой лексики, а БАС-2 уточнил систему помет для лексики, переходящей в пассивный запас, "Русский

¹ См. серию "Новое в русской лексике", словари новых слов 60-х, 70-х, 80-х гг., а также "Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х гг.)". М., 1995.

толковый словарь" объединил старую и новую активную лексику [Лопатин, Лопатина 1998], а "Толковый словарь иноязычных слов" дал толкование многих заимствованных слов, в том числе и новых [Крысин 1998], то рецензируемый словарь – первое системное описание языковых изменений в их соотносительности, которое действительно является новой "моделью лексикографического описания языковой динамики", как и заявлено Словарем XX в. на с. 6.

Значение этого словаря гораздо шире той роли, в которой видят основную цель своего труда его составители, – "служить справочным пособием по употреблению русской лексики новейшего периода", "дополнением к существующим толковым словарям русского языка" (с. 6). И сам отбор лексического материала, и истолкование динамических процессов русской лексики развертывают перед читателем выразительную картину тех глубоких социальных, нравственных перемен, которые произошли в русском языковом сознании, и тем самым способствуют распространению, утверждению новых подходов к осмыслению прошедших семи десятилетий и новейшего этапа русской истории, во всей сложности и противоречиях его протекания, в своеобразии современной русской ментальности.

Богатый по материалу, целенаправленно и творчески отобранному, новаторский по принципам лексикографического описания, привлекающий своей позицией объективного, непредвзятого отражения языка эпохи, Словарь XX в. будет еще не раз предметом анализа и заинтересованного обсуждения. Рамки же рецензии позволяют выделить лишь некоторые аспекты, представляющиеся наиболее важными.

Эпиграфом к Словарю XX в. могло бы послужить его определение, данное одному из самых значимых в идеологическом лексиконе эпохи понятию – *деидеологизация*: "Устранение из различных сфер общественной жизни влияния идеологии (обычно коммунистической)" (с. 193).

Отход от мифологизированных и политизированных формулировок предшествующей эпохи – один из определяющих принципов новых толковых словарей. Авторы отражают современную языковую практику на основании широкого круга источников художественной, публицистической, научно-популярной литературы, прессы разной политической ориентации, разговорной речи разной социокультурной природы. Но в рецензируемом словаре глобальные и

напряженные процессы ломки старого, языковых новаций, взаимодействия нормы и антинормы, русского и иноязычного, разговорно-бытового, жаргонного и книжного, разностилевого и нейтрального, сложные семантические преобразования, эмотивные и экспрессивные переоценки – все активные процессы современной речи получают наиболее выразительное и динамичное отражение. Так, например, Словарь XX в. в слове *радикализм*, в отличие от толкования МАС-2, приведенного в справочной части ("Буржуазное или мелкобуржуазное политическое течение, выступающее за проведение демократических реформ при сохранении буржуазного строя"), фиксирует новое значение, близкое к определению последнего издания словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова 1997] и характерное именно для нашего времени: "Политическое течение, ориентирующееся на проведение демократических реформ в рамках существующего строя" (с. 525) (со знаком "возрожденное"), тогда как в "Русском толковом словаре" дается только общее, не связанное ни с какой эпохой значение: "Образ мыслей и действий, свойственный радикалу, радикалам", а *радикал* толкуется как "сторонник крайних решительных действий, взглядов" (с. 558).

Другой пример – слово *консервативный*, толкование которого в академических словарях советского времени отражало типичную для эпохи политическую непримиримость ко всем течениям, отличающимся от господствующей коммунистической идеологии и соответствующей системы терминов. Так, в определении МАС-2, также приводимом в справочной части статьи, дефиниция содержит резко отрицательную оценочность: "Враждебный прогрессу, отстаивающий старое, отжившее". В Словаре XX в. со знаком "актуализация" приводится новое деполитизированное толкование, отразившее изменившийся взгляд на признак "постоянство, традиционность", формирующий основную сему значения; при этом пейоративная коннотация преобразуется в положительную, поощрительную: "Традиционный, опирающийся на традиции; сохраняющий старое, надежно зарекомендовавшее себя" (с. 323). Ср. более идеологизированное толкование в "Русском толковом словаре": "Противящийся нововведениям, отстаивающий старое; в политике: приверженный стабильности, традиционным ценностям" (с. 241).

Проявление нового подхода к семантике слова в Словаре XX в. – определение значений слов религиозного словаря (*Бог*,

крещение, православие, отсутствующих в "Русском толковом словаре" [Лопатин, Лопатина 1998] *праведник, таинство* и др.), которые, по сравнению с толкованием словарей советской поры, освобождены от ограничительных дефиниций, оценочно представляющих подобное слово с отстранением от точки зрения христианской религии и тем самым с коннотацией нереальности, неистинности.

Принципиальное новаторство рецензируемого словаря составляет последовательное использование системы впервые введенных в лексикографическую практику знаков для отражения динамики в лексике и семантике. Эта система знаков определяет динамическое передвижение слов и значений не просто по оси актив – пассив. Находкой составителей представляются условные графические знаки в виде стрелок, маркирующих три основных направления динамики и их результат – положение слова в языковом сознании современников и в лексической системе языка: это возвращение слова из пассивного запаса в актив, уход слова в пассивный запас, актуализация слова или значения. Особым неоглифическим знаком передается степень новизны слова на основе его лексикографической фиксации (первой или в пределах описываемого периода). Применение системы визуальных помет активизирует внимание читателя к динамическим процессам и облегчает восприятие изменений лексической системы.

Сложной для лексикографического описания является группа слов, помечаемая как "уходящая в пассив". Привлекателен сам замысел знака, маркирующего не выход из употребления, а уход слова в пассив. Этот лексикографический знак имеет значение не только как показатель происходящего процесса, но и как способ прогнозирования, что особенно ценно в целомом лексикографическом описании языка.

Однако при этом одна и та же помета и для уходящего слова, и для уходящего значения иногда мешает правильному восприятию. Так, слова *идея, идеология* имеют знак "уходящее" только по отношению к приведенным характерным для советского периода значениям, в то время как сами слова сохраняются. (Ср. деидеологизированные значения в "Русском толковом словаре".) В других же случаях этот знак использован для фиксации ухода целого слова: *диамант, РСФСР, невозраженец* и т.д.

Аналогично обстоит дело с применением знака "актуализация". Знак этот ставится, с одной стороны, при словах, активизи-

рующих свою роль в современном речевом процессе в связи с новой ролью в жизни общества понятия или реалии, обозначаемых словом [например, *инг, йога, зеленые* (экологи), *криминальный* (знач. 1)]; в этих словах семантика на протяжении фиксируемого Словарем XX в. периода, в сущности, не изменялась. С другой стороны, этим же знаком отмечается многообразие трансформации значений: например, новое значение слова *партия*, лаконично и выразительно прокомментированное в справочной части статьи, или движение семантики слова *прибыль*, которое передается сопоставлением с дефиницией БАС, приведенной в конце статьи. Думается, что пометы "уход" и "актуализация" хорошо было бы сопроводить какими-то значками, дифференцирующими их разное применение. Особенно в этом нуждаются, например, слова *диктатура, дипломатия, догма, догматы* и т.д. Вряд ли правомерен знак актуализации при слове *долгострой*.

Словарь имеет детально разработанную систему помет, которые в сочетании дают многоплановую характеристику современной стилистической природы, социальной и эмоциональной окраски слова. Авторы словаря чутко реагируют на изменения коннотаций слова (ср. слова *милосердие, милостыня, капиталист, партаппаратчик* и мн. др.), создающих экспрессивно-стилистический облик слов. Оправдан и отказ от пометы «просторечное», что получило убедительное обоснование в теоретических работах Г.Н. Складневской и апробацию в БАС-2. Комбинация помет (например: *БАРДАК... перен., разг., неодобрит.*) убедительно характеризует современное восприятие и употребление слова.

Содержательна справочная часть словарной статьи, демонстрирующая системные связи слова и приводящая энциклопедические, этимологические, исторические, фактические, лексикографические сведения. Умело отобраны и очень информативны. Рационально построены отсылки к синонимам, антонимам, словам одного смыслового поля, гипо- и гиперсинонимическим параллелям. Справочная часть обогащает представление не только об употреблении слова, но и о современной системе связанных со словом понятий (см., например, сеть слов в справочной части статьи *Парапсихология*).

Словарь с небывалой для лексикографических трудов быстротой прореагировал на языковые изменения, и это тоже большое достижение его составителей.

Естественно, что ни один словарь не в состоянии успеть за всеми лексическими изменениями. Не удивительно, что в словаре нет слова *дефолт* (в МК – одном из источников словаря – за 6 января 1999 г. встречающегося более 10 раз), поскольку оно вошло в употребление лишь в конце 1998 г. Но в словаре нет и слова *абсентеизм*, использующегося в газете "Известия" и др. на протяжении всех 90-х гг. и включенного Л.П. Крысиным [Крысин 1998]. Вместе с тем, в словаре помещены слова если не "однодневки", то "одногодки": *белодомовцы*, *белодомовский* (с. 82) как новые и относительно новые. Стоило ли давать как относительно новое слово *ахимса* (да еще в двух вариантах: *ахимса* – *ахинса*), явно не являющееся узуальным? Думается, что не было смысла включать в словарь и текстовое сокращение *АЯ*. Оба слова даны со знаком "относительно новое".

Трудно согласиться с равноправным представлением разных написаний слова: *андеграунд* – *андерграунд*, *тинейджер* – *тинэйджер* и т.д., во-первых, потому, что нет равноправного их употребления (господствует *андеграунд* и *тинейджер*), во-вторых, потому, что толковые словари воспринимаются и действительно являются нормативными (исключение – Словарь В.И. Даля), поэтому на них ориентируются в употреблении и написании слова. Этому принципу соответствует и постановка ударения в словаре, иногда противоречащего привычным словарным нормам (например, *коллэдж*), но отражающего новую кодификацию (*колледж* [Крысин 1998; Каленчук, Касаткина 1997] и др.).

Не всегда очевидна целесообразность квалификации одним знаком Δ устойчивых сочетаний, заметно различающихся по своей семантической природе, степени слитности компонентов: с одной стороны, это *горячие*

деньги, *белое братство*, значение которых требует фоновых знаний и невыводимо из суммы значений составляющих их слов; с другой – сочетания *законодательная власть*, *государственный банк*, *государственный бюджет*, мало чем отличающиеся от речений, представленных за знаком \leq : *экологическое сознание*, *общественный консенсус* и т.д.

Приведенные соображения касаются отдельных дефиниций, а не принципов словаря. Наша лексикография обогатилась ценным научным экспериментом, выполненным творчески и высокопрофессионально. Новый словарь является стимулом дальнейшего развития лексикографической теории, дает в руки лингвистов богатый материал для исторических обобщений. Он вызовет большой интерес у всех, кому дорого русское слово.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. 1997 – Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
 Крысин Л.П. 1998 – Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. 1998 – Русский толковый словарь. М., 1998.
 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. 1998 – Толковый словарь языка сошедши. СПб., 1998.
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1997 – Толковый словарь русского языка. М., 1997.
 МАС-2 – Словарь русского языка: В 4-х томах. Изд. 2-е. М., 1981–1984.
 БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти томах. М., 1948–1965.
 БАС-2 – Словарь современного русского литературного языка: В 20-ти томах. Изд. 2-е. Т. 1–6. 1991–.

М.Б. Борисова, О.Б. Сиротичина

Целью рецензируемой монографии является изучение межъязыковой эквивалентности в рамках контрастивной лингвистики. Автор исследует степени эквивалентности как отдельных сопоставляемых единиц, так и различных подсистем. Это способствует выявлению типологических свойств изучаемых языков. В рецензируемой книге межъязыковая эквивалентность изучена на материале русского и немецкого языков весьма детально, с различных точек зрения, на уровне современных достижений лексической семантики.

Значение результатов данного исследования состоит, на наш взгляд, прежде всего в том, что в монографии впервые проводится системный сопоставительный анализ лексико-семантических сфер русского и немецкого языков, а также впервые систематизируются и описываются сходства и различия между лексическими единицами и лексико-семантическими группами русского и немецкого языков.

Книга отличается четкостью композиции, ясной логикой построения, четкостью изложения материала, постановки задач и их решения. Вслед за двумя главами теоретического характера (в первой в изучаемом аспекте рассматриваются современные семантические теории, во второй — проблема эквивалентности) следуют три главы, в которых описывается материал сопоставляемых языков. Исследование построено по принципу от частного к общему: третья глава посвящена степеням эквивалентности слов, четвертая — эквивалентным отношениям в составе лексико-семантических групп, пятая — сходствам и различиям в лексико-семантических системах. Таким образом, проблема эквивалентности поставлена очень широко. Каждое изучаемое явление получило весьма интересную и глубокую интерпретацию; при этом выявлены и описаны многочисленные факторы, влияющие на установление всех этих разнообразных видов эквивалентности в русском и немецком языках.

Отметим наиболее важные и интересные наблюдения и выводы, сделанные в монографии (не претендуя, конечно, на полное перечисление всех заслуживающих внимания положений монографии). В первой главе дан анализ генеративной теории, теории семантических признаков, теории семантического поля и теории прототипов и выявлены общие черты данных теорий,

относящиеся к межъязыковой эквивалентности. Во второй главе сопоставляются лексемы исходного языка с лексическим полем сопоставляемого языка, а также выделяются типы структур этих полей. Здесь же анализируются факторы, релевантные для установления межъязыковой эквивалентности в словаре и в тексте. И в дальнейших главах различие эквивалентности в словаре (или в системе) и в тексте (речи) проводится при рассмотрении всех видов эквивалентности. В третьей главе эквивалентность слов рассматривается с точки зрения теории семиотического (или семантического) треугольника, то есть с точки зрения внешней формы знаков, а также с точки зрения сигнификатов и денотатов сопоставляемых слов. Подробно описаны различные виды отношений между этими словами применительно к каждой из названных "сторон" этого треугольника. В четвертой главе изучаются факторы, создающие сходства и различия в составе синонимов и антонимов сопоставляемых языков. Наконец, в пятой главе в результате применения статистических методов выявлены сходства и различия в лексико-семантических системах. Выявлено, в частности, что в немецком языке по сравнению с русским однозначные слова встречаются чаще.

Сравнение лексических единиц разных уровней абстракции сочетается в монографии с описанием многообразных языковых и экстралингвистических факторов, создающих сходства/различия на разных уровнях лексической системы, и с описанием различных параметров, характеризующих эти сходства/различия. Так, в монографии проанализированы денотативные, сигнификативные, коннотативные, грамматические и частотные характеристики сопоставляемых слов; их лексическая, синтаксическая и ситуативная сочетаемость, внешняя форма, внутренняя форма и словообразовательные свойства, нормативно-стилистические, системно-понятийные и ситуативно-комбинаторные особенности. Изучены национально-культурные и социальные факторы, обусловившие сходства и чаще — различия или лакуны в соответствующих лексических подсистемах обоих языков. Анализ всех этих явлений проведен весьма тщательно и квалифицированно.

Работа, оцениваемая мною весьма

высоко, содержит и дискуссионные или недостаточно (на мой взгляд) аргументированные положения; имеются и отдельные неточности (их немного) в интерпретации материала.

1. Несмотря на то, что понятию эквивалентности единиц двух языков в работе уделяется очень большое внимание, остается все-таки впечатление некоторой недосказанности в разработке этого важного понятия (хотя практическое установление отношений эквивалентности интуитивно в большинстве случаев возражений не вызывает). Излагая общие черты, присущие каждой из рассмотренных в первой главе теорий, автор в качестве одной из таких черт приводит такое понимание эквивалентности: "эквивалентными считаются конструкции, базовые структуры которых в разных языках совпадают, при этом допустимы различия в способах их выражения" (с. 59). В "Заключении" (с. 192) это же определение повторяется уже как собственный вывод автора. Кажется, эта достаточно общая формулировка не дает надежной базы для эксплицитной интерпретации материала. Может быть, поэтому автор опирается на такой прагматический критерий: «под "корреспондирующими лексемами" автор понимает исходную лексему и то соответствие, которое дается в переводных двуязычных словарях в качестве первого варианта» (с. 97). Это определение дано в середине монографии, хотя до этого прилагательное "корреспондирующий" неоднократно употреблялось для обозначения соотношения лексем двух языков. Наряду с этим термином в том же, по-видимому, значении в монографии употреблялись термины "соотнесится", "соответствует". В связи со сказанным отметим и тот факт, что в заключительной главе монографии автор пользуется лишь понятием "рабочий эквивалент", подбирая соответствия девятистам русским словам, отобраным с целью выявления степени многозначности лексик каждого из языков. Показательно, что при этом, по словам автора, "основным принципом при подборе эквивалентов был тот же, что и при определении корреспондирующей лексемы — бралась первая лексема из списка, приведенного в словарной статье русско-немецкого словаря" (с. 177). Итак, необходимость в уточнении понятия эквивалентности диктуется тем, что приведено достаточно общее и малоинформативное определение, а в интерпретации материала теоретическое определение не используется, вместо него используются лексикографические "рабочие" приемы.

2. На с. 69, 70 Е.Г. Которова пишет: "Лексическая единица исходного языка соотносится, как правило, в зависимости от различных контекстных и ситуативных условий, с целым рядом лексических единиц сопоставляемого языка". В основном с этим утверждением следует согласиться, как и с описанием типов "корреспондирующих" полей, включающих эти лексические единицы сопоставляемого языка (с. 70 и далее). Однако, в связи с приведенным утверждением и следующим за ним описанием типов полей, хотелось бы обратить внимание на два вопроса — один частного, другой более общего характера.

Частный вопрос относится к сочетанию "как правило" в приведенной цитате из монографии. Его употребление означает, что автор сводит к минимуму существование полных эквивалентов, переводимых одним словом. Между тем о полных эквивалентах говорится с разных точек зрения в разных местах монографии: *хирург* — *Chirurg* (с. 92); *водопад* — *Wasserfall* (с. 97) и др.; *Grippe* — *gripp* (с. 113), ср. также с. 101, где полная эквивалентность названа в числе основных типов межсловных эквивалентов. В публикациях и докторской диссертации В.В. Дубинского [Дубинский 1995], весьма близких по теме к рецензируемой монографии, но отсутствующих в списке литературы, такого рода одно-однословные соответствия названы полными лексическими параллелями и составляют одну из основных групп того, что автор называет лексическими параллелями (правда, в работах В.В. Дубинского описываются внешне сходные единицы русского, английского, французского и испанского языков, но нет, по-видимому, оснований полагать, что русско-немецкие отношения в указанном смысле отличаются от отношений русского языка с перечисленными языками).

Второй вопрос, относящийся к соотношению "лексема одного языка — поле другого языка", состоит в следующем: как связана эта проблема с проблемой моносемии — полисемии; иначе говоря, в каком случае наличие поля (т.е. ряда соотносительных слов) означает многозначность лексемы исходного языка? Проблема полисемии эквивалентов рассматривается автором в другом месте (ниже, с. 105 и след.) и никак не связана с описанием соотношений "лексема — поле" и видов корреспондирующих полей; при описании полисемии используется другой материал (например, у нем. *Fuchs* больше значений, чем у русского *лиса*). Между тем вопрос о полисемии — моносемии исходных слов,

сопоставимых с несколькими иноязычными словами, естественно возникает уже при знакомстве с описанием отношений "лексема — поле". Остается неясным, создают ли "различные контекстные и ситуативные условия" (о которых говорит автор на с. 69, 70), влияющие на соотношенность с тем или иным словом корреспондирующего поля, полисемантичность исходного слова или их следует рассматривать как контекстные разновидности одного значения. Если это полисемия, то, может быть, соотношенность следует устанавливать на уровне каждого из значений, и тогда во многих случаях без оснований говорить о наличии ряда эквивалентов, то есть о наличии поля? Во всяком случае кажется несомненным, что уже при описании видов корреспондирующих полей (то есть при первом обращении автора к конкретным примерам эквивалентности) следует различать соотношенность моносемантического и полисемантического слова с их эквивалентами в другом языке.

Рассмотрим сказанное на некоторых примерах. Соотношение *Hals* — шея, горло приведено (с. 71) в качестве примера соотношенности лексемы (*Hals*) с корреспондирующим полем, имеющим "расщепленное ядро" (шея, горло). О том, является ли для автора нем. *Hals* полисемантическим или моносемантическим, ничего не говорится. В двуязычных словарях у нем. *Hals* обычно выделяется два значения: 1. 'горло', 2. 'шея'.

Другие приведенные соотношения сложнее и тесно связаны с еще одной проблемой — проблемой эквивалентности слова в словаре и тексте. Неясным остается такой, например, вопрос: означает ли эквивалентность слов *fliegen* и *скользнуть* в некоторых контекстах их эквивалентность в системе языка и наличие у нем. *fliegen* языкового значения 'скользнуть' (Ср.: *Ein Lächeln flog über sein Gesicht* и *Улыбка скользнула по его лицу* — с. 70). Автор не ставит этого вопроса, но, по-видимому, ответ был бы отрицательным. Очевидно, в предложении *Ein Lächeln flog über sein Gesicht* сохраняется сема "полета", которая объединяет основные употребления этого глагола. Эта сема неизбежно терется при переводе на русский язык, поскольку узус, по-видимому, не допускает русского **Улыбка пролетела по его лицу* и глагол *скользнуть* не может рассматриваться в качестве полного эквивалента *fliegen* (русско-немецкие словари в качестве такого эквивалента дают не этот глагол, а *gleiten*, *glischen* и др.). Входит ли в таком случае

глагол *скользнуть* в одно поле с глаголом *лететь* или это не "одного поля ягоды"? С еще большим основанием подобный вопрос может быть поставлен по отношению к таким русским глаголам, приведенным в качестве эквивалентов к глаголу *fliegen*, как *вести*, *окинуть* и др. Ср. эквивалентные контексты, приведенные в монографии (с. 70): *der Pilot fliegt diese Maschine zum ersten Mal* — *летчик ведет этот самолет в первый раз*; *seine Augen flogen über die Versammlung* — *он окинул взглядом собрание* (в последнем случае не эквиваленты и другие слова).

Во многих других местах автор специально рассматривает и решает вопрос о наличии системных или контекстных значений у эквивалентов, и с интерпретацией некоторых соотношений трудно полностью согласиться. В разделе "Эквивалентность в тексте" (с. 79 и след.) в качестве таких эквивалентов рассматриваются слова *Kopf* и *шапка*, эквивалентные в предложениях типа *Im Kopf der Zeitung kann man gewöhnlich auch ihren Preis finden* — *В шапке газеты обычно можно найти ее цену*. Такие употребления автор рассматривает как актуализацию "номинационных потенций обоих слов" (с. 80). С нашей точки зрения, речь идет не об актуализации потенций текста, а об обычном соотношении языковых эквивалентов (*Kopf* — *шапка* применительно к газете). Эти узуальные (языковые), хотя, конечно, и не прямые значения даются во всех толковых и двуязычных словарях. Если рассмотреть данный пример с точки зрения корреспондирующих полей (автор этого не делает), то получится, что *Kopf* корреспондирует по крайней мере с *голова* и *шапка*, а, судя по словарям, еще и с *шляпка* (гвоздя), *крючок* (клюшки), *головка* (булавки) и мн. др. Входят ли все эти слова в одно поле? Скорее всего нет, но тогда вопрос о полевой соотносительности слова *Kopf* и многих подобных многозначных слов остается неясным. Может быть, следовало бы говорить об их соотносительности с несколькими полями?

3. Некоторые возражения и уточнения хотелось бы сделать по поводу словообразовательной и грамматической интерпретации ряда явлений, рассматриваемых в работе. Почти все эти возражения и уточнения касаются отдельных конкретных фактов. Видимо, автору следовало бы предупредить читателя о том, что все заключения и выводы опираются на узуальный словарный состав и не касаются возможностей заполнения лексических

лакум потенциальной лексикой. Нежелательные отклонения от этого принципа в монографии единичны, ср. такое утверждение: "В русском языке слово *подруга* не имеет антонимов, поскольку в русском языке не может быть образовано существительное, обозначающее особу женского рода от слова *враг*" (с. 153). Точнее было бы говорить об отсутствии в литературном языке такого слова, поскольку возможность образования его присутствует – и это было бы воспроизведением устаревшего и областного *врагиня*, отмеченного только в словаре под ред. Д.Н. Ушакова.

Существительные *огнетушитель*, *водопад*, *землемер* относятся не к словосложению (с. 97), а к словосложению в сочетании с суффиксацией (суф. *-тель* для *огнетушитель* – при отсутствии узуального **тушитель*; и нулевой для *водопад* и *землемер* – при отсутствии узуальных **пад* и **мер*). То же относится и к немецкому *Feuerlöscher*.

Вряд ли следует говорить о "совпадении словообразовательных моделей" в случаях *паровоз* – *Dampflokomotive*, *мусоропровод* – *Müllschlucker*, *небоскреб* – *Wolkenkratzer* (с. 98). В первом случае различаются способы словообразования (словосложение + нулевая аффиксация в случае *паровоз* и чистое сложение в случае *Dampflokomotive*; ср. отсутствие слова **воз* в значении, соотносительном с *паровоз*, и наличие слова *Lokomotive*), в остальных случаях различаются форманты: в *мусоропровод* и *небоскреб* суффиксы отсутствуют (нулевая суффиксация), а в *Müllschlucker* и *Wolkenkratzer* имеется суффикс *-er*.

Вряд ли стоило безоговорочно приводить в качестве мотивированных слов существительные типа *столяр*, *очки*, *заяблик*. Скорее прав А.Н. Тихонов, рассматривающий их в своем "Словообразовательном словаре русского языка" в качестве исходных слов словообразовательных гнезд [Тихонов 1985]. В рамках теории степеней мотивации – это

слова далеко не первой степени мотивированности; для иллюстрации лучше было бы воспользоваться в монографии полнотью мотивированными словами.

Глаголы *лететь/летать* и т.п. рассматриваются обычно не как одно слово (так в монографии на с. 70), а как два разных слова.

4. Как уже говорилось, монография Е.Г. Которовой опирается на серьезную базу многочисленных работ по современной семантике, лексикологии, типологии и т.д. Можно пожалеть, правда, о том, что, как уже говорилось, не использованы работы В.В. Дубичинского, а также о том, что в многочисленных теоретических экскурсах по лексикологии и семантике не использованы широко известные исследования Д.Н. Шмелева, отсутствующие в библиографии. Между тем, например, обсуждение проблемы синонимии не может быть полным без учета известного определения Д.Н. Шмелева: "Синонимы можно определить как слова, относящиеся к той же части речи, значения которых содержат тождественные элементы, различающиеся же элементы устойчиво нейтрализуются в определенных позициях" [Шмелев 1977: 196]. Эта проблема заслуживала бы специального рассмотрения – как и многие другие проблемы, интересно поставленные в монографии Е.Г. Которовой. Такое стимулирующее воздействие оказывают, как известно, все актуальные работы высокого уровня, к которым, безусловно, относится рецензируемая монография

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дубичинский В.В. 1995 – Теоретическое и лексикографическое описание лексических параллелей: Автореф. дис. ... док. филол. наук. Краснодар, 1995.
- Тихонов А.Н. 1985 – Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1, 2. М., 1985.
- Шмелев Д.Н. 1977 – Современный русский язык. Лексика. М., 1977.

И.С. Улуханов

Сочинение Козьмы Индикоплова (Cosmas Indicopleustes), александрийского купца, совершившего в VI веке несколько путешествий на Восток (дошел до Цейлона), а впоследствии принявшего монашество, сохранилось всего в трех греческих списках IX–XI вв., но оно имело как бы "вторую" жизнь – на Руси: будучи переведенным, как полагают исследователи, в конце XII – начале XIII вв., оно многократно переписывалось в более поздний период, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней списки, в основном XVI–XVII вв. (известно свыше 50). Такая популярность его объясняется, очевидно, как содержанием (наряду с полемикой с учением Птолемея о шаровидности Земли и отстаиванием истинности Священного писания, имеются некоторые естественно-научные сведения, в частности описание растений и животных Цейлона и Индии), так и "художественным оформлением" – греческие миниатюры воспроизведены во многих русских списках. В XVI в. текст этого сочинения был включен в Великие Четьи Минеи митрополита Макария, а в 1886 г. был издан фототипическим способом ОЛДП под названием "Книга глаголемая Козьмы Индикоплова".

И вот сейчас произведение этого автора получает путевку в следующее тысячелетие: можно сказать, используя слова С. Есенина: "Новый пришел Индикоплов" ("Июния"). Сотрудниками Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН В.С. Голышенко и В.Ф. Дубровиной подготовлено и осуществлено издание одного из его списков. Теперь оно становится доступным специалистам-исследователям: литературоведам, искусствоведам, философам, теологам. Самое же главное: это издание представляет исключительно большую ценность для лингвистов, историков языка, испытывающих острый дефицит доступных для исследования материалов, в том числе и на русском книжном (церковнославянском) языке, который на Руси имел самостоятельное развитие, хорошо прослеживаемое по соответствующим текстам XI–XVII вв. Издание задумывалось и исполнено как лингвистическое, в соответствии с теми принципами, которые выработаны для изданий такого типа: максимально полное и точное воспроизведение не только текста рукописи, но и всех ее особенностей – графико-орфографических, палеографических и других параметров.

В.С. Голышенко и В.Ф. Дубровина остановили свой выбор на самом раннем списке, имеющем собственноручную запись дьяка Лариона о месте и времени создания рукописи – Ярославль, 1495 г. Так как все сохранившиеся списки восходят к одному переводу (существенных текстологических различий исследователями не отмечено), то выбор для издания именно этого списка вполне закономерен.

Такого типа издание предполагает как можно более точное и полное воспроизведение рукописного материала, но в издании, выполненном печатным набором, невозможно передать все особенности текста (например, рисунок и размер букв, межстрочные знаки, их графические варианты и др.). Понятно, что составителям пришлось проделать большую предварительную работу по выработке принципов передачи особенностей именно данной рукописи.

Об этих и многих других вопросах речь идет во Введении, где кратко изложена история текста произведения Козьмы Индикоплова, история издаваемой рукописи, а также представлено ее палеографическое описание, информирующее о внешнем виде рукописи, о переплете, об особенностях графики и орфографии списка.

Анализ буквенного состава рукописи, начертания букв, соотнесение их с характерными чертами полуустава XV в., выявление графических вариантов букв и их употребления, указание на индивидуальные особенности почерка писца, которые могут затруднить правильное понимание текста (например, особенности начертания буквы *o* в два приема делают ее похожей на *a*, *a* ю на *ca* и др.), подробное описание употребления небуквенных знаков, воспроизведенных при издании (твло, покрытие, паерок), и тех, которые опущены (но точное их изображение дано в тексте Введения путем сканирования), – все это свидетельствует о высоком научном уровне издания, с одной стороны, а с другой – адекватно ориентирует читателя в том, что воспроизведено и что не воспроизведено в книге и что именно он может обнаружить в самой рукописи, если его интересуют те черты, которые не переданы при ее публикации.

Меньше, чем хотелось бы, внимание уделено орфографическим особенностям рукописи. Составители ограничились весьма кратким перечислением восточнославя-

нских и южнославянских языковых и орфографических признаков, причем в одном ряду среди последних названы как написания, отмечаемые уже в древнерусских памятниках письменности с XI в. (юга, злато и др.), так и приметы второго южнославянского влияния (замена ъ на конце слова буквой њ, возврат к написаниям типа дрѣжнѣтъ).

Текст "Христианской топографии", воспроизведенный с разбивкой на слова, буква в букву, строка в строку, занимает центральное место в рецензируемой книге (с. 49–302). К нему даны постраничные Комментарии (с. 303–369), содержащие важные и полезные сведения, касающиеся особенностей внешнего вида листа, исправлений текста или отдельных букв в слове, отмечаются все случаи затрудненного прочтения текста, воспроизводятся надписи, имеющиеся на полях рукописи и т.д. В случае необходимости дается текстологический комментарий, помогающий понять и восстановить смысловую структуру древнерусского текста, для чего привлекается греческий текст, а также соответствующие места из других русских списков этого произведения.

Особое значение имеет Указатель слов и форм (с. 369–774). В него включены все словоупотребления с сохранением графико-орфографического облика, даются грамматические пометы к каждой форме и указание ее места в тексте, особыми знаками выделены реконструкции, описки и дефектные написания. Все это повышает научную ценность данного издания, так как значительно облегчается дальнейшее использование текста "Христианской топографии" исследователями, занимающимися самым широким кругом проблем истории русского языка.

В таком сложном тексте, каким является "Христианская топография", естественно, имеется определенное количество форм, которые не поддаются однозначно толкованию. Это обусловлено разными причинами: особенностями перевода, изменениями, возникшими в результате многократного переписывания текста, описками писцов и др. Среди них отметим такие, у которых морфологическая (формальная) характеристика не совпадает с синтаксической. К ним составители привлекают внимание читателя дважды: в Указателе восклицательным знаком и в самом тексте цифрой, отсылающей к комментариям. Например, в Указателе форма *прѣвѣзраити!*

(107. 8)¹ дана с восклицательным знаком и с пометами "наст. ед. 3 л." (с. 638), а в Комментариях отмечено, что в греческом тексте здесь употреблена форма будущего времени, в русском же списке из собр. Оболенского – форма 3 л. ед. ч. наст. вр. (с. 355). Таким образом становится ясным, почему форма инфинитива составителями дана с пометой "наст.": в данном месте не должно быть формы инфинитива, она употреблена писцом ошибочно. Аналогично, вопреки формальным показателям, трактуются и другие формы: форма 2 л. мн. ч. наст. вр. или пов. накл. *дивитеса!* (67. 27) дана с восклицательным знаком и пометой "инф." (с. 457); форма 3 л. мн. ч. аориста *постѣпаша!* (102. 6) трактуется как "имп. ед. 3 л." (с. 608). То есть приоритет при толковании формы отдается смыслу: называется форма, которая должна была бы быть в данном месте и которая восстанавливается составителями по другим спискам. Но этот принцип не всегда соблюден: так, например, форма *брата* (34 об. 12) дана с пометой "род.!" (с. 398), т.е. форма охарактеризована по формальному признаку, хотя контекст и приведенный в Комментариях греческий текст свидетельствуют о том, что здесь должна была бы быть форма мест. п. (с. 319). Также не всегда выдержан общий принцип при характеристике согласуемых с существительным слов. Например, форма *затвореномъ* (76. 25) в соответствии с окончанием в Указателе определяется как причастие мужского рода (с. 484), хотя она употреблена в словосочетании с существительным женского рода (*дверемъ затвореномъ*), а форма *весели* (60 об. 35), определяющая сущ. очн, характеризуется как "прил. ср. дв. им." (с. 410), вопреки формальному признаку: *весели* – это им. п. мн. ч. муж. р. Последний случай в Указателе не отмечен специальным знаком. Такие примеры единичны. Остается необъяснимым, почему форма *испирраа* (60 об. 34) характеризуется как "наст. ед. 3 л." (с. 517), а не как причастие действительного залога. В данном случае и контекст, и форма предполагает именно последнее толкование.

Вызывает сомнение правомерность включения в одну словарную статью форм относительного местоимения *иже*, *еже*, *ѡже* и указательно-личного *и*, *е*, *ѡ*, как это сделано составителями.

¹ Здесь и далее в скобках после воспроизведенной формы указывается ее место в рукописи – номер листа и после точки номер строки.

Орфографические варианты слова, как правило, даются в разных словарных статьях (это специально оговорено для древнерусских и старославянских вариантов типа *ѣтъ—югъ* и др.). Что же касается подачи вариантов неславянских слов, то здесь единообразия в подаче матернала нет. Например, формы *асма, аса асио, асио* и др. даны в одной словарной статье (с. 383), а форма *асноу* (8 об. 12) выделена в отдельную (с. 384) без отсылки к названной выше (впрочем, в Комментариях (с. 308) они соотносены друг с другом); форма *кѣвоу* (с. 535) выделена в отдельную статью, но уже с отсылкой к статье *кѣвотъ* (с. 535); а формы *кѣвосъ* и *кѣвонъ* даны в одной статье (с. 535).

К этим весьма немногочисленным замечаниям следует добавить, что, к сожалению, издание не лишено "технических" накладок. Вот некоторые из них. В Указателе форма *дверемъ* (76. 25) почему-то не включена в статью *дверь*, а выделена в отдельную (с. 455); формы слова *локоть* оказались в двух разных статьях (с. 539); в тексте напечатана

форма *въинкаемо* (95 об. 13) — в Указателе *възникнаемо* (с. 428); в тексте в *начатцѣ* (13.16) напечатано без паерка, во Введении (с. 28) та же форма — с ним.

Итак, перед нами "Книга нарицаема Козьма Индикоплов" — великолепный древнерусский текст, щедро оснащенный замечательными (увы, не красочными, кроме одной, а в черно-белом воспроизведении) древнерусскими рисунками-миниатюрами. Это произведение в научных исследованиях обычно называют "Христианская топография" Козьмы Индикоплова, иногда просто "Топография" Козьмы Индикоплова, реже "Космография" Козьмы Индикоплова, фототипическое издание 1886 г. носит название "Книга глаголемая Козьмы Индикоплова". Наверное, все эти варианты следовало бы указать в прилагавшем к тексту исследовании. Но, как бы то ни было, кажется, что то название, которое отгиснуто на переплете рецензируемой книги, может стать основным, тем более что оно восходит к самому древнему ее русскому списку.

Л.А. Илюшина

F.R. Adrados, A. Bernabé, J. Mendoza. Manual de la lingüística indoeuropea. Madrid: Ediciones clásicas. 1995. I — 448 p.; II — 403 p.

Рецензируемая монография испанских индоевропеистов является прежде всего итогом работы одного из крупнейших лингвистов нашего времени — Ф. Родригеса Адрадоса. В его многочисленных трудах были рассмотрены вопросы как фонетики (например [Adrados 1961]), так и морфологии, глагольной и именной [Adrados 1963; 1988], предложена концепция трех периодов праиндоевропейского языка. Весь этот понятийный аппарат использован как самим Адрадосом (во втором томе), так и его учеником А. Бернабе (автором первого тома, содержащего "Введение" и "Фонетику")¹.

Раздел "Введение" содержит определение понятия "индоевропейские языки" и "индоевропейский", краткую историю индоевропейского языкознания, сведения об основных методах реконструкции, обзор языков и групп, входящих в индоевропейскую семью языков. А. Бернабе с полным основанием отмечает условность термина "индоевропейский" и синонимичного ему принятого в

немецкой литературе "индогерманский". Ученые XIX в. попытались вместить в эти термины все пространство, занимаемое данной языковой семьей, в том числе и пространство открытых в начале XX в. в китайском Туркестане индоевропейских тохарских языков, географически располагавшихся гораздо восточнее, чем индийские (поэтому второй термин менее удачен). На наш взгляд, в обобщающей монографии такого объема целесообразно было бы кратко изложить историю этих терминов. В русском переводе книги Б. Дельбрюка упоминается Ф. Шмитхеннер как создатель термина "indo-deutsch" (в 1831 г.), но редактор перевода С.К. Булич указывает на то, что композит "indogermanisch" был использован уже Ю. Клапротом в 1823 г. в трактате "Asia Poliglotta": "Впрочем, ни откуда не видно, что Клапрот был и изобретателем данного термина" [Булич 1904: 2]. Таким образом, история термина "индоевропейский" требует дальнейших разысканий.

Установление же родства столь значительного количества языков потребовало создания точных методов обнаружения

¹ Третий том "Синтаксис", написанный Х. Мендосой, пока не вышел из печати.

родственных черт. Главное место здесь занимает нахождение закономерных фонетических соответствий, прежде всего в словоизменительных аффиксах: для самой же реконструкции праязыка как реального идиома большое значение имеет реконструкция цельных лексем и синтаксических оборотов. В этой связи А. Бернабе кратко оценивает результаты, полученные компаративистами прошлого. Заслуга Боппа и Раска состоит прежде всего в поиске регулярных фонетических соответствий и в сравнении морфологических парадигм индоевропейской группы языков с целью реконструкции морфологии праязыка. Первый фонетический закон был сформулирован Гриммом (он носит его имя). Таблицы фонетических соответствий первым составил А.Ф. Потт. Важный этап знаменовали труды А. Шлейхера, первым попытавшегося реконструировать праязык именно как язык [Schleicher 1861]; однако Шлейхер неоправданно экстраполировал в лингвистику методы биологии, буквально понимая язык как живой организм. Другим существенным недостатком метода Шлейхера, а также его предшественников и современников было произвольное отношение к фонетическим законам, разделение их на "обязательные" и "спорадические". Только младограмматики утвердили положение о непреложном, действующем без исключения фонетическом законе. В их представлении фонетический закон действовал со слепой необходимостью; многочисленные же отступления от него объясняются действием аналогии, наличием в тексте форм, восходящих к разным диалектам единого языка. Недостатки младограмматического подхода хорошо известны: ориентация только на "праязык в момент распада" без учета того, что этот идиом также должен существовать в пространстве и времени; экстраполяция данных древнегреческого и древнеиндийского на праязык (так что в реконструированном праязыке оказалось 8 падежей, 3 числа, несколько глагольных основ). Дешифровка же тохарских и особенно хеттского языка продемонстрировала достаточно архаические индоевропейские языки, характеризующиеся значительно большей простотой грамматической системы.

Среди основных методов сравнительно-исторического исследования А. Бернабе называет поиск неслучайных фонетических схождения. Общая формулировка здесь такова: поскольку лингвистический знак произволен, вероятность случайного схождения плана выражения и плана содержания

знака в разных языках невелика. Наличие же системных схождения (например, в группе лексики, объединенной общим значением) исключает возможность случайного совпадения. Сходство должно объясняться либо заимствованием из одного языка в другой, либо заимствованием из общего источника, либо, наконец, общим наследием предшествующего языкового состояния. Но в этом последнем случае схождения должны быть не спорадическими, а регулярными; иными словами, одному звуку в языке А должен регулярно соответствовать один звук в языке В. Это вполне корректное изложение основ компаративистики, однако оно, на мой взгляд, нуждается в некоторых дополнениях. Соответствие между звуками в языке А и В — не сходство (практика показывает, что восходящие к одному прототипу звуки могут не иметь ничего общего между собой), а *закономерность в различии*. И именно закономерности позволяют установить, что франц. *feu* "огонь" (< лат. *focus*) и англ. *fire* (< прагерм. **fur* < и.-е. **pufr*), несмотря на сходство в звучании и значении, не имеют между собой ничего общего по происхождению; напротив, англ. *wheel* "колесо" и греч. *κόλος* "ось" восходят к единому индоевропейскому этиму **k^helos* "то, что вращается". Однако одних лексических схождения оказывается недостаточно для установления родства языков. Дело в том, что древние заимствования иногда выглядят как исконные соответствия. Так, общеслав. **vinu* пофонемно совпадает с лат. *vinum*; такого же рода фонетические соответствия объединяют **viŋi* и *vi-n-ctre*. Но в первом случае мы имеем дело с заимствованием, во втором — с исконным соответствием (что устанавливается уже не с помощью применения фонетических законов). Следовательно, для установления языкового родства имеют прежде всего значение незаимствующиеся языковые явления, т.е. словоизменительные аффиксы. Таким образом, наиболее корректная формулировка языкового родства должна звучать так: языки признаются родственными, когда в их словоизменительных аффиксах наблюдаются закономерные фонетические различия.

Кроме классического внешнего сравнения, в сравнительно-историческом языковедении используются и иные методы. Здесь прежде всего следует указать на лингвистическую географию, для которой существенно: является ли язык изолированным (случай исключительный) или же сосед-

стает с другими. В этом случае неизбежно влияние языков друг на друга, проявляющееся на всех уровнях (от фонетического до лексического и синтаксического); оно может быть прослежено с помощью корректной процедуры сравнения. Структурная лингвистика рассматривает как языковую систему, так и асистемные явления, наличествующие в любом языке [Маковский 1980]. Их изучение позволяет понять динамику языкового развития. Определенную роль в компаративистике играют и типологические исследования. Бернабе справедливо указывает на то, что типологические данные не имеют и не могут иметь такой объяснительной силы, как собственно компаративистские. Они позволяют наметить возможные пути развития незасвидетельствованных языковых систем (по аналогии с засвидетельствованными) и наложить запрет на типологически невозможную реконструкцию. А. Бернабе (вслед за П. Сгаллом [Sgall 1971]) выделяет три основных типологических подхода к языку: классификационный, представленный в науке, начиная с Гумбольдта и фон дер Габеленца (разбиение языков на различные типы путем их сопоставления), комбинационный (языковой тип предстает как набор определенных черт: ср. прежде всего типологическую классификацию Сэпира [Сэпир 1993]) и импликационная типология, предложенная Р.О. Якобсоном [Якобсон 1962]: черта А в языке предполагает наличие черты В. В реконструкции же типологии оценивается по-разному: от признания ее данных приоритетными (для всякой реконструкции необходимо подыскать ее типологический аналог в живых языках) до полного отрицания ее значимости. Заметим, что методика типологической верификации наиболее четко и ясно разработал Б.А. Серебренников, создав теорию фреквенталий [Серебренников 1974] и показав ограниченность импликационного подхода [Серебренников 1992]. А. Бернабе, не упоминая работ Б.А. Серебренникова, приходит к сходным выводам. К основателям же типологии, вопреки А. Бернабе, следует причислить не только В. фон Гумбольдта, но и братьев Шлегелей.

В сравнительно-историческом исследовании могут использоваться также методы генеративной грамматики. И, хотя сама генеративная грамматика еще далека от решения своих проблем, а возможность ее применения в конкретном лингвистическом исследовании неясна, для компаративистики существует ряд вопросов, ответ на которые

должна дать именно генеративная грамматика: 1) можно ли определить грамматичность или неграмматичность той или иной языковой структуры в лингвистической реконструкции? Генеративисты обычно ссылаются на "компетенцию говорящего", но как быть, если говорящие на данном языке никогда не были засвидетельствованы? 2) применимы ли вообще правила генеративной грамматики в историческом описании? По первому впечатлению, праязык в представлении компаративистов слишком сложен для применения здесь однозначных правил порождения языковых единиц. Впрочем, существуют попытки интерпретировать классические фонетические законы с позиций генеративной фонологии. Интересны соображения о возможности применения в реконструкции методов психолингвистики. В фонетике интерес представляет исследование экспрессивного произношения, способного видоизменить регулярный фонетический облик слова. В морфологии образцом психолингвистического описания (полезным и для компаративистики) является созданная К. Бюлером теория дейксиса [Бюлер 1993], которая, к тому же, опирается на сравнительно-историческое исследование указательных местоимений, произведенное К. Бругманом. Из прочих методов, применимых в компаративистике, А. Бернабе упоминает социолингвистику, способную дать информацию о развитии словаря²; глоттохронологические и прочие количественные методы, претендующие на установление меры и времени расхождения между отдельными языками.

Особую роль в сравнительно-историческом языкознании занимает процедура внутренней реконструкции, или реконструкции без сравнения. Она предусматривает реконструкцию не засвидетельствованных в непосредственном наблюдении черт языка. Для младограмматизма с его ориентацией на "праязык в момент распада" установка на

² Если говорить точнее, то не только словаря. Фонетический закон, для того чтобы стать принадлежностью языкового коллектива, должен пройти процедуру социализации [Журавлев 1986]. Во многих языках хорошо известны различные производительные нормы одних и тех же слов и морфем. Они характеризуют различные страты общества. Статус того или иного социолекта имеет немаловажное значение для его истории: престижный идом консервируется, противопоставляясь непрестижному, "необразованному". Ср. оппозицию латыни и романских языков в средневековой Европе, санскрита и праkritов в средневековой Индии.

внутреннюю реконструкцию в праязыке была в общем чуждой, но методы, использованные в ее процессе, эффективны и при изучении предыстории засвидетельствованных языков. Дело в том, что внутренняя реконструкция опирается на регулярные исключения из регулярных правил. Поэтому, к примеру, закон Грассмана представляет собой классический образец внутренней реконструкции первоначального облика слов, имевших в своем составе два придыхательных. Наличие редуцированных перфектов типа *δέδωκα, λέλοιπα, πέποιθα* заставляет видеть в форме *τέφεκα* праформу **τέφεκα*. Аналогично на основании сравнения парадигмы *μέλι*, род. п. *μέλιτος* *μέλι*кар – *μέλι*карос можно восстановить праформу номинатива **μέλιτ*. Внутренняя реконструкция в сочетании с компаративной позволяет распределить восстанавливаемые языковые явления на пространственно-временной шкале.

Таким образом, именно посредством применения различных методов удается реконструировать праязык как реальность, характеризующуюся пространственно-временными параметрами, обладающую строгой, типологически выверенной структурой, в которой исключения из общих правил мотивированы. В этой связи автор рассматривает различные концепции индоевропейского праязыка. Как известно, А. Шлейхер считал реконструкцию главной задачей сравнительно-исторического исследования. Праязык в его представлении был настолько абсолютной реальностью, что он написал на нем знаменитую басню об овце и лошадях [Schleicher 1861]. Подход Шлейхера был подвергнут суровой критике А. Мейе, который указал на гетерогенность данного нам в реконструкции праязыка, разнопространственность и разновременность многих его черт. С точки зрения Мейе, праязык есть всего лишь совокупность соответствий [Мейе 1938], ср. в этой связи: "реконструкция праязыка была гениальным нововведением, но создание на нем текста было грубой ошибкой" [Мейе 1951: 11]. Еще более критически относились к понятию праязыка Н.С. Трубецкой и представители итальянской школы неолингвистики [Трубецкой 1958]. С их точки зрения, никакого индоевропейского праязыка вообще не было, общие черты индоевропейских языков возникли в результате их длительных контактов. Существенные возражения против целостной реконструкции праязыка выдвинул Э. Пулграм [Pulgram 1961; 1965]. Его критика заключается в том, что реконструкция всегда неполна (о чем

писал и А. Мейе [1938: 113]); отсутствуют методы точного установления языкового родства, так что всегда неясно, насколько родственные языки близки друг другу; для сравнения предлагается языковой материал, относящийся к самым различным эпохам³; пространственная и социальная дифференциация праязыка также делает сомнительной возможность его однозначной реконструкции. Однако Ф.Р. Адрадос [Adrados 1969] (и просоединившийся к нему А. Бернабе) справедливо указывают на то, что возражения Пулграма относятся не к самой возможности реконструкции праязыка, а к его младограмматической интерпретации. Праязык, по мнению Адрадоса, реконструируется частично как реальность, частично как "диасистема" (термин Пулграма, близкий к "совокупности соответствий" Мейе). Целостная реконструкция праязыка невозможна. Но некоторые незасвидетельствованные черты вполне могут быть доступны исследователю на основании косвенных черт. Это внушает определенный оптимизм. Праязык можно реконструировать как пространственно-временное образование, т.е. выявлять в нем черты, относящиеся к различным диалектным формам и периодам времени. Скептицизм Мейе в отношении праязыка сменился пониманием ограниченной возможности его восстановления. И если переписывание басни Шлейхера, осуществленное Г. Хиртом [Hirt 1939], вызвало к себе скептическое отношение, то новая попытка, предпринятая весьма авторитетными лингвистами У.Ф. Леманом и Л. Згустой, базируется на достаточно строгом отношении к лингвистической реконструкции, когда реальность праязыка воспринимается как *summm desideratum*. По мнению А. Бернабе, праязык в представлении Лемана и Згусты представляет довольно поздний период развития – после отделения анатолийских языков и падения ларингалов. Сам Бернабе, вслед за Адрадосом, подразделяет индоевропейский праязык на три периода [Адрадос 1985].

Мы не случайно так подробно остановились на "Введении". Каждый компендиум создается на основании определенных методологических позиций. Позиция, предложенная испанскими лингвистами, отличается взвешенностью, продуманностью, четкостью. В "Введении" учтены по

³ Первые письменные памятники на хеттском восходят к XVIII в. до н.э.; старейшие тексты на литовском, латышском и албанском были записаны только в XVI в. н.э.

возможности все аспекты и все методы реконструкции. К этому можно было бы добавить следующее. В последние несколько лет можно наблюдать более основательное проникновение методов количественного анализа в сравнительно-историческое языкознание. Первые опыты, оформившиеся в виде теории глоттохронологии, нельзя назвать особенно удачными, т.к. идея о том, что словарный состав должен изменяться с неизменной скоростью, явно неверна. Произвольным выглядит и стословный список, отобранный для сравнения. Но в работах В. Маньчака предложен более взвешенный подход: сравниваются не просто списки слов, а их частотность. И тогда выясняется, что, хотя в румынском словаре свыше двух третей заимствований, в румынском тексте почти 90% слов по происхождению романские, что и доказывает его романский (а не восточнославянский) характер [Mańczak 1977; 1992]. Интересные результаты получены А.Ф. Журавлевым [Журавлев 1994], который рассмотрел не список слов, а все доступные словари славянских языков и подсчитал в них коэффициент сохранности праславянской лексики. Понятно, что такой метод более сложен и трудоемок, чем работа со стословным списком. Но именно он позволяет избежать произвола в оценке языкового родства. Для фонетики и морфологии количественный метод предлагался А.Л. Кребером и К.Д. Кретьеном [Kroeber, Crétien 1937]. Важный импульс для развития статистических исследований дает историческая лингвистика, которая в настоящее время выделилась из сравнительно-исторического языкознания. Эту отрасль можно определить как общую теорию языковых изменений. Здесь большое значение имеет подход, предложенный В. Лабовым [Labov 1994], который рассматривает языковые изменения, начиная от минимальных (различия в фонетике и орфоэпии между двумя ближайшими диалектами) и кончая базовыми. Именно такое описание позволяет правильно представить язык как открытую, неравновесную, динамическую систему. Для общей теории языковых изменений важна также проблема грамматикализации, которой недавно было посвящено несколько монографий [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994; Норрег, Traugott 1993], потому что именно грамматикализация свободных синтаксических сочетаний является одной из главных движущих сил в изменении морфологического строя языка.

Мы целиком разделяем точку зрения Ф.Р. Адрадоса, А. Бернабе и Х. Мендосы на то,

что индоевропейский праязык имел доступную реконструкцию временную стратификацию. Три периода и их характеристики, предложенные Адрадосом, выглядят достаточно убедительно (хотя можно поспорить о месте анатолийских языков в составе индоевропейской семьи⁴). Но следует отметить, что сходные идеи высказывались и весьма аргументированно развивались 20–30 лет тому назад отечественными лингвистами, прежде всего И.М. Тронским и Э.А. Макаевым [Тронский 1967; Макаев 1977]. И.М. Тронский показал, как разделение реконструкции на ближнюю и дальнюю способствует решению ряда классических дилемм в компаративистике: количество рядов гуттуральных (три в ближней реконструкции, два или один – в дальней); количество серий смычных (четыре в ближней реконструкции, тогда как в дальней возможна вообще иная трактовка оппозиций между сериями; эти соображения отчасти предвосхитили “глоттальную” теорию). Э.А. Макаев, используя приемы установления относительной хронологии, показал динамику развития грамматического строя от позднеиндоевропейского через ранний общегерманский к позднему общегерманскому, верхние границы которого соприкасаются с древнейшими руническими текстами. Остается пожалеть, что испанские коллеги не учли данных, полученных указанными выдающимися лингвистами.

Однако в рецензируемом труде данные реконструкции в соответствии с принципами Тронского и Макаева распределены по различным хронологическим уровням. В главе “Фонетика” основные соответствия между родственными языками рассматриваются без хеттских данных, которым посвящена специальная глава. Это связано с тем вариантом “индохеттской” гипотезы, которого придерживается Адрадос и его ученики: анатолийские языки отделились от индоевропейского континуума не просто раньше других групп, но в принципиально иной период, характеризующийся иной типологией индоевропейского языкового состояния, так называемой монотематической (т.е. с наличием одной основы для

⁴ Конечно, идея об обособленности и исключительной архаичности хетто-лувийских языков достаточно стара, она восходит к Стёртеванту [Sturtevant 1933] и поддержана в работе [Гамкрелдзе, Иванов 1984]. Но нам представляется, что инноваций в этих языках по крайней мере не меньше, чем архаизмов. Впрочем, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

каждого именного и глагольного корня, в отличие от позднего политематического периода, когда от одного корня образовывались различные основы). Соответственно хеттская фонетика рассматривается не в общей таблице. Но хеттский консонантизм в общем не представляет очень архаичное состояние. Скорее справедливо утверждать, что он сильно изменился по сравнению с общиндоевропейским. Со времен Стёртеванта [Sturtevant 1933] хеттологи отмечали оппозицию одинарных и двойных согласных; первые соответствовали индоевропейским звонким (простым и придыхательным), вторые – глухим: **nehhos* > *nepis* “небо”, но *attas* “отец” – слав. отъць, **jug-* > *iukan* “ярмо”, но **leuk-* “белый” > *lukkizzi* “светает”. Разные исследователи рассматривали эту оппозицию по-разному: противопоставление глухих звонким (первые производятся с большим напряжением голосовых связок), оппозиция “слабых” и “сильных” согласных [Benveniste 1962]; согласно Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванову, простые графемы воспроизводят глоттализованные согласные, а двойные – придыхательные (заметим, что это мало правдоподобно, так как звонкие придыхательные тоже отражаются в хеттском как одинарные графемы). Таким образом, хеттские данные не играют большой роли в реконструкции индоевропейского консонантизма (не считая, конечно, класса ларингальных).

Вообще же следует отметить большую взвешенность и корректность А. Бернабе в обращении с различными реконструкциями. Автор стремится не столько утвердить единый взгляд на дискуссионные проблемы, сколько изложить различные мнения. Рассмотрим предложенные им решения классических контроверз. Как известно, вопрос о количестве серий в индоевропейской подсистеме согласных был дискуссионным с конца XIX в. К. Бругман реконструировал четыре серии (звонкая и глухая простые, звонкая и глухая придыхательные), критики этой реконструкции указывали на то, что глухая придыхательная серия восстанавливается только на базе древнеиндийского вокализма с довольно сомнительными иранскими соответствиями (аффрикатами и глухими простыми) и несомненными глухими простыми в остальных индоевропейских языках (resp. аспирированными глухими в армянском, соответствующими глухим простым в остальных). Из этого естественно вытекает вывод о том, что глухие придыхательные – древнеиндийское новообразование (возможно, возникшее из

контракции глухих с ларингалом). С другой стороны, реконструкция только звонкой придыхательной серии вызывает у многих исследователей сомнения. Так, Р.О. Якобсон, рассматривая звонкость как отдельный дифференциальный признак, исходил из того, что в языке не может быть рядов или серий маркированных фонем при отсутствии немаркированных. Поэтому наряду с звонкими придыхательными надо восстанавливать глухие. Выше мы отмечали мнение И.М. Тронского. Гамкрелидзе и Иванов, на словах поддержав Якобсона, предложили по сути иную интерпретацию понятия маркированности: с их точки зрения, она обратно пропорциональна частотности и употребительности фонемы. Звонкую простую серию Гамкрелидзе и Иванов переинтерпретировали как глоттальную, а звонкой придыхательной и глухой простой приписали придыхательность как факультативный признак [Гамкрелидзе, Иванов 1984]. А. Бернабе же начинает рассматривать этот вопрос с генеративной точки зрения: возможна реконструкция максимальной и минимальной системы шумного консонантизма. В первой – 20 фонем, объединенных в 5 рядов и 4 серии, во второй – 12 (4 ряда, 3 серии). Что же касается конкретных возможностей расширения системы согласных, то Бернабе отмечает очень слабую представленность глухих придыхательных в индоевропейских языках. Глухие придыхательные встречаются либо в экспрессивных словах, либо в сочетании глухого с ларингалом, либо после *s-*. Экспрессивные слова суть: звукоподражания (др.-инд. *kākhāti*, общеслав. **хххотъ*), уменьшительные (греч. *ιππ(α)χος* “глупенький”), обозначения увечий (арм. *xul* “глухой”), части тела (арм. *glux* “голова”). В этой связи А. Бернабе весьма восторженно и корректно излагает историю возникновения и развития “глоттальной” теории, не присоединяясь к ней решительно, но и не отвергая ее.

Сложнее обстоит дело с реконструкцией рядов гуттуральных. Здесь, как известно, существует несколько противоречащих друг другу гипотез. Дело в том, что для нелабialized фонем выводятся две группы соответствий: 1) **kṛtóm* “сто”: лат. *centum*, греч. *ξ-ταχον*, гот. *hund*, др.-ирл. *cer*, тох. А *kānt*. В *kante*, но др.-инд. *śatām*, авест. *satəm*, лит. *simtas*, слав. **sъto*; 2) **kreu-* “кровь, сырое мясо”: лат. *cruur* “кровь”, греч. *κρέας* “мясо”, др.-исл. *hrar* “сырой”, др.-ирл. *cruaid* “крепкий”, др.-инд. *kravis* “сырое мясо”, авест. *xruva* “красный”, лит.

krāujas “кровь”, ст.-слав. *крьвъ*. На этом основании уже более ста лет постулируется существование палатальных, “чистых” и лабиовелярных заднеязычных. Первые в западных языках дали взрывной гуттуральный рефлекс, в восточных – передерядную аффрикату, вторые отразились как заднеязычные во всех языках, третьи – как лабиализованные в западных и чистые заднеязычные в восточных. Но такой реконструкции противоречит наличие дублетов с непоследовательной сатемизацией типа ст.-слав. *камы*, лит. *akmiš*, но также *ašmiš*, др.-инд. *áçman* (< **dk-mon*), из чего можно заключить, что существовало только два ряда гуттуральных. Нелабиализованный отражался в языках *satəm* как переднеязычный, но его палатализация нарушалась благодаря каким-то внешним факторам (влиянию фонетического окружения). Для этой контроверзы предлагались разные решения (Дж. Асколи, А. Фик, Г. Харт, В. Георгиев), кратко, но емко рассмотренные А. Бернабе. Автор справедливо отмечает, что эта проблема не имеет однозначного решения. Мы бы только прибавили к его обзору следующее. Во-первых, очень привлекательно выглядит идея И.М. Тронского [Тронский 1967: 61–63] о том, что в ближней реконструкции следует постулировать все же три ряда гуттуральных, а в дальней реконструкции – меньшее количество. Во-вторых, следует отметить идею о возможной реконструкции только одного ряда гуттуральных, которые в сочетании с гласными переднего ряда превращались в палатализованные, а в сочетании с лабиализованными гласными становились лабиализованными. Такой точки зрения придерживались Я. Сафаревич [Safarewicz 1957], О. Семереньи [Szemerényi 1960], из отечественных лингвистов – Ю.В. Откупщиков [Откупщиков 1988] и О.Н. Сорокин [Сорокин 1993].

Несколько иначе выглядит раздел, посвященный реконструкции ларингалов. А. Бернабе здесь следует за Ф.Р. Адрадосом [Adrados 1975], реконструировавшим шесть ларингалов. Но, к сожалению, аргументов в пользу именно такого количества ларингалов не приводится. Можно понять *gaison d'être* в реконструкции трех ларингалов: **eH₁* > *e*, **eH₂* > *a*, **eH₃* > *o* (существует и иное обозначение для всех трех ларингалов: **H₁* – “палатальный” ларингал, **H₂* – “велярный”, **H₃* – “лабиализованный”). Но вопрос о том, почему необходимо восстанавливать три “палатальных” и три “лабиализованных” ларингала, остается открытым. На стр. 370–371 рецензируемой книги приведена

обширная таблица рефлексов ларингалов в разных позициях. Она содержит много важной информации, но различия между разными типами однородных ларингалов не дает. Следует заметить также, что далеко не все вариации, приводимые Бернабе, объясняются влиянием ларингалов. Так, кипрское греческое *duFavor* и аркадское *atuboas* не имеет никакого отношения к ларингалам: это “ахейское” сужение *o*, которое, по видимому, не имело полностью фонологического статуса. Ср. микенск. *apedoke* и *arudoke*, аркадо-кипрское окончание 3 л. медиа -*tu* (при общегреческом -*to*).

В разделе же, посвященном акцентуации, явное предпочтение отдается тональной теории в том виде, в каком она изложена в работах В.А. Дыбо [Дыбо 1981] и А. Лубоцкого [Lubotzky 1988]. Здесь автор, пожалуй, отходит от максимальной объективности, отличающей большую часть книги. Тональная теория, с одной стороны, подвергалась серьезной критике [Халле 1995], с другой, некоторые ее сторонники подчеркивали невозможность прямой экстраполяции балто-славянских тонов на праиндоевропейский уровень [Носк 1993].

К сожалению, в рамках журнальной рецензии нет возможности рассмотреть все проблемы и их решения, предложенные в первом томе “Manual de la lingüística indoeuropea”. Полнота материала (в книге оказались затронуты все вопросы индоевропейской фонетики и морфологии) и взвешенность его интерпретации делают эту книгу достойным вкладом в индоевропеистику. Рецензию на второй том мы надеемся предложить читателям в ближайшем будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адрадос Ф.Р. 1985 – Индоевропейский, балтийский, славянский // ВЯ. 1985. № 1.
 Булич С.К. 1904 – История языкознания в России. СПб., 1904.
 Буллер К. 1993 – Теория языка. М., 1993.
 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1–2. Тбилиси, 1984.
 Дыбо В.А. 1981 – Славянская акцентология. М., 1981.
 Журавлев А.Ф. 1994 – Лексико-статистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.
 Макаев Э.А. 1977 – Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.
 Маковский М.М. 1980 – Системность и ассистентность в языке. М., 1980.

- Meie A.* 1938 – Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков. М., 1938.
- Откущников Ю.В.* 1989 – Ряды индоевропейских гуттуральных // Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л., 1989.
- Серебрянников Б.А.* 1974 – Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
- Серебрянников Б.А.* 1992 – Правомерно ли имплицитивные связи между элементами языка рассматривать как показатель его типа и системности? // Историческая лингвистика и типология. М., 1992.
- Сорокин О.Н.* 1993 – Индоевропейские гуттуральные и их рефлексy в греческом и латинском языке. Томск, 1993.
- Сэтц Э.* 1993 – Язык. М., 1993.
- Тронский И.М.* 1967 – Общенидоевропейское языковое состояние. М., 1967.
- Трубецкой Н.С.* 1958 – Мысли об индоевропейской проблеме // ВЯ. 1958. № 3.
- Халле М.* 1995 – Ударение и акцент в индоевропейском // Проблемы фонетики. М., 1995.
- Якобсон Р.О.* 1962 – Типологические исследования и их значение для сравнительно-исторического языкознания // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Adrados F.R.* 1961 – Estudios sobre las laringales indoeuropeas. Madrid, 1961.
- Adrados F.R.* 1963 – Evolución y estructura del verbo indoeuropeo. Madrid, 1963.
- Adrados F.R.* 1968 – Die Rekonstruktion des Indogermanischen und die strukturelle Sprachwissenschaft // IF. Bd. 73. 1968.
- Adrados F.R.* 1988 – Nuevos estudios de lingüística indoeuropea. Madrid, 1988.
- Beekes R.S.P.* 1995 – Introduction in the historical-comparative linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Benveniste E.* 1962 – Hittite et indo-européen. Paris, 1962.
- Brugmann K., Delbrück B.* 1893–1916 – Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1893–1916. Bd. 1–5.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W.* 1994 – The evolution of Grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Erhart A.* 1982 – Indoevropski jeziki. Praga, 1982.
- Hirt H.* 1921–1937 – Indogermanische Grammatik. Heidelberg, 1921–1937. Bd. 1–7.
- Hirt H.* 1939 – Das Hauptproblem der Indogermanistik. Halle, 1939.
- Hoch W.* 1993–1994 – Der indogermanische Flexionsakzent und die morphologische Akzentkonzeption // MSS. 1993–1994. Hf. 54.
- Hopper P., Traugott E.* 1993 – On grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Kroeber A.L., Crétien C.D.* 1937 – Quantitative classification of Indo-European languages // Language. 1937. V. 13.
- Labov W.* 1994 – Principles of language changes. Philadelphia, 1994.
- Lehmann W.P., Zgusta L.* 1979 – Schleicher's tale after a century // Studies in diachronic, synchronic and typological linguistics: Festschrift O. Szemerényi. Lubotzky A. 1988 – The system of nominal accentuation in Sanskrit and Proto-Indo-European. Leiden, 1988.
- Mańczak W.* 1977 – Le latin classique – langue romane commune. Wrocław, 1977.
- Mańczak W.* 1992 – De la préhistoire des peuples indo-européens. Kraków, 1992.
- Pulgram E.* 1961 – The nature and use of proto-languages // Lingua. 1961. V. 10.
- Pulgram E.* 1965 – Proto-languages as proto-diasystems // Word. 1965. V. 21.
- Safarewicz J.* 1945 – Pochodzenie trzech szeregów spółgłosek tylnojęzykowych w prajęzyku indoeuropejskim // Sprawozdania Polskiej Akad. Umiejętności, 1945. T. 6.
- Schleicher A.* 1861 – Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1861.
- Sgall P.* 1971 – On the notion "Type of language" // Travaux linguistiques de Prague, 1971. V. 4.
- Szemerényi O.* 1967 – The new look of Indo-European reconstruction and typology // Phonetica. 1967. V. 7.
- Sturtevant E.* 1933 – A comparative grammar of the Hittite language. Philadelphia, 1933.

К.Г. Крапчихин

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25–27 ноября 1998 года в г. Звенигороде состоялась международная научная конференция "Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание". Эта конференция продолжила прерванную более чем на десятилетие традицию встреч в Подмоскovie фонетистов, принадлежащих разным научным школам. Основной задачей конференции являлась интеграция академической и вузовской науки в области изучения звучащей речи и современных методов преподавания фонетики.

Характер прочитанных на конференции докладов и весь ход их обсуждения и дискуссии еще раз подтвердил тот факт, что наиболее динамично развивающимся областями современной фонетики являются просодия и лингвистическое обеспечение автоматического синтеза и распознавания речи; при этом динамическая модель функционирования звуковой стороны языка все чаще служит инструментом объективной проверки истинности теоретических положений. В рамках изучения суперсегментного оформления речи наиболее актуальными представляются вопросы формализации существующих знаний и исследования систематической просодической вариативности (в наиболее явном виде поставленные в докладах О.Ф. Кривновой и С.В. Кодзасова), а также проблемы взаимодействия просодических структур и сегментных единиц (обсуждавшиеся, в частности, в докладах О.Ф. Кривновой, Н.Б. Вольской, С.В. Князева, А.М. Красовицкого, В.И. Кузнецова и Т.Ю. Шерстиновой).

Ряд прочитанных на конференции докладов был связан с проблемами просодии слова. Доклад В.Б. Касевича (С.-Петербург) "Иерархия и функции слогов в слове: начала и концы" был посвящен поискам закономерностей слоговой иерархии. Наи-

более очевидным ее случаем можно считать ударность (выделенность) одного из слогов слова на фоне более или менее выраженной редукции остальных. С другой стороны, типологическое исследование слоговой структуры слова приводит автора к признанию особой роли конечного и начального слогов. Так, фиксированное ударение чаще всего падает на последний слог слова, в детской речи слова могут заменяться ударными или конечными слогами, при моносиллабизации преобладает стяжение слова до последнего слога, в аббревиатурах слово может быть представлено начальным или конечным слогом. В большинстве своем перечисленные факторы связаны с необходимостью делимитации (перцептивной сегментации речевой цепи), т.е. имеют преимущественно синтагматическую направленность. В то же время вес начального слога, который связан с идентификацией слова (во внутреннем словаре носителя языка существует классификация слов "по начальному слогу") и, опосредованно, с внутрисловарными связями, имеет преимущественно парадигматическую ориентированность.

В своем докладе "Шкала сонорности" Ю.А. Клейнер (С.-Петербург) подверг критике идею, согласно которой фонетические объяснения в фонологии основываются на характеристиках, претендующих на универсальность и не зависящих от фонологического строя данного языка. На примере использования шкалы сонорности в теории слогового веса автор показал, что с точки зрения ритмообразования об иерархии (шкале) сегментных единиц можно говорить только в связи с положением этих единиц в фонологической системе языка, которое определяет участие данного элемента в ритмическом (= просодическом) членении речевой цепи, а не в связи с их собственно фонетическими характеристиками.

В докладе Т.М. Николаевой

(Москва) «Гипотеза о причинах так называемого "неоштокавского" сдвига» были критически проанализированы имеющиеся теории возникновения акцентного сдвига в сербском языке (перенос восходящего акцента на начальный слог слова), основывающиеся на фонетических процессах в слове, и предложено иное объяснение этого явления. Типологическое изучение автором реализации временного параметра просодической схемы слова в языках Балкан показало, что просодическая организация слова с динамическим максимумом в начале и темпоральным в конце не является универсальной, так как возможно и увеличение *t*-параметра влево, то есть продление слогов слова к началу, а не к концу. Исследование современных сербских, хорватских, македонских и словенских говором показало, что они демонстрируют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута. При этом в чакавских и кайкавских говорах, где сдвиг акцента не произошло, увеличена долгота предударного слога, а в говорах с наличием сдвига — заударного. Таким образом, выдвигается гипотеза о "долготном дисбалансировании *t*-параметра просодической системы слова" как об основной причине неоштокавского акцентного сдвига: увеличение долготы слога до порога ударности прояснило и движение тона на нем.

Большая часть докладов, так или иначе связанных с суперсегментной проблематикой, была посвящена проблемам фразовой просодии. О.Ф. Кринова (Москва) в докладе "Фразовая просодия в свете задач автоматического синтеза речи" показала, что автоматический синтез речи, построенный с использованием лингвистически обоснованных алгоритмов, может рассматриваться как динамическая модель функционирования звуковой стороны языка и как инструмент верификации лингвистических представлений или обнаружения лагун в этих представлениях. В настоящее время исследователи вплотную подошли к решению задачи озвучивания произвольного текста, т.е. к имитации поведения человека, читающего текст. Естественность синтезированной речи определяется при этом в первую очередь тем, как работает лингвистический блок синтезатора, на выходе которого каждое предложение текста должно быть представлено в виде транскрипции — фонемной (или аллофонической) и интонационной, отражающей локализацию и тип фокусных акцентов, тип интонационной модели, глобальные интонационные параметры. При этом, если для

сегментной части транскриптора ядерный состав формализованных правил для современного русского литературного языка можно считать известным (за исключением ряда явлений на стыках слов и морфем), то в области фразовой интонации наблюдается явная ограниченность и недостаточная формализованность фонетических знаний. Другой комплекс проблем при синтезе речи связан со сложной многофакторной природой акустических параметров, значения которых определяются сбалансированным действием как сегментных факторов, так и различных компонентов акцентно-интонационного рисунка предложения. В целом, эта проблема связана с исследованием систематической акустической вариативности элементов интонационного оформления.

Об использовании существующих программ компьютерного синтеза речи в качестве инструмента для проведения исследований основного тона и длительности слова речь и в докладе Н.Б. Вольской (С.-Петербург) "Взаимодействие сегментных и суперсегментных характеристик при синтезе интонации". Одним из важнейших результатов подобного исследования восходящего тона стал вывод о необходимости учета фонетического контекста гласного при синтезе на нем определенного тонального движения (например, наличие сонантов, следующих за гласным в односложном слове, удлиняет отрезок, на котором реализуется восходящий тон).

Доклад С.В. Кодзасова (Москва) "О функциях восходящего тона" был посвящен вопросу поиска инвариантных значений просодических параметров на примере восходящего тона. Решение этого вопроса требует, по мнению автора, существенного изменения методов работы интонолога, в частности, перехода к комбинаторному анализу интонации — как в области содержания, так и формы, поскольку интонационные конструкции обычно реализуют комплексное семантическое задание и часто имеют сложное компонентное строение. Так, речитативный акцент общего вопроса в русском языке совмещает коммуникативную, модальную, иллокутивную и фазовую функции в отличие от польского, где коммуникативная функция отделена от прочих. При этом в русском языке коммуникативная функция осуществляется путем выбора места акцента, а восходящий тон совмещает некомуникативные компоненты интонационного содержания, которые могут быть выражены не только в едином комплексе,

но и по отдельности. Комбинаторная методика требует также специального изучения функций просодических параметров в составных акцентах и изучения сочетаемости с другими интонационными параметрами и средствами.

В докладе Н.Д. Светозаровой (С.-Петербург) "Деклинация и завершенность" были рассмотрены различные типы соотношения деклинации и финального падения тона в изолированном законченном повествовательном предложении, иначе говоря — различные способы реализации завершенности. Анализ позволял предположить, что именно наблюдаемая в большинстве случаев тенденция к деклинации в неконечной части интонационного контура помогает слушающему оценивать как завершенные контуры не только с низким, но и с высоким финальным падением тона. В докладе был также поставлен вопрос о перцептивных границах между зонами завершенности, незавершенности и глубокого падения.

Н.Ю. Вахтина (С.-Петербург) в докладе "Модели завершенности в незавершенности в интонационной системе детей" проиллюстрировала положение о том, что слуховые наблюдения и образцы имитации детской речи свидетельствуют о наличии в интонации детей 2—4 лет особенностей, отличающих ее от интонационных конструкций, описанных на материале речи взрослых носителей языка. Специфика интонационного оформления высказываний детей связана не с ядерной, а с предъядерной частью высказывания, где наблюдается расширение частотного диапазона и резкие изменения мелодики, часто лишены смысловой нагрузки (так что взрослые редко способны узнать и однозначно оценить коммуникативный тип высказывания в речи ребенка).

Доклад С.С. Хромова (Москва) "Интонация в аспекте ее универсальных характеристик" был посвящен проблеме поисков интонационных универсалий на основе описания интонационных систем ряда языков Африки, представляющих различные морфолого-синтаксические типы, а также русского языка.

В докладе А.В. Яковлева (Москва) "Об одном случае паузации в языке африкаанс" на примере генетивных конструкций в языке африкаанс было показано, как синхронное просодическое оформление этой конструкции (*Janise suster* "сестра Яна" вместо ожидаемого *Jan se/suster*) позволяет сделать вывод об истории ее возникновения из конструкции с вынесенной темой; при

этом в диахроническом плане паузация оказывается более устойчивой, чем семантика синтаксической конструкции.

В ряде выступлений речь шла о зависимости сегментных и суперсегментных свойств слова от его фразовой позиции. Так, доклад С.В. Князева (Москва) "Фонетическая реализация ударения в различных фразовых позициях в современном русском языке" был посвящен проблеме соотношения гласных просодического ядра слова (ударного и первого предупредного) по длительности, интенсивности и спектральному составу в различных фразовых позициях — изолированном произнесении, под фразовым акцентом в составе синтагмы, в безакцентной позиции. На основе анализа полученных результатов в докладе был сделан вывод о том, что интенсивность (как средняя, так и пиковая) и F-картина не являются параметрами, противопоставляющими гласные просодического ядра слова, ни в одной из фразовых позиций (значение интенсивности на первом предупредном гласном практически всегда выше, чем на ударном, а формантные области соответствующих гласных пересекаются). Акустически контраст между гласными просодического ядра слова выражен только при помощи длительности и только в сильной фразовой позиции (в безакцентном положении длительность ударного гласного не превышает длительности первого предупредного). А.М. Крайчик и Я. (Москва) в докладе "Изменение микропросодических характеристик под влиянием фразовой позиции" на материале южно-русских говоров с диссимлятивным аканьем показал, что фразовая позиция влияет на просодическую схему диалектного слова, так что значения длительности и интенсивности гласного первого предупредного слога могут обуславливаться не только соответствующими значениями ударного гласного, но и наличием/отсутствием на этом слове фразового акцента (вызывающим в рассмотренных говорах усиление начального слога вне зависимости от места ударения в слове и собственных характеристик гласных).

Значительная часть прочитанных на конференции докладов была посвящена проблемам, связанным с методикой проведения лингвистического эксперимента и его научным обеспечением. Так, в докладе Е.В. Глазковой (С.-Петербург) "О методе фонологического прайминга в психолингвистическом эксперименте" было предпринято обсуждение тех принципов, которые должны быть положены в основу экспериментов по фонологическому праймингу

(широко применяющихся в последнее время для исследования структуры представления языковых единиц в ментальном лексиконе), чтобы их результаты могли получить более или менее однозначную интерпретацию. Наиболее дискуссионным в этой связи остается вопрос о том, насколько вообще в подобных экспериментах отражаются реальные процессы восприятия речи.

В последние годы во многих странах мира развернута работа по организации звукового материала в виде компьютерных баз данных, которая проводится в двух направлениях – 1) создание звуковых баз данных для организации и хранения архивных материалов и 2) создание корпусов оцифрованных речевых данных, которые могут быть использованы для проведения лингвистического эксперимента. В докладе П.А. Скредина (С.-Петербург) "Акустические базы данных для фонетических исследований" речь шла о том, как ведется эта работа на кафедре фонетики СПбГУ, где специализированная акустическая база данных служит не только для целей архивного хранения материала (обеспечивая доступ к его архивной атрибуции), но и для решения лингвистических задач (обеспечивая доступ к его текстовой расшифровке, транскрипции и самому оцифрованному звуковому материалу). Другое направление работы кафедры фонетики СПбГУ на протяжении последних лет – обработка звукового материала по региональным вариантам русского языка, в ходе которой предполагается создание специальной экспертной системы для поиска регионального варианта по особенностям произношения и создание Фонетического фонда русского языка. В рамках этой работы был проанализирован материал (около 4 000 гласных), позволивший авторам доклада "Адекватность транскрипции в системах синтеза и распознавания связной речи" В.И. Кузнецову (С.-Петербург) и Т.Ю. Шерстиновой (С.-Петербург) сопоставить имеющиеся представления о реализации русских гласных с фонетическими характеристиками реального потока речи. Отметив тот факт, что фонетическая реализация гласных зависит от фразовых условий, причем "просодическая позиция зачастую не менее важна, чем положение фонемы в системе языка", В.И. Кузнецов и Т.Ю. Шерстинова приходят к выводу о необходимости пересмотра отношений между фонемным и фонетическим уровнями при том, что "аллофон будет отнесен к числу языковых единиц... поскольку фонема в системе языка и фонема в речевой дея-

тельности нетождественны и по-разному соотносятся с конкретными фонетическими характеристиками". На материале цифрового фонда детской речи выполнена и работа В.В. Люблинско́й (С.-Петербург), С.Я. Жукова (С.-Петербург) и М. Краузе (Иена, ФРГ) "Анализ интонационных характеристик ответных реплик в детской речи", авторы которой на основании анализа полученных данных предложили учитывать тип коммуникативной ситуации при изучении речи детей, поскольку разнообразие интонационных контуров детских ответных реплик связано с отношением ребенка к разговору. Так, использование ровного или нисходящего тона в репликах-ответах обычно наблюдается в тех случаях, когда можно предположить, что ребенок сообщает новую для собеседника информацию. Если же оба собеседника находятся в одном информационном поле, и отвечающий осознает это, ответ содержит это осознание и завершается подъемом тона. Кроме того, в детской речи встречаются и другие особенности интонационного оформления реплик: ярко выраженное раздельное слоговое оформление и перенос фокусного акцента в начало синтагмы.

В докладе "Комплексная инструментальная система ASPECT для подготовки, проведения и обработки экспериментов" Г.Л. Топровер (Таллин, Эстония) и В.Б. Кузнецов (Москва) продемонстрировали возможности системы ASPECT, реализованной в виде трех взаимосвязанных программ, работающих в среде WINDOWS со звуковой платой типа SOUND BLASTER: ASPECT Designer позволяет сформировать сценарий эксперимента, организовать стимульный материал, выбрать способ регистрации ответов испытуемого и темп предъявления стимулов; ASPECT Launcher служит для запуска файлов (сценариев эксперимента) и для регистрации хода эксперимента и его результатов; ASPECT Analyzer дает возможность ознакомиться с результатами эксперимента и воспроизвести его ход, а также получить статистическую информацию о результатах работы испытуемого и конвертировать результаты эксперимента в базы данных большинства известных форматов. Два фонетических эксперимента, в которых исследовалась перцептивная значимость конечного и начального переходных участков гласного для идентификации места образования соседних мягких и твердых глухих смычных согласных, были описаны в докладе В.Б. Кузнецова "Идентификация глухого смыч-

ного по вокалическому контексту". Констатируя более надежное в целом распознавание твердых согласных по сравнению с мягкими (идентификация места образования мягких согласных по СГ переходу не отличается от случайного угадывания), автор отметил отсутствие перцептивного преимущества одного типа вокалического перехода над другим. При этом при восприятии твердых согласных существенную роль играет качество гласных (наибольшая распознаваемость отмечена в окружении [a]). На основании полученных результатов В.В. Кузнецов приходит к выводу о том, что "распознавание интервокального согласного в большей степени определяется лингвистическими факторами, чем перцептивными".

В докладе А.В. Венцова (С.-Петербург) и И. Фужерон (Париж, Франция) "Некоторые результаты опытов по перцептивной сегментации французского звучащего текста" было отмечено, что в этих результатах, как и в результатах, полученных авторами на материале других языков, проявилось наличие индивидуальных стратегий сегментации текста. В подавляющем числе случаев границы перцептивных синтагм и ритмических групп совпадают (за счет влияния "пограничных сигналов", которые аудитор извлекает из звучащего текста в процессе сегментации). Несовпадение этих границ может быть обусловлено 1) возможностью предсказать характер следующей части текста, 2) перегрузкой оперативной памяти, 3) параметрами мелодического контура, характерными для конца ритмической группы (несовпадение членения на ритмические группы, произведенного дикторами и экспериментаторами). Последнее обстоятельство, по мнению авторов, дает надежду на возможность исследования роли собственно просодических характеристик путем направленной модификации мелодического контура.

В ряде докладов поднимался вопрос о месте ударения в русском слове и о факторах, определяющих его. Доклад Н.А. Федяниной (Москва) был посвящен описанию русского ударения в системе слова. Автор доказывает, что представление об абсолютной свободе места ударения является иллюзорным: начальное или конечное ударение ограничено или отсутствует в многосложных словах; безударная часть не превышает 3-х - 4-х слогов; ударение "централизовано". В морфемной структуре словоформ ударение подчиняется некоторым закономерностям. В глагольной

словоформе - это зависимость от наличия или отсутствия формообразующего суффикса. В словоформах существительных господствует корневое ударение. Высказывается предположение, что эволюция от маркирования краевых позиций в слове к централизации ударения связана с перестройкой фонологической структуры русского слова в направлении в большей внутренней концентрации. В докладе Г.М. Богомазова (Москва) "Взаимодействие фонетических и морфологических факторов при расстановке ударений в звуковых последовательностях лишенных значений" было показано, что стратегия расстановки ударений в звуковых последовательностях, зависит как от морфологических факторов (приписываемой этим последовательностям принадлежности к определенной части речи), так и от фонетических условий (на конечный закрытый слог ударение ставится чаще, чем на открытый; на начальный слог, прикрытый несколькими согласными, - чаще, чем на начальный слог, прикрытый одним согласным; при этом действие первого фактора особенно ярко проявляется в трехсложных словах, а второго - в двусложных). При этом наблюдается сложное взаимодействие описанных факторов.

В.В. Поселов (Москва), К.И. Долотин (Москва) и М.И. Каплун (Москва), авторы доклада "Речевокалическая информация и ее акустические корреляты", привлекли внимание собравшихся к тому, что функциональная значимость фонетических (сегментных) единиц, особенно гласных, остается, по их мнению, относительно малоисследованной по сравнению с единицами суперсегментного уровня, на которые делается основной упор в современных фонетических исследованиях.

Целый ряд докладов, прочитанных на конференции, был посвящен обсуждению проблем фонологии как в связи с продолжающейся разработкой концептуальных основ теории фонем, так и в связи с интерпретацией конкретных фактов различных языков.

Так, в докладе С. Гжибовского (Торунь, Польша) ставится вопрос о типологической устойчивости мягкостной корреляции в русском консонантизме, что, по мнению докладчика, проявляется в значительном объеме этой корреляции; в противопоставленности твердых и мягких фонем не только перед гласными, но во многих других позициях; в наличии не только цепочек типа /CV/ : /C'V/, но также /C'V/ : /C'jV/ и т.д., что затрудняет перенос

мягкости на сегмент /j/; стабильности корреляции способствует и высокая частотность мягких реализаций в речи.

В докладе В.А. Виноградова (Москва) обсуждается проблема фонологического статуса и происхождения глоттального смычного согласного в языках грасфилдского ареала, причем проблема решается на фоне диахронических преобразований, которым подвергалось фонетическое и морфологическое слово в языках мбам-нкам сравнительно с протобантуским состоянием. Эта процедура позволила заключить, что глоттализация на каком-то этапе была лишь выражением импловизности, т.е. позиционным вариантом ряда согласных фонем. Но на современном этапе глоттальный смычный приобрел статус самостоятельной фонемы с ограниченной дистрибуцией.

Ряд выступлений молодых ученых был посвящен продолжению дискуссии о соотношении понятий "фонема" и "признак фонемы". В докладе И.А. Арсеньевой (Москва) рассматривается вопрос о субфонемном уровне лингвистического анализа в связи с трактовкой фонемы через понятие признака, при этом постулируется, что РП служат средством различения фонем, а тем самым — различения и содержательной стороны морфем и слов. В докладе И.С. Макарова (Москва) рассматривается возможность определения фонемы в терминах дифференциальных признаков в концепции МФШ. При этом ставится вопрос о применении понятий сигнификативной/перцептивной функции и позиции не только к фонеме, но и к уровню дифференциальных признаков.

Традиционной для фонетики остается проблема произносительной нормы как в дескриптивном, так и в кодификационном аспекте, что показали многие доклады, прочитанные на конференции, и оживленная дискуссия по ним.

В докладе Е.А. Брызгуновой (Москва) анализируются особенности произношения молодого поколения девяностых годов XX века, при этом особое внимание уделяется повторяющимся, волнообразным процессам, которые могут протекать в форме *нарастание — ник* или *нарастание — ник — спад*. Анализируются некоторые особенности звучащей речи, обусловленные снижением качества произношения.

В докладе М.Л. Каленчук (Москва) исследуется устойчивость орфоэпического навыка человека на протяжении его жизни. Группа дикторов, которые в 60-е годы принимали участие в экспериментах по

изучению звучащей речи с помощью чтения специально составленного связного текста, спустя более чем треть века читали на магнитофон тот же самый текст. Сравнение двух записей позволяло выявить направление изменений в индивидуальном произношении и факторы, определяющие этот процесс.

В докладе Р.И. Лихмана (Махачкала) ставится под сомнение существование в современном русском языке разных стилей произношения: 1) в КЛЯ как бы исчезает разговорный стиль, поскольку многие лингвисты рассматривают разговорную речь как особую разновидность литературного языка; 2) элементы, принадлежащие высокому стилю, постепенно утрачивают свою маркированность; 3) в публичной речи широко представлены элементы разговорной фонетики. "Все смешалось" в звучащей речи, а это, по мнению докладчика, означает отсутствие произносительных стилей в обычном понимании термина.

Доклад М.Ч. Чой (Сеул, Юж. Корея) посвящен вопросу о долготы/краткости согласных на месте написания двойных букв в русском литературном языке. Автору удалось предложить процедуру определения "эталона" долготы/краткости для каждого звука и тем самым снять неопределенность в решении этого вопроса, вызванную относительным характером понятия длительности в русском языке. В результате эксперимента было изучено проявление различных факторов, определяющих долго-ту/краткость согласного в разных позициях.

В докладе Л.В. Златоустовой (Москва) анализируются постоянные и временные признаки спонтанной речи. Для выявления параметров проявления вариативности индивидуальных особенностей говорящих был поставлен эксперимент по перцептивному и акустическому анализу спонтанной речи. В результате получены списки речевых явлений, характеризующих спонтанную речь, в которые вошли 157 признаков. Была выявлена иерархия распределения индивидуальных признаков: лексико-синтаксические, лексико-семантические, фонетические признаки.

В докладе Е.Е. Алтуховой (С.-Петербург) обращается внимание на то, что в результате полной редукции гласных в квазиспонтанной нормативной английской речи появляются фонотактически запрещенные сочетания согласных, такие, например, как [ps], [bk], [ph], [btw] и др., что любопытно и с точки зрения теории, и с точки зрения практики преподавания фонетики английского языка.

В докладе Л.Э. К а л ы н ь (Москва) описываются изменения в запрещенных системой консонантных сочетаниях как компоненты славянских диалектных различий. При этом различия между диалектами касаются наличия/отсутствия определенного артикуляционного изменения и направленности изменения. Возможна ситуация, когда одно и то же сочетание устраняется в разных говорах разным способом. Общая картина создает впечатление индивидуализации консонантной синтагматики в славянских диалектах, одной из причин этого является разный уровень сохранности архаических отношений в фонетике.

Доклад Р.Ф. К а с а т к и н о й (Москва) посвящен некоторым проявлениям апиальных артикуляций в русских говорах. Было отмечено, что нередко в диалектной спонтанной речи в соответствии с латеральными фонемами /л/ и /л'/ произносятся звуки типа [р]. Можно предположить, что возникает так называемый флар или тар, т.е. согласный того же места образования, что и [л], но с очень короткой смычкой. Это свидетельствует об особом – апико-альвеолярном – артикуляционном укладе конкретного говора или группы говоров.

В ряде прочитанных на конференции докладов привлекалось внимание к истории становления отечественной фонетики. В подробном докладе Л.В. Б о н д а р к о (С.-Петербург) освещается история создания и работы кафедры фонетики Санкт-Петербургского университета, начиная с 1932 года, когда кафедрой руководил Л.В. Щерба, и до наших дней.

Целый ряд докладов, прочитанных на конференции, был посвящен обсуждению методологических проблем, возникающих при преподавании фонетики в высшей школе. Дискуссии по этим докладам еще раз показали, что сам процесс преподавания той или иной научной дисциплины во многих случаях заставляет фокусировать внимание ученых на определенных (и иногда неожиданных) сторонах объекта изучения – наука является базой для преподавания, но и методический процесс в свою очередь заставляет по-новому взглянуть на некоторые аспекты разрабатываемой научной проблематики.

Так, доклад Л.Г. З у б к о в о й (Москва) посвящен проблеме мотивированности звукового строя языка, т.е. наличию взаимо-

зависимости между внутренней (содержательной) и внешней (звуковой) сторонами языка как формы. По мнению докладчика, язык должен рассматриваться как форма мысли, активно воздействующая на саму мысль. Единство языкового содержания и языковой формы обусловлено генетически: они образуются лишь во взаимодействии мыслительной и звуковой материи. Присущее языковому целому единство формы и содержания требует преодоления традиционной для преподавания автономии лингвистических дисциплин и создания интегрированных курсов.

В докладе И.М. Л о г и н о в о й (Москва) ставится вопрос о стандартизации фонетической терминологии и метаописания при преподавании. Известно, насколько велика сила традиции в употреблении терминов, что способствует сохранению в практике преподавания многих уже подвергшихся критике понятий. Система терминологии, обслуживающая определенную концепцию, часто механически распространяется на другие теории. Нередко параллельно употребляются русский термин и переводной. Неупорядоченность терминологии соседствует с разнообразием транскрипции

С.К. П о ж а р и ц к а я (Москва) в докладе привлекает внимание к некоторым аспектам изучения и преподавания фонетики. Объект фонетической науки за последние десятилетия претерпел изменения: от изучения изолированных единиц звучания фонетисты перешли к изучению просодически оформленной спонтанной речи. Такое переосмысление ставит под вопрос представление об орфоэпической правильности речи. В связи с этим необходимо различать проблему правильности (соответствие произносительной нормы узусу) и проблему облигаторности (которая должна решаться по-разному в случае, когда дается оценка текущей речи, и в дидактических ситуациях).

По общему мнению участников конференции, прошедшая встреча фонетистов была очень насыщенной и плодотворной. Несомненно, что подобные мероприятия, консолидирующие ученых разных научных школ и разных поколений, должны вновь стать традиционными.

М.Л. Каленчук, С.В. Князев

16 июля 1999 г. в Москве на 56 году жизни скончался Андрей Александрович Королев.

Окончив филологический факультет МГУ в 1967 г. и защитив кандидатскую диссертацию, А.А. Королев поступил на работу в Институт языкознания АН СССР и проработал всю свою жизнь в Секторе германских и кельтских языков этого института.

Еще учась в университете, Андрей Александрович увлекся компаративистикой и, в особенности, древними языками. Совместно с М.Л. Воскресенским, он принимается за составление этимологического словаря малых италийских языков. Существовавшие в рукописи первые варианты словаря обсуждались на семинарах и в личном порядке со специалистами, но, к сожалению, книга не была доведена до конца, и авторы ограничились лишь одной предварительной публикацией.

В это же время Андрей Александрович занимается под руководством В.В. Шеворошкина интерпретацией скудных данных поздних анатолийских языков – лидийского, ликийского и др. (отъезд Шеворошкина в Америку зимой 1975–1976 гг. положил конец этому сотрудничеству).

Несмотря на постоянный интерес А. Королева к так называемым малым индоевропейским языкам, т.е. с формальной точки зрения маргинальным вопросам индоевропеистики, основной его специальностью можно назвать кельтское языкознание и кельтскую филологию. На последних курсах университета он начал (при содействии В.Н. Ярцева) изучать древнеирландский и другие кельтские языки и в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "История форм множественного числа имен существительных в ирландском языке" (руководитель В.Н. Ярцева).

В 70-х гг. А.А. Королев приобретает уже широкую известность как кельтолог, его работы становятся известными и среди зарубежных лингвистов. В 1984 г. он публикует результат своего многолетнего труда – монографию "Древнейшие памятники ирландского языка", являющуюся полным сводом эпиграфических памятников древнеирландского огамического письма. "Древнейшие памятники" остаются и по сей день основной книгой в своей области. Через несколько лет А.А. Королев в соавторстве с А.А. Калыгиным выпускает "Введение в кельтскую филологию". Книга представляет собой первое в истории отечественной науки систематическое изложение основной проблематики кельтологии и содержит основные материалы по истории и грамматике каждого из известных кельтских языков.

Последние десять лет основное свое внимание Андрей Александрович переключил с кельтологии на анатолийские языки, интерес к которым появился у него еще в студенческие годы и не угасал на протяжении всей его научной жизни. К сожалению, подготовить какие-либо крупные публикации по данной тематике Андрей Александрович не успел.

Несмотря на указанные "узкие" области специализации, А.К. Королев несомненно являлся индоевропеистом широкого профиля. Он обладал глубокими и doskonaльными познаниями, причем не только собственно в древних индоевропейских языках, но и в истории и культуре народов, говоривших на этих языках. Будучи педантичным знатоком библиографии, Андрей Александрович всегда мог указать публикацию, в которой наиболее полно и аргументированно обсуждается тот или иной вопрос.

Однако все названные научные достоинства Андрея Александровича в основном проявлялись в результате личного общения. Несмотря на свои постоянные занятия индоевропеистикой, А.А. Королев выпустил очень мало печатных работ. За исключением двух названных выше монографий по кельтологии, публикации Андрея Александровича были спорадическими и носили явно фрагментарный характер. Это не было следствием его небрежности или недостаточной продуктивности как ученого, но характеризует самое существо его научной деятельности. А.А. Королев был из тех ученых, для которых накопление и осмысление информации становится важнее, чем обнародование результатов своей научной деятельности. Очень часто оказывалось, что те наблюдения или маленькие открытия, которые делал и заносил в свой архив Андрей Александрович, впоследствии заново совершались и публиковались другими авторами. Такова, конечно, судьба всякого ученого, пишущего "в стол".

Однако неверным было бы впечатление о А.А. Королеве как ученом, принадлежащем к известному типу "узких специалистов" в эзотерической области, патологически опасющихся за свои "идеи". Напротив, он всегда легко и с удовольствием делился знаниями, был активным и интересным научным собеседником. Кулуарные беседы и консультации с Андреем Александровичем были для многих московских лингвистов постоянной поддержкой. Бесспорно, они оказали значительное влияние на историю московской компаративистской школы. К глубочайшему сожалению, Андрей Александрович передал нам лишь малую толику своих обширных познаний: большая их часть теперь безвозвратно пропала.

А.А. Королев не был компаративистом в современном смысле этого слова, не был он и чистым филологом или историком. Тонкий знаток индоевропейских языков, Андрей Александрович был компаративистом по "старой" терминологии, восходящей скорее к эпохе младограмматиков. К эпохе, когда

занятия компаративистикой неразрывно были связаны с чтением и интерпретацией текстов, а не просто с обращением к подробным грамматикам и анализированием форм, взятых из авторитетных словарей, хотя бы потому, что многие из этих словарей и грамматик (ставшие сейчас основными, неотъемлемыми инструментами компаративиста) еще не были написаны. Как будто поэтому Андрей Александрович "выбарал" себе языки, не имеющие столь подробного грамматического и лексикографического описания в силу трудности интерпретации, скудости материала или просто отсутствия традиции: ликийский и лидийский, галльский и кельтиберский, осский и умбрский, фригийский.

А.А. Королев был одним из теперь уже немногих индоевропейцев старой школы, филологом в исконном смысле этого слова.

В.А. Дыбо, А.В. Дыбо, А.С. Касьян

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1999 г.

Статьи

Апресян В.Ю. Уступительность в языке и слова со значением уступки	5
Берестнев Г.И. Иконичность <i>ДОБРА</i> и <i>ЗЛА</i>	4
Берестнев Г.И. Образы множественности и <i>образ</i> множественности в русском языковом сознании	6
Богуславский И.М., Иомдин Л.Л. Семантика быстроты	6
Вендина Т.И. Словообразование как способ дискретизации универсума	2
Верещагин Е.М., Крысько В.Б. Наблюдения над языком и текстом архаичного источника – Ильиной книги	2,3
Гладкий А.В. набросок формальной теории падежа	5
Дементьев В.В. Фатические речевые жанры	1
Дитрих В. Влияние америндских языков на романские (языковые контакты в Северной Америке и странах Карибского бассейна)	3
Домашнев А.И. Новая немецкая орфография	1
Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений	6
Зельдович Г.М. Наречия <i>ЕДВА</i> и <i>ЕЛЕ</i> : возвращаясь к теме	4
Зубкова Л.Г. Типология фонологических оппозиций в свете их семантических функций	3
Иомдин Б.Л. Семантика глаголов иррационального понимания	4
Калнынь Л.Э., Клепикова Г.П. Вопросы диалектологии на XII Международном съезде славистов	3
Клепикова Г.П. К истории изучения славянской диалектной семантики (метод "семантического поля" Н.И. Толстого)	5
Князев С.В. О критериях слогоделения в современном русском языке: теория волны сонорности и теория оптимальности	1
Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания	6
Ломов А.М., Гусман Тирадо Р. Русское сложноподчиненное предложение и проблема его содержательной интерпретации	6
Майер И. <i>Прошу вашего величества</i> ... Особый случай употребления формы родительного падежа в функции винительного	3
Маковский М.М. Мифопоэтика письма в индоевропейских языках	5
Мальчуков А.Л. Перфект и эвиденциальность в тунгусских языках (опыт функционально-диахронического анализа)	3
Меликян В.Ю. К проблеме грамматической и словообразовательной парадигмы коммуникем	6
Мурясов Р.З. Лексико-грамматические разряды в грамматике и словообразовании	4
Николаева Т.М., Фужерон И. Некоторые наблюдения над семантикой и статусом сложных предложений с уступительными союзами	1

Падучева Е.В. Принцип композиционности в неформальной семантике	5
Понарядов В.В. О происхождении глагольных форм с усеченными личными аффиксами в тюркских языках	2
Потапов В.В. К динамике становления вербального ритма	2
Рахманкулова И.-Э.С. Модели предложения и семантика глаголов в диахро- нии	5
Сидорцов В.С. Современные восточнославянские неоднословные наименования действия с десемантизированным компонентом в системно-функциональном сопо- ставительном аспекте	6
Сумникова Т.А. О формах именительного падежа местоимения 1-го лица единственного числа в древнерусском языке и письменности	4
Трубачев О.Н. Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор)	3
Туманян Э.Г. О природе языковых изменений	3
Умаров Э.А. Новые данные о гласных в "Дивану лугатит турк"	3
Урысон Е.В. Языковая картина мира и лексические заимствования (лексемы <i>округа и район</i>)	6
Федорова О.В. Интродуктивная референция имени в безартиклевых языках	2
Херберман К.-П. Компаративные конструкции в сравнении. К вопросу об отношении грамматики к этимологии и языковой типологии	2
Храковский В.С. Универсальные уступительные конструкции	1
Чернышева М.И., Фидипович Ю.Н. Историко-лексикологическое (тематическое) исследование: экспериментальный опыт на основе информаци- онной технологии	1
Чупрына О.Г. Tempus opinio в древнем языке и сознании	5
Шапир М.И. К текстологии "Евгения Онегина" (орфография, поэтика и семантика)	5
Шапошников В.Н. О территориальной и функциональной структуре русского языка к концу XX столетия	2
Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над "Русским семантическим словарем"	1
Шелякин М.А. Об инвариантном значении и функциях сослагательного накло- ния в русском языке	4
Шилов А.Л. Есть ли скандинавская топонимия в Карелии? (о топонимических свидетельствах в решении этноисторических проблем)	3
Шилов А.Л. К стратификации дорусской топонимии Карелии	6
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г.	4
Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратегии (на материале русского языка)	4

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Лукин О.В. Части речи в античной науке (логика, риторика, грамматика)	1
Никитин О.В. Проблемы изучения языка русской деловой письменности в научных воззрениях В.В. Виноградова	2
Плотникова В.А. Две редакторские версии (из истории работы над "Словарем языка Пушкина")	5

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Протасова Е.Ю. Функциональная прагматика: вариант психолингвистики или общая теория языкознания?	1
---	---

Рецензии

Алпатов В.М. <i>L.J. Loveday. Language contact in Japan. A socio-linguistic history</i>	1
---	---

Бабаева Е.Э. <i>А. Граннес. Избранные труды по русскому и славянскому языкознанию</i>	1
Борисова М.Б., Сироткина О.Б. Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения	6
Варбот Ж.Ж. <i>W. Boryś, H. Popowska-Taborska. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny</i> ...	5
Володин А.П., Козинцева Н.А. <i>Z. Guenicheva (Ed). L'énonciation médiatisée</i>	3
Девкин В.Д. Большой толковый словарь русского языка	6
Демьянов В.Г. <i>S. Mengel. Wege der Herausbildung der Wortbildungsnorm im Ostslawischen des 11-17. Jahrhunderts</i>	4
Илюшина Л.А. Книга нарицаема Козьма Индикоплов	6
Касевич В.Б. <i>А.И. Коваль, Б.А. Нялибули. Глагол фула в типологическом освещении</i>	5
Краснянский В.В. Редкие слова в произведениях авторов XIX века. Словарь-справочник	5
Красухин К.Г. <i>F.R. Adrados, A. Bernabé, J. Mendoza. Manual de la lingüística indoeuropea</i>	6
Крысько В.Б. Русский язык: Энциклопедия	6
Кулына Н.А. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Коллективная монография	2
Куркина Л.В. <i>Symbolae slavisticae dedykowane pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej</i>	2
Макаров В.И. <i>М.С. Крутова. Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности</i>	4
Маковский М.М. <i>Р.К. Потанова. Коннотативная паралингвистика</i>	4
Моисеева Н.В. <i>А.Е. Backhouse. The lexical field of taste: A semantic study of Japanese taste terms</i>	2
Перельмутер И.А. <i>М. Sabanéeva. Essai sur l'évolution du subjonctif latin. Problèmes de la modalité verbale</i>	1
Степанов Ю.С. <i>D. Dobrovol'skij, E. Piirainen. Symbole in Sprache und Kultur: Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive</i>	1
Суперанская А.В. <i>V. Blanár. Teória vlastného mena</i>	3
Трыярский Э. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика	5
Улуханов И.С. <i>Е.Г. Которова. Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике. Сопоставительное исследование русского и немецкого языков</i>	6
Харитончик З.А. <i>Е.С. Кубрякова. Части речи с когнитивной точки зрения</i>	5
Шатуновский И.Б. <i>Е.В. Падучева. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива)</i>	5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1,3,4,6
----------------------------	---------

CONTENTS

A.V. Kravčenko (Irkutsk). The classification of signs and the interdependence of language and knowledge; I.M. Boguslavskij, L.L. Iomdin (Moscow). Semantics of velocity; A.A. Zalevskaja (Tver). The psycholinguistic approach in the analysis of language phenomena; V.Ju. Melikjan (Rostov-on-Don). On the grammatical and word-forming paradigm of the communicemes; A.M. Lomov (Voronež), R. Gusman Tirada (Granada). The Russian complex sentence and methods of its content interpretation; V.S. Sidorec (Mosyr). Contemporary East Slavonic polysyllable names of actions with a desemantized component in the light of functional and comparative analysis; E.V. Uryson (Moscow). The linguistic image of the world and lexical loans (Russian lexemes *окружа* and *район*); G.I. Berestnev (Kaliningrad). Images of plurality and the *image* of plurality in Russian language mentality; A.L. Šilov (Moscow). On the stratification of pre-Russian toponymics of Karelia; **Reviews:** V.B. Krysk'o (Moscow). Russian language. An encyclopaedia; V.D. Devkin (Moscow). The comprehensive explanatory dictionary of the Russian language; M.B. Borisova, O.E. Sirotnina (Saratov). Explanatory dictionary of the Russian language in the end of the XX century. Language changes; I.S. Uluhanov (Moscow). E.G. Kotorova. Inter-language equivalence in language semantics. Contrastive study of Russian and German; L.A. Iljušina (Moscow). The Book named Koz'ma Indikoplov; K.G. Krasuxin (Moscow). F.R. Adrados, A. Bernabe, J. Mendoza. Manual de la lingüística indoeuropea; **Chronicle features; Index of articles published in the journal "Voprosy Jazykoznanija" in 1999.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.08.99 Подписано к печати 25.10.99 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 18,8 тыс. Уч.-изд. л. 15,2 Бум. л. 5,0
Тираж 1419 экз. Зак. 2911

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волжонка 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6